

*НОВЫЙ
Журнал*

104

*THE NEW
REVIEW*

**THE
NEW REVIEW
Новый Журнал**

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцатый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, September 1971
Quarterly, No. 104
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>В. Перелешин</i> — Стихи	5
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	6
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	28
<i>В. Шаламов</i> — За письмом, Огонь и вода, рассказы	29
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	41
<i>Г. Газданов</i> — Эвелина и ее друзья	42
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	54
<i>Р. Гуль</i> — Читая «Август Четырнадцатого»	55
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	83
<i>В. Вейдле</i> — Еще раз о словесности, слове и словах	84
<i>И. Елагин</i> — Стихи	121
<i>Н. Натова</i> — Драматизация произведений Достоевского	123
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	142

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>М. Слоним</i> — О Марине Цветаевой	143
<i>Г. Вернадский</i> — Пермь — Москва — Киев	177
<i>Г. Кочевницкий</i> — Профессор Л. В. Николаев	189
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	199

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Авторханов</i> — Новая фаза в политике советской экспансии	210
<i>К. Павлов</i> — К визиту в КНР президента США	237
<i>С. Пушкарев</i> — Латышские стрелки в борьбе за ленинскую власть	248
<i>В. Поздняков</i> — Новое о Катюши	262
<i>А. Соловьев</i> — Светлая и святая Русь	281

БИБЛИОГРАФИЯ: *Г. Адамович* — Т. Пахмусс. Зинаида Гиппиус. *М. Павликовский* — М. Чапская. Европа в моей семье. *В. Завалишин* — Г. Струве. Русская литература при Ленине и Сталине. *А. Бен-Яков* — М. Намир. Миссия в Москве. *Ю. Иваск* — М. Россиянский. Утро внутри. *Книги для отзыва*

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

ПЕРСТЕНЬ

Друг, меня осчастливьте,
Примите перстень с гербом:
В поле червонной финифти
Пушка с упрямым лбом.

Не громыхает армата
Вторые полсотни лет:
Ни у меня, ни у брата
Сына — нет.

ВОЗДУХ

Стихи рождались каждый час
Без осязаемых усилий,
Пока жила в груди у нас
Хоть капля воздуха России.
Не капельку, а целый мех
Мы вынесли на человека:
Хватило воздуха на всех,
На все края, на все полвека.
Осталось на один прием:
Исчерпан воздух забайкальский,
И нынче я со словарем
Пишу стихи по-португальски.

Валерий Перелешин

СИРИУС

*Могилою благословляла
Сынов излюбленных земля.
Вяч. Иванов.*

По дороге в Ставку, поезд великого князя свернул на Волковыск. Там дожидались генерал Жилинский, назначенный командующим северо-западным фронтом, и начальник его штаба Орановский.

— Вам предстоит начать операцию. Всё ли у вас, как надо?

— Все так, как надо, ваше высочество. Не сегодня-завтра Ренненкампф двинется на Гумбинен, а Самсонов перейдет границу. Не позднее, чем через неделю, мои клещи начнут работать так, что у немцев перехватит дыхание. Им не останется ничего, как сдать или пустить пузыри в Балтийском море.

Великий князь хмуро посмотрел на Жилинского. Следя по карте за намеченными маршрутами армий, за линиями предполагаемых ударов и охватных движений, он спросил генерала, не беспокоит ли его западный фланг Самсонова, нет ли ему угрозы со стороны Алленштейна?

— Никак нет, ваше высочество, все предусмотрено. Оттуда я не жду опасности.

— А вы? — обратился главнокомандующий к Орановскому, — вы ведь, говорят, исходили когда-то Восточную Пруссию вдоль и поперек. Каких неожиданностей могли бы мы опасаться?

— Неожиданности, ваше высочество, возможны со стороны природных условий.

— То-есть?

— Сами немцы говорят в шутку, будто весь песок за-

готовленный Господом Богом для целой Европы, высыпан на одну эту страну. Нога пешехода тонет в нем. Но в той части, где положено разыгаться боям, Восточная Пруссия похожа на поле взрытое кротами и каждая кротовая куча поросла густым лесом. Между ними — овраги, болота, а к югу и востоку — цепь озер. Все это лежит на пути следования второй армии.

— Преодолеет она?

— Должна преодолеть, ваше высочество, — вставил Жилинский.

— Ну с Богом!



На четвертый день после отъезда верховного главнокомандующего в действующую армию, русские войска вошли в Восточную Пруссию. Неприятель это предвидел. Граф фон Шлиффен полагал, что наступающие русские разделены будут, как волнорезом Мазурскими озерами, за которыми немцы могут сидеть в засаде и поджидать то крыло противника, которое раньше поспеет. Задача поставленная Шлиффеном: разбить одну из русских армий прежде, чем подойдет другая.

Уже двадцать седьмого июля прибыл в Мариенбург Макс фон Притвиц унд Графон, генерал с полным лицом не выражающим сомнений в предстоящей победе. Он давно предназначался в защитники Восточной Пруссии. Сам Шлиффен давал ему советы и наставления незадолго до своей смерти.

Четвертого августа, с телеграммой в руке, генерал фон Притвиц предстал перед чинами своего штаба.

— Поздравляю господ! Первая русская армия, успевшая занять Эйдкунен, начала наступление. Вторая перешла границу на линии Августово-Граево-Харжеле. До полумиллиона неприятельских войск, ступило на нашу землю. Да здравствует Германия!

«Дампфвальце», как прозвали немцы двинувшуюся на них лавину, приковал к себе внимание всего мира. Только русское столичное общество и петербургские дамы ждали чудес с запада. Палеолог — оракул каменноостровских салонов уве-

рял, что война окончится через два-три месяца; германцы будут окружены и прижаты к морю и к Голландии. Предсказывал со дня на день решающий удар англо-французских войск.

“La FRANCE magnanime, la FRANCE chevaleresque, qui s’est dressée avec nous pour la défense du droit et de la justice!”—твердил дамский хор.

Поэты пели:

Близок час! Уже темнеет высь
От грозного возмездья приближенья,
И слышен гром побед; то начались
Вандалов современных пораженья!



Царская семья отправилась в Москву, чтобы, как писал генерал Дубенский, по обычаю державных предков, искать укрепления душевных сил в молитве у святынь московских. К ее возвращению приводились в порядок царскосельские дворцы. Сады закрывались. Для публики оставлены были густые аллеи вдоль канала, начинавшиеся от Эрмитажа и от фасада Большого дворца.

В августе этот парк становился царством мечтателей. В мечтателях ходил теперь один молоденький офицер в форме собственного его величества железнодорожного полка. Он, скорей, прятался в аллеях, чем гулял и больше грустил, чем мечтал. С переездом его в Царское Село никаких перемен не произошло. Из одной казармы попал в другую. Дворцы видел издали. Государя не видел ни разу. Но часто видел строгие взгляды старых дам, гулявших в сопровождении лакея или горничной. В полку ему шутивно, но зло объяснили, что при царском дворе числится двести восемьдесят камергеров, триста девять камерюнкеров, сто десять лиц состоящих при их величествах и при членах императорской фамилии, шестьдесят шесть кавалерственных дам, двести шестьдесят гофмейстрин, обергофмейстрин, камерфрейлин, «портретных» и дам ордена Св. Екатерины. Всех их должен знать каждый офицер императорских полков и отдавать честь.

На новой службе поручика встретили более чем холодно

и он жалел, что не ушел на войну со своими новочеркасцами. Загадочного полковника, неожиданно вошедшего в его жизнь, видел всего два раза. Сегодня с волнением ждал новой встречи. Что означало его письмо и какую цель преследовало назначенное свидание? Никто еще не писал ему «дорогой друг...» Полковник показался на повороте аллеи, разговор их начался с вопроса: может ли поручик принять эти слова всерьез и позволит ли полковник считать себя его другом?

— От всей души. Я уже говорил, что смотрю на вас, как на свою молодость. Если нам суждено встретиться снова, я надеюсь, вы меня лучше узнаете. А сейчас упраздним чины, по крайней мере два из них, — полковника и поручика. Я для вас — Василий Семенович, а вас буду по праву старшинства звать, просто, Сашей.

— Я счастлив, — пробормотал поручик. — Но что значит «если нам суждено...?»

— Да, дорогой мой, я пришел проститься. Еду на войну. Сегодня же. Прямо отсюда. Вы думали, придворная челядь застрахована от этого? Как правило — да. Но у нас, офицеров конвоя его величества, существует традиция — каждому по очереди бывать в действующей армии и участвовать в боях, в продолжении месяца. Я еду первым. Не печальтесь, — прибавил он заметив, как по-детски задрожали губы поручика, — даст Бог увидимся. А не увидимся — вспоминайте.

Они обнялись. Жуков твердым шагом пошел вдоль аллеи, а Дондуа, не видя ничего из-за слез, шептал — Вот я и осиротел.



Пять дней в Москве прошли под колокольный звон, под пышные службы в Успенском соборе, под заутрени у Спаса на Бору, под речи предводителей дворянства и городских голов. Ездили в Троицкую Лавру для торжественного молебствия у раки преподобного Сергия. Волосы великих княжен пахли ладаном еще по возвращении в Царское Село. Но у государыни камнем лежало на сердце воспоминание о торжественном шествии в Успенский собор. По помосту, крытому

красным сукном, она белой лебедью шла об руку со своим Ники и чувствовала, что красива была, как никогда. Но толпа затихала при виде больного мальчика в белой матросской рубашке, на руках у рослого казака. Кем была подсказана несчастная мысль показать народу цесаревича в таком виде? Потоки немилостивых слов уже дрожали, готовые излиться на виновных, но, все вдруг стерто было, как надпись с грифельной доски. Войдя в Кленовую гостиную, царица побледнела и едва удержалась на ногах.

— Кто это сделал? Кто посмел?

На стене огнем пылал гобелен с изображением Марии Антуанетты.

— Я сказала, чтобы ты убрал его с глаз моих! — повернулась она к подоспевшему Волкову. Тот стоял с видом кладущего голову на плаху. Месяц тому назад, он в точности исполнил приказание — переслал президентский подарок из Петергофа в Царское Село, не допуская мысли, что здесь его повесят на самом видном месте.

Гобелен сняли, но царица долго не могла унять слез. Принимала капли.

Государь, как только переделся с дороги, отправился в сад, чтобы стряхнуть с души, как пыль, рой событий последних трех недель. Стоял тихий август, его любимая пора, когда так бодрит чуть слышный запах герани и настурций пламенных в мраморных вазах. Здесь он любил углубляться в себя и проверять свои поступки. Не прегрешил ли против ниспосланных испытаний, не впал ли в искушение сказать или сделать подобное тому, что делал Вильгельм? Победоносцев учил его в молодости, что помазанничество должно сиять на челе самодержца и не омрачаться суетными речами и недостойными поступками. Втайне он завидовал Вильгельму. Тот теперь с головой ушел в войну — устраивает смотры, выступает на площади перед толпой, как митинговый оратор, и счастлив, что дождался своего часа. А он Николай? Есть ли у него свой час?

Немцы боготворили кайзера за воинственные речи, за позу великого кормчего Германии. Царь не любил кормчих, не

любил «шкиперов», вроде Петра. Всё, что приходилось читать и слышать о делах и днях создателя Российской Империи, не вызывало его восхищения. Он это скрывал. Раз только в разговоре с Мосоловым вырвалось: «ваш Петр Великий...» Николай Александрович не высоко ценил «работников на троне». Цари рождаются, чтобы царствовать, а не плотничать. Любить их должны не за дела и указы, а за почиющую на них благодать. Когда мужики крестились и становились на колени, при появлении царской коляски, это и было истинным выражением почитания венценосца. Подлинная любовь к государям — в простом народе. Он не ропщет, когда эта любовь подвергается испытанию. Император помнил, как в прошлом году ехал на пароходе по Волге в Кострому и как на всех пристанях день и ночь простаивали толпы собравшиеся посмотреть царя. Пароход шел посередине реки ни разу не приблизившись ни к одной из таких пристаней. Только подходя к Костроме, кто-то из придворных заметил, что следовало бы это сделать.

— Вы думаете? Да, может быть вы правы.



На другой день принимали японского посла. У России оказался новый союзник — ее бывший враг, Япония. Барон Мотоно приехал известить императора о вступлении Японии в войну на стороне России, Англии и Франции. Его приняли торжественно и сердечно. Государь послал телеграмму своему дальневосточному брату императору Иосихито. Потом, одевшись по домашнему в малиновую рубашку стрелков четвертого батальона, он направился в кабинет слушать доклады министров. Услышав в конце дворцового крыла смех дочерей и наследника — прошел дальше по корридору. Министр внутренних дел Маклаков, стоя в угловой гостиной спиной к открытой двери, производил левой ногой скребущее движение, как горячий конь копытом. С удивительным искусством он издал звук военного рожка и двинулся галопом, подпрыгивая как в мазурке. Государь понял, что Николай Алексеевич показывает свой коронный номер — «Парад» и сейчас изобра-

жает лихого гусара на коне. Потом показан был молоденький поручик, вытянувшийся в струнку и забывший все на свете кроме начальства, перед которым хотел молодецки продефилировать. Наследник и цесаревны хохотали до слез когда министр изобразил толстого князя Орлова, проходящего церемониальным маршем. Сама государыня не могла удержаться от смеха.

Увидев царя, Маклаков сделал смущенное лицо и поклонился.

— Ну, а как чечен ползет на берег?

Маклаков нахлобучил, наподобие папахи, черный плед висевший на спинке кресла и спрятавшись за диван стал выходить оттуда на четвереньках с разрезательным ножом в зубах. Он так дико вращал глазами, что наследник повалился от смеха на свои подушки. А когда взяв нож в руку и испустив «кавказский» крик, кровожадным прыжком бросился на стоявший посреди комнаты пуф, дети закричали от восторга. Успех был полный.



На докладе Николай Алексеевич поведал государю, что приехал граф Витте. Начало войны застало его в Биаррице, откуда он сразу же подался в Марсель, сел на пароход и добрался до Одессы. В Петербурге он начал не говорить, а трубить против войны. Пугал неисчислимыми бедствиями и полным разорением. Россию считал неспособной бороться с Германией, а союзники, англичане и французы предадут ее, как Иуда Христа. Назвал теперешнюю войну единоборством Англии с Германией за мировое первенство. России же, кроме разрухи и гибели миллионов людей, она ничего не сулит. Это в случае самого благоприятного исхода. Но граф не верил в такой исход. Он панически взмахнул руками, узнав, что Россия закрыла себе выход из войны, приняв на лондонском совещании обязательство не начинать переговоров о мире отдельно от Англии и Франции.

— Это самоубийство! Но хоть выговорили мы себе над-

лежащую финансово-техническую поддержку? — спросил он министра финансов Барка.

Тот ответил, что международная политика изъята из компетенции совета министров; все переговоры ведет и соглашения заключает министр иностранных дел по непосредственным указаниям государя. Министра финансов, во всяком случае, ни разу не спрашивали на этот предмет и он полагает, что никакой финансовой помощи для России не выговорено.

— Да ведь это значит, чужие издержки оплачивать кровью своего народа!

Император мрачнел. Где он был, этот неприятный человек в ужасные июльские дни? Он тогда был нужен, а не теперь.

— Постарайтесь внушить графу Витте, что его речи по поводу войны крайне нежелательны.

После Маклакова вошел Сухомлинов.

— Как у нас дела на войне?

— Об этом, ваше величество, лучше знают в Париже, в Лондоне, еще лучше в Кобленце; военному же министру вашего величества не считают нужным сообщать больше того, что каждый обыватель может прочесть в газетах.

— Ну, а я так и газет не читаю. Что там пишут?

— Писать начали четыре-пять дней тому назад. Это краткие сообщения нашего главного штаба. Из них Россия узнала, что у нас два фронта — юго-западный и северо-западный. На юго-западном мы двигаемся ко Львову и к Галичу, а на северо-западном уже одержали победу под Гумбинином.

— Слава Богу! Начало хорошее.

— Не плохое, ваше величество. Но, как раз, сегодня утром мне стали известны слова фон Мольтке: «Генерал Ренненкампф не сумел поймать руки, которую ему протягивала победа, но победа из за Притвица сама вынуждена была броситься в его объятия».

— Как это понять?

— Вашему величеству известно, что армия Ренненкампфа, стоявшая в непосредственной близости к противнику, первая начала бои, а седьмого августа завязалось дело под Гумбинином. Немцы до рассвета открыли массовый артиллерий-

ский огонь по всему фронту. Двенадцать батарей пушек и четыре батареи тяжелых гаубиц, установленных в заранее приспособленных окопах, в три раза превосходили русскую огневую силу. Но русские тоже стреляли не плохо. Корпус Макензена вконец был истрепан нашей артиллерией и ружейным огнем, от кенигсбергской дивизии Франсуа летели клочья. Русский удар привел неприятеля в замешательство. Оно усилилось, когда пришло сообщение о приближении пяти корпусов Самсонова, двигавшегося фронтом на Сольдау-Ортельсбург. Командующий восьмой германской армией, генерал фон Притвиц пришел в такую растерянность, что решил отступить за Вислу и там создать оборонительную линию. При таком моральном состоянии врага, Ренненкампф ждал несомненный успех, если бы он сразу двинулся вперед...

— Почему же он не двинулся?

— Я полагаю, не пожелал рисковать и испортить впечатление от успеха под Гумбиненом, который в Петербурге так раздувают его поклонники и поклонницы. Меня, то и дело, спрашивают — которая из наших армий в Восточной Пруссии сильнее? И я должен неизменно отвечать — Ренненкампф.

— Это почему?

— За нее графиня Клейнмихель, княгиня Орлова, Общество рысистых испытаний, все кавалерственные дамы, а Самсонов — один.

Государь рассмеялся. — Однако же, Ренненкампф имеет успех?

— Да, как бы там ни было, результатом боев под Гумбиненом была нервозность в Кобленце. Паника фон Притвица и его намерение отступить за Вислу, привели в ужас Мольтке. Мы уже располагаем верными сведениями о смещении Притвица и начальника его штаба Вальдерзее. Сейчас из Ганновера мчится поезд-молния с новым командующим восьмой армии Гинденбургом и начальником штаба Людендорфом.

Государь курил. — Ну, а Самсонов?

— Для соприкосновения с неприятелем Самсонову надо пройти добрых полтораста верст. Стороной слышу, что Ставка предписывает ему небывалую скорость движения. Войско из-

матывается и есть опасность, что к моменту встречи с врагом, не в силах будет пальцем пошевелить от усталости.



Во дворце было все, как за последние пятьдесят лет — утренний завтрак и чай с калачами завернутыми в подогретую салфетку. Государыня без них за стол не садилась. В императорскую резиденцию постоянно шли по железной дороге цистерны с водой из Москвы; только на московской воде растворялось тесто для калачей. После первого завтрака государь слушал доклады, гулял и возвращался ко второму, подававшемуся в полдень. В пять часов вечера — чай в апартаментах. Между завтраком и чаем царь разговаривал с кем-нибудь, либо шел в библиотеку и всматривался в паутину карты военных действий, разложенной на столе.

Государыня уединялась в сиреновом будуаре в обществе Вырубовой. Анна Александровна, сделавшись ежедневной посетительницей дворца, устраивалась поудобнее со своей большой ногой в мягком кресле.

— Как в жизни все быстро меняется, ваше величество! Думали ли мы, плавая на Штандарте всего полтора месяца тому назад, что нас ждут такие ужасные времена? Ах Штандарт! Никогда не забуду догорающей полоски на горизонте, лягза якорной цепи на рейде, глади залива и запаха папиросы государя!...

— Ты могла бы пощадить государя и не делать его предметом своих картин и фантазий.

— Государь — моя жизнь! Вы это знаете, ваше величество.

— Но я тебе давно сказала, что не хочу этого слушать.

Императрица никогда не забывала, что в годы ее одиночества Аня была первым человеком привязавшимся к ней всей душой. Потом, государыню преисполнило искренней жалостью несчастное ее замужество и развод с лейтенантом Вырубовым. Окончательно сблизил их государь общей любовью к нему. Порой, царица сама просила государя быть поласковой со своей поклонницей. Нередко навещала Аню на ее даче, в маленькой

комнате сплошь увешанной портретами государя. Под стеклянным колпаком — реликвия — недокуренная его папироса. Посидев здесь, обе выходили благодные и умиротворенные. Болтовня подруги помогала Александре Федоровне забывать о войне.

Государь тоже не любил о ней думать. Но приехал Сазонов и целый час говорил о бедственном положении Франции. Намюр готов капитулировать, весь Люксембург покрыт ослиными шкурами, как называли французы серые немецкие мундиры. Они захватили землю смежную с Лотарингией, не говоря уже о половине Бельгии. — Мы теперь оставили мысль о продвижении в Эльзасе, — сказал Палеолог, — левое крыло нашего фронта погибает к юго-западу под напором фон Клука и Бюлова. Приближается час, когда России предстоит выполнить свои союзнические обещания. — Сазонов жаловался, что Палеолог нажимает на него сильнее чем фон Клок на французов, требует ускорения нашего движения «на Берлин», дабы оттянуть германские силы от Парижа. По его словам, уже вывозят золото из подвалов французского банка. Пуанкарэ ночей не спит от мысли о неизбежной эвакуации Парижа.

— Я всячески заверял посла, что наша Ставка делает всё, чтобы помочь союзникам, но он твердит одно: Ставка слишком медлит. Надежды он возлагает на вас, государь, дабы вы своим державным словом воздействовали на командование.

— Мне жаль Пуанкарэ, — проговорил государь.



Неожиданно вернулся Жуков. Как офицер конвоя, он явился к своему командиру графу Граббе: — «Направлен верховным главнокомандующим в Царское Село для личного сообщения государю императору». В гофмаршальской части — переполох. Не было случая, чтобы флигель-адъютант его императорского величества являлся посланником к государю от другого лица. Но после многих колебаний граф Бенкендорф доложил, и государь принял Жукова в гостиной в присутствии императрицы.

— Как Вы попали в Ставку? Мне говорили, что вас посылали не туда.

— Так точно, ваше величество, я ехал в Белосток, но, представившись командующему Северо-Западным фронтом генералу Жилинскому, получил назначение во вторую армию. Генерал Самсонов со своим штабом был уже в пути и мне пришлось догонять его.

Жуков рассказал, как в одной немецкой деревушке предстал перед командующим второй армией. Лицо усталое, нервное, глаза — со всеми признаками недосыпания.

— Вы видели в пути, полковник, что делает штаб Северо-Западного фронта с нашей армией? Нас гонят немилосердно без сна, без отдыха. На все мои протесты либо молчание, либо ответы граничащие с оскорблением. Инициатива отнята у меня. Если будет так продолжаться, я окажусь командиром двухсот тысяч полумертвых от изнеможения солдат. Ставка верховного прислушивается больше к голосу генерала Жилинского, чем к моему. Вы моя последняя надежда. В бою вы еще успеете побывать. Сейчас мне нужна не храбрость ваша, а другое. Поезжайте в Ставку и расскажите всё. Если на телеграммы не обращают внимания, то флигель-адъютанта государя императора не могут не выслушать.

Генерал приказал приготовить аэроплан, на котором Жуков вылетел и в тот же день был в Ставке. Его принял начальник штаба генерал Янушкевич и тотчас доложил великому князю. На утро приказ: в армию генерала Самсонова не возвращаться, а ехать в Царское Село, чтобы доложить его императорскому величеству обо всем виденном. Верховный главнокомандующий придает этому большое значение в виду возможного дипломатического осложнения. Поощряемый французской главной квартирой, генерал Лагиш настаивает на ускорении нашего наступления «на Берлин». По его словам, Франция навсегда разочаруется в своем восточном союзнике, если Париж будет взят немцами. Ни занятие нами нескольких городов, ни вызванная этим паника в Восточной Пруссии не удовлетворяют его. Между тем, по словам Янушкевича, вели-

кий князь не может требовать от Самсонова еще большего ускорения марша.

Докладывая императору, Жуков чувствовал его глухое недовольство. Николай Александрович не терпел малейшего касательства своих придворных слуг к государственно-политическим делам. Его глубоко возмутил поступок великого князя, позволившего себе отправить к нему собственного его флигель-адъютанта с таким поручением. Жуков знал, что он уже чем-то запятнан в глазах государя.

— Ну а что же вы видели и о чем должны были говорить в Ставке?

— Представьте себе, ваше величество, поле по которому сколько хватит глаз, тянутся повозки и телеги. Это был обоз корпуса генерала Ключева. Проезжая мимо, я видел выбивавшихся из сил лошадей, колеса телег уходившие в песок по самые ступицы. Лошади покрытые пеной не могли их вытянуть. Коней выпрягали, вели в голову обоза, чтобы удвоенными и утроенными силами продвинуть на некоторое расстояние передние возы. Потом возвращали назад, чтобы таким же способом подтянуть оставшиеся повозки. От них шел тяжелый запах. «Мясо протухло, — сказал унтер-офицер, — третьего дня запаслись, думали покормим солдат... какое!.. до солдат на ероплане не долетишь, ушли голодные, а мясо гниет, придется выбрасывать. Да и хлеб, кажись, зацветает. Такая жара и духота! Сапоги и те плесневеют!».

Жукову лишь на другой день удалось догнать строевые части — понурые, запыленные. Два дня не ели, не пили, а спать ложились, без малого, в полночь. Поднимались до восхода солнца. И так целую неделю. — Ноги что деревянные, — жаловались солдаты.

— А что генерал Самсонов?

— Генерала тревожило направление движения. — Нас ведут не туда, — говорил он, — подставляют под фланговый удар. Он убежден был, что опасность угрожает не с севера, а с запада, тогда как генерал Жилинский слышать об этом не хотел. Увлеченный своим планом, он всякую попытку изменить

либо замедлить продвижение встречал грозными телеграммами, настаивавшими на строгом выполнении его приказов.

— А как отнеслись в Ставке?

— Генерал Янушкевич сказал: — Мы всё это знаем и понимаем генерала Самсонова. Его тревога за армию законна, но у нас нет пока причин вмешиваться в планы и расчеты Северо-Западного фронта. Считаю, однако, нужным сейчас же довести до сведения его высочества обо всем вами сказанном.

Государь выслушал Жукова, спросил, как живут в Ставке, в котором часу встают и когда бывает обед. После коротких ответов аудиенция была окончена.



На другой день Граббе сказал с улыбкой: — Конвой решил не возвращать тебя в действующую армию. Придется ждать следующей очереди.

— Вот и взыскание получил!

Жуков был на хорошем счету. Красивый, с приятными манерами, умел хорошо говорить; сама государыня любила его слушать. За ним ничего не было замечено. Но все, от гофмаршала до камердинера, чувствовали в нем не своего.

— Умен, вот и всё тут, — пробурчал однажды адмирал Нилов.



Но Жукову было не до мелких огорчений. Не избавиться было от видения бесконечного потока солдат с печатью обреченности на лицах. Зная мистическую складку государя, он не рассказал самого страшного, что видел — солнечного затмения. Полоса его захватила земли по которым шла русская армия. Реки и озера превратились в лужи расплавленного олова. Небо потухло. Войско шло привидениями среди призрачных лесов, холмов и столбов дыма на горизонте.

— На верную смерть ведут... — шептали солдаты.

— И это правда, — говорил Жуков своему молодому другу, — они уже взяты на прицел. Я ночью спать не могу; все кажется, вот-вот придет весть об их гибели. Здесь никто

об этом не думает... Так и хочется, чтобы пушки загрохотали не там, под Альтенбургом, а здесь, под Пулковом.

Жуков показался поручику уже не тем, каким был при первых встречах. Какая-то тень залегла на лице.

— Вы, дорогой мой, не бывали на войне и не можете понять моего негодования. Десять лет тому назад, я участвовал в атаках, когда люди кругом падали от пуль, как груши с дерева. И это — хоть бы что. Особенно, если атака была удачной. Но бывал и в таких боях, когда дурак-генерал заводил тысячи солдат в капкан, так, что неприятель спокойно брал нас на мушку и расстреливал. Тогда душа кипела и хотелось пустить пулю в лоб самому превосходительству. Нет большего оскорбления и надругательства над приносящим отечеству собственную жизнь и видящим, как этим бесценным приношением распоряжается профан. Солдат простит какие угодно жертвы в правильно ведущемся бою, но никогда не прощает бесполезного расходования чужих жизней. Знаете, что мне стало известно за мое короткое пребывание в Ставке? Там с самого начала не верили в успех восточно-прусского похода. Войска посылались во исполнение наших обязательств перед Францией. Их заранее списали в расход. И какие войска! Молодец к молодцу! Превосходные гвардейские полки!



Хмарь от горевших целое лето лесов рассеялась. Но над Россией простерлось черное крыло предчувствий. Газеты писали об отступлении неприятеля к Кенигсбергу, об успешных боях под Томашевым и Монастыржиском, а в народе шепотом передавалось: «Измена»!.. «Генералы!» Сухомлинов едва успевал отвечать на телефонные звонки высокопоставленных особ, спрашивавших, все ли у нас благополучно на войне? Позвонил товарищ министра внутренних дел Джунковский, спросив, чем могло быть вызвано волнение публики, покинувшей концертный павильон в Павловске? Правда ли, будто поступили какие-то неблагоприятные известия с театра военных действий?

— Я полагаю, Владимир Федорович, причина тут в лож-

ных сведениях распускаемых немецким агентством Вольфа о наших неудачах в Восточной Пруссии. Наш главный штаб уже предупреждал неоднократно об этой пропаганде. Но что делать если у народа врожденное недоверие к рапортам и сообщениям своих властей! Если пишут, что никаких неудач нет, значит они есть.

Вечером, немецкий беспроволочный телеграф оповестил Европу: — «Всем! Всем! Всем! Вторая русская армия силою в три корпуса окружена и полностью уничтожена».

— Это провокация оберкомандо восьмой германской армии, — лепетал бледный адъютант министра, — вот сегодняшняя сводка нашего главного штаба... она считает излишним опровергать эти нелепые измышления.

Сухомлинов, взяв бюллетень и пробежав все касающееся «измышлений», углубился в сообщения о перестрелках и стычках. Среди них, как бы невзначай: «На прусском фронте, в районе Остеродэ появились новые неприятельские силы, кои на некоторых участках переходят в наступление...»

Стали понятны настойчивые опровержения телеграмм агентства Вольфа. Министр вспомнил, что еще неделю тому назад военная разведка доносила, будто Мольтке начал готовить пять корпусов для отправки с западного фронта на восток и уже тогда отправлен был гвардейский резервный корпус, взятый из армии фон Бюлова и одиннадцатый армейский корпус — из армии фон Гаузена. Их сопровождала восьмая саксонская кавалерийская дивизия. Вспомнились сообщения о ликованиях во французской Главной Квартире, где это распоряжение Мольтке называли «нашим спасением». «Старый Мольтке перевернется в гробу от такой ошибки племянника», — говорил генерал Дюпон.

За обедом у Донона, к военному министру подсел молодой граф Ростовцев, секретарь императрицы Александры Федоровны.

— Ради Бога, Владимир Александрович, что там происходит?

Сухомлинов выдержал полагающуюся паузу и отчеканил: — Могу, только, повторить слова сообщения генерального

штаба, что опровергать телеграммы агентства Вольфа совершенно излишне, то-есть — невозможно.

— Так это верно, что говорят?

— Увы! Теперь я имею официальное подтверждение. Не смею его разглашать, по настоянию Ставки; исключение делаю для вас, как секретаря ее величества.



Ставка три дня не говорила правды, чтобы дать народу приготовиться к страшному удару. Только девятнадцатого августа вся Россия прочла: «Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта, благодаря широкоразвитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы, около двух корпусов, подвергшихся самому сильному обстрелу тяжелой артиллерией от которой мы понесли большие потери. По имеющимся сведениям, войска дрались геройски; генералы Самсонов, Мартос, Пестич и некоторые чины штабов погибли».

Но, как ни старались подготовить Россию к официальному признанию факта катастрофы, она содрогнулась как от удара ножом. Открылись старые раны — воспоминания позорной японской войны. Неужели опять?... Неужели это наш удел?... Русь! Русь! Подлинно ли ты велика и могуча?

На квартире у Петра Семеновича шли дебаты. Молодой трудовик кипел и требовал выявления виновных.

— Это не шутка, так запросто целое войско ухлопать! Как ни велика Россия, а такие дозы и для нее не прописаны. Обрадовались что черноземного люда много и давай валить сотнями тысяч!

— А разве могло быть иначе, если кругом немцы? В Варшаве у нас кто был начальником военного округа? Генерал Скалон — немец, самый что ни на есть юбер-аллес, да еще большой друг германского консула барона Брюка. Кто начальник жандармского управления? Утгоф — немец. Кто губернатор? Барон Корф. Оберполицимейстер — Мейер, градоначальник — Миллер, прокурор палаты — Гессе, управляющий контрольной палатой — фон Минцлов, вице-губернатор

Грессер... И счета им нет. Еще до войны прибрали нас к рукам...

— Да кто нас не прибирал? А французы? Разве найдется русское сердце способное отказать в чем-нибудь этим сим-помпончикам?



Министр внутренних дел Маклаков, опасавшийся шумной реакции думских кругов, с удовлетворением отметил ее сдержанность. Зато граф Витте гремел на весь Петербург.

— Радуйтесь! Мы спасли самую аморальную нацию в мире!

Министр Барк застал его яростно шагающим по кабинету. — Вот вам!.. Это Седан! Такое бывает лишь к концу войны и означает полное поражение, а мы начинаем с Седана... И ведь победа Гинденбурга, это победа не гения, а простой военной образованности и дисциплины над нашей распущенностью и невежеством. Мы сами создаем славу своим врагам. Ну, скажите на милость, зачем мы вступили в эту войну? Мне ясно, зачем воюет Австрия и Германия, зачем воюют Франция и Англия; у каждой — реальные осмысленные цели. Но какая цель у нас? Какую выгоду преследуем? Братьев-славян спасаем? Да пропади они пропадом!.. Пусть их забирают немцы. Не стоят — они ни капли крови нашего солдата! Все наши войны из-за них войдут в историю, как памятник нашей глупости.

Речам Витте вторили письма великого князя Николая Михайловича к вдовствующей императрице.

— Как низко котируется русская кровь в Ставке верховного! Мазурские озера покраснели от нее, а ни Артамонов, бросивший свой корпус и положивший начало катастрофе, ни Ренненкампф не сделавший шага, чтобы помочь второй армии — не преданы суду. Верховный не забывает своих. Дорого нам обходится Петербургский Военный Округ с его гнездом лубимцев и ни на что негодных бездельников.

По мере того как приходили сведения о подробностях катастрофы, о сотнях тысяч солдат лишившихся начальства и

брошенных на гибель — холод проникал в сердца. Говорили о самоубийстве Самсонова, о ста десяти тысячах погибших.

— Вар! Вар! Отдай мои легионы! — Дондуа был уверен, что император повторяет эти слова и как Август бьется головой о стену.

— Государь спокоен, — сказал ему Жуков. — Граф Бенкендорф, был свидетелем, как он, услышав страшную весть, сказал: «На все воля Божия». С государем это не впервые. От лиц, ездивших десять лет тому назад в царском поезде, я наслушался, как у них душа замирала от вестей шедших с дальнего Востока: Порт-Артур, Мукден, Цусима... Один государь был спокоен, подсчитывал количество верст сделанных им в разъездах по России, вспоминал с улыбкой, как встречавший его на перроне губернатор растерялся при появлении царя, как смешно выглядела земская группа стоявшая с хлебом-солью. Вот и сейчас. Надобен особый глаз на все происходящее, чтобы при вести, от которой в озноб бросает, заняться переименованием Петербурга в Петроград. Канцелярии завалены всеподданнейшими прошениями о перемене немецких фамилий на русские. Рейнбот превращается в Резвого, Гакебуш в Горелова, Штюрман в Панина, а князь Брянчанинов предложил переименовать бутерброд в сандвич. Так мы берем реванш за Сольдау.



После сообщения о гибели Второй армии, газеты не упоминали о ней. Всё заполнили ликующие телеграммы о взятии Львова войсками генерала Рузского и о «взятии победными войсками армии генерала Брусилова издревле русского города Галича». Как в цирке, когда акробат, сорвавшись с трапеции, разбивается, на арену выпускают шумную толпу клоунов, так печать наполнилась стишками про казака Крючкова, убившего в схватке шестнадцать немцев.

Храбрый наш казак Крючков
Ловит на поле врагов...

Не обошли вниманием и солдатскую доблесть.

Наш солдат
Прирожденный хват
Сам черт ему не брат!
Лег
Свернулся
Встал
Встрепенулся
Вдарил штыком
Вся Австрия кувыркком!

— Это отвратительно!... Не могу слушать о взятии Львова, пока не оплаканы погибшие под Сольдау, — говорила графиня Клейнмихель. — Когда я спросила Поля, будет ли по ним отслужена панихида, то узнала, что государыня с Вырубовой отслужили ее в маленькой дворцовой церкви. И больше ни о каких панихидах не слышно.

— Совсем, как в дни Ходынки, — проговорил священник, думский депутат. — Не в домовый бы церкви, не келейно, а в Казанском соборе, всенародно, слезами омыть раненую народную душу.

— Истинно, отец Игнатий! — поддакнул седой генерал в отставке. — Воздавать честь погибшим — старая военная традиция. А взятие Львова не такой подвиг за который можно было бы забыть кровь пролитую под Сольдау. Это вовсе не крепость, в нем даже гарнизона не было. Остатки войск австрийцы вывели до прихода наших. Но Рузский брал пустой город по всем правилам, как первоклассную крепость. Теперь он — «герой Львова» и я слышу, его прочат в главнокомандующие северо-западным фронтом на место Жилинского.

— Но согласитесь, ваше превосходительство, — подал гoлoс влиятельный журналист, — народу нужны герои и подвиги. Каждый день перед редакцией «Нового Времени» стоит огромная толпа в ожидании телеграмм с войны. Из Галиции — хорошие вести, но радости нет на лицах. Народ не верит больше в победы, верит в поражения. И вот, каков бы

ни был этот Рузский, если его имя снова зажжет надежду, так слава Богу.



Военный министр с негодованием заметил, что престиж его врага нисколько не пошатнулся после Сольдау. Всю неудачу приписали генералам. С первых дней войны генералы зачислены были в трусы и в предатели, они давно бы предали Россию не будь великого князя. Толки об этом шли на всех перекрестках, так что Сухомлинов счел нужным доводить их до сведения... государыни императрицы. Делал это через графа Ностица, друга Вырубовой. Имел, однажды, случай разговаривать с самой Вырубовой.

— Волнуют меня, любезная Анна Александровна, эти толки. Как можно вести войну, когда все командиры объявлены чуть ли не изменниками? А кто-то внушает это народу. Недавно, мой денщик слышал на улице, как его высочество, верховный главнокомандующий, собственноручно застрелил офицера отказавшегося идти в атаку.

— Может-быть это немцы распускают?

— Может-быть и немцы... Но кажется у нас самих нет недостатка в распускателях. Кто-то очень уж заботится о популярности великого князя. Сейчас начинают печатать календари к новому году и, вот представьте себе — ни одного с портретом государя, всюду верховный главнокомандующий. Тут уж не немцы...

Истинным утешением Сухомлинова были письма с театра военных действий великого князя Николая Михайловича. Писал он их императрице Марии Федоровне, но из Елагина дворца они на другой же день попадали в каменноостровскую дачу графини Клейнмихель и широким путем... по всему Петербургу. Великий князь откровенно считал силы России и ее противников неравными по технике, по вооружению, по командованию. У немцев группа великолепных генералов — Фалькенгайм, фон Клок, Макензен, фон дер Гольц, Гинденбург, Людендорф. — Я не знаю есть ли среди них гении, — писал он, — но хорошо знаю, что все они специалисты военного

дела, прекрасно его знающие, военно мыслящие и образованные. А наш великий князь, чье общее образование стоит на уровне гимназиста шестого класса, который не прочел ни одного труда по военному делу, сущий в оном деле диллентант. Соперничество его с Гинденбургом, это соперничество юнкера с генералом.

Другим поклонником эпистолярного искусства Николая Михайловича сделался граф Витте.

— Совершенно верно!... Знали, что неспособен, а назначили. Начальник штаба, мол, вывезет, генерал-квартирмейстер вывезет, весь штаб вывезет... Всегда у нас эти лошадки должны вывозить невежественных, глупых великих князей. Рвутся к высоким постам не имея на то никаких данных!... А нынешний главнокомандующий так и начальника штаба подобрал себе под стать. Тут уж один только Бог может «вывезти». Но самое страшное в письмах его высочества, это отсутствие у нас какого бы то ни было общего плана войны. Воюем от случая к случаю. Стратегические идеи посещают нас за утренним кофе, либо в разговорах с союзническими атташэ. Союзники подсказывают нам стратегию!..

Граф давно недомогал. Врачи запретили ему всякое волнение. Но когда близкие напоминали об этом, он кричал: — Не могу!.. Не обладаю такой царственной дубовостью, чтобы спокойно есть и пить, когда русская кровь рекой льется!..

Н. Ульянов

«Т Ы!»

Как цветок — из сброшенного платья,
Из подарка первой наготы,
Из прикосновенья, из объятия
Расцветает радостное «ты!»

Нет другого языка на свете
Чтобы так и нежен был и строг!
Говорят на нем с тобою дети,
Говорит на нем с тобою Бог.

Радуйся, что стал теперь возможен
Светлый праздник на пути твоём,
Что любимая отныне тоже
Будет говорить с тобой на нём!

В Е Р А

Настолько всё противоречит ей,
Что говорить о ней не стоит даже!
Как сможешь объяснить ее точнее,
Как выразишь ее и чем докажешь?

И всё-таки она в тебе жива
Как некое непонятое чудо,
Как сквозь асфальт проросшая трава —
Из ничего, неведомо откуда.

Владей же ею молча, не назвав,
Поняв, что не о всём поведать можно,
Но почему то чувствуя, что прав —
Недоказуемо и непреложно.

Дм. Кленовский, 1971

ЗА ПИСЬМОМ

Полупьяный радист распахнул мои двери.

— Тебе ксива из управления, зайди в мою хавиру, — и исчез в снегу во мгле. Я отодвинул от печки тушки зайцев, привезенных мной из поездки — на зайцев был урожай, едва успевай ставить петли, и крыша барака была застлана наполовину тушками зайцев, замороженными тушками. Продать их было некуда, так что подарок — десять заячьих тел — не был слишком дорогим, требующим отплаты, оплаты. Но зайцев надо было сначала оттаять. Теперь мне было не до зайцев.

Ксива из управления — телеграмма, радиограмма, телефограмма на мое имя — первая телеграмма за пятнадцать лет. Оглушительная, тревожная, как в деревне, где любая телеграмма — трагична, связана со смертью. Вызов на освобождение — нет, с освобождением не торопятся — да я и освобожден давно. Я пошел к радисту в его укрепленный замок, станцию с бойницами и тройным палисадом, с тройными калитками за шеколдами, замками, которые открыла передо мной жена радиста, и я протискивался сквозь двери, приближаясь к жилищу хозяина. Последняя дверь, и я шагнул в грохот крыльев, в вонь птичьего помета и продирался сквозь кур, хлопающих крыльями, поющих петухов; сгибаясь, оберегая лицо я шагнул еще через один порог, но и там не было радиста. Там были только свиньи, вымытые, ухоженные три кабанчика поменьше и матка побольше. И это была последняя преграда.

Радист сидел, окруженный ящиками с огуречной рассадой, ящиками с зеленым луком. Радист впрямь собрался быть миллионером. На Колыме обогащаются и так. Длинный рубль

Эти рассказы В. Т. Шаламова получены нами из Совсоюза без ведома и согласия автора. РЕД.

— высокая ставка, полярный паек, начисление процентов, — это один путь. Торговля махоркой и чаем — второй. Куроводство и свиноводство — третий.

Притиснутый всей своей фауной и флорой к самому краю стола радист протянул мне стопку бумажек — все были одинаковыми, — как попугай, который должен был вытянуть мое счастье.

Я порылся в телеграммах, но ничего не понял, своей не нашел и радист снисходительно кончиками пальцев достал мою телеграмму.

«Приезжайте письмом», то-есть приезжайте за письмом — почтовая связь сэкономила смысл, но адресат конечно понял, о чем речь.

Я пошел к начальнику района и показал телеграмму.

— Сколько километров?

— Пятьсот.

— Ну, что же...

— В пять суток обернусь.

— Добре. Да торопись. Машину ждать не надо. Завтра якуты подбросят тебя на собаках до Барагона. А там оленьи упряжки, почтовые прихватят, если не поскупишься. Главное тебе добраться до центральной трассы.

— Хорошо, спасибо.

Я вышел от начальника и понял, что я не доберусь до этой проклятой трассы, даже до Барагона не доберусь, потому что у меня нет полушубка. Я колымчанин без полушубка. Я был сам виноват. Год назад, когда я освободился из лагеря, кладовщик Сергей Иванович Коротков подарил мне почти новый белый полушубок. Подарил и большую подушку. Но, пытаясь расстаться с больницами, уехать на материк, я продал полушубок и подушку — просто, чтобы не было лишних вещей, которым конец один — их украдут или отберут блатные. Так поступил я в прошлом. Уехать мне не удалось — отдел кадров совместно с Магаданским МВД не дал мне выезда и я, когда деньги вышли, вынужден был поступить снова на службу в Дальстрой. И поступил и уехал туда, где

радист и летающие куры, но полушубка не успел купить. Попросить на пять дней у кого-либо — над такой просьбой на Колыме будут смеяться. Оставалось купить полушубок в поселке.

Верно, нашелся и полушубок и продавец. Только полушубок — черный с роскошным овчинным воротником, был более похож на телогрейку — в нем не было карманов, не было пол, только воротник, широкие рукава.

— Что ты, отрезал полы, что ли? — спросил я у продавца, у надзирателя лагерного Иванова. Иванов был холост, мрачен. Полы он отрезал на рукавицы — краги, модные, — пар пять таких краг вышло из пол полушубка и каждая пара стоила целого полушубка. То, что осталось — не могло, конечно, называться полушубком.

— А тебе не все равно. Я продаю полушубок. За пятьсот рублей. Ты его покупаешь. Это лишний вопрос — отрезал я полы или нет.

И верно, вопрос был лишний и я поторопился заплатить Иванову и принес домой полушубок, примерил и стал ждать ночи.

Собачья упряжка — быстрый взгляд черных глаз якута, онемевшие пальцы, которыми я вцепился в нарту, полёт, и едва поворот — речка какая-то, лёд, кусты бьющие по лицу больно. Но у меня все завязано, все укреплено. Десять минут полета и почтовый поселок, где...

— Марья Антоновна — меня не подбросят?

— Подбросят.

Здесь еще в прошлом году, прошлым летом заблудился маленький якутский мальчик, пятилетний ребенок, и я и Марья Антоновна пытались начать розыски ребенка. Помешала мать. Она курила трубку, долго курила, потом черные свои глаза навела на нас с Марьей Антоновной.

— Не надо искать. Он придет сам. Не заблудится. Это — его земля.

А вот и олени, — бубенцы, нарты, палка у каюра. Только эта палка называется хореем, а не остолом как для собак.

Марья Антоновна, которой так скучно, что она каждого проезжего провожает далеко — за околицу таежную — что называется околицей в тайге.

— Прощайте, Марья Антоновна.

Я бегу рядом с нартами, но больше сажусь, присаживаюсь, цепляюсь за нарты, падаю, снова бегу. К вечеру огни большой трассы, гул ревуших, пробегающих сквозь мглу машин.

Рассчитываюсь с якутами, подхожу к обогревалке — дорожному вокзалу. Печка там не топится — нет дров. Но все таки — крыша и стены. Здесь уже есть очередь на машины к центру, к Магадану. Очередь не велика — один человек. Гудит машина, человек выбегает во мглу. Гудит машина. Человек уехал. Теперь мне надо выбегать на мороз.

Пятитонка дрожит, едва остановилась ради меня. Место в кабине свободно. Ехать наверху нельзя в такую даль, в такой мороз.

— Куда?

— На Левый берег.

— Не возьму. Я уголь везу в Магадан, а до Левого берега не стоит садиться.

— Я оплачу тебе до Магадана.

— Это — другое дело. Садись. Таксу знаешь?

— Да. Рубль километр.

— Деньги вперед. — Я достал деньги и заплатил.

Машина окунулась в белую мглу, сбавила ход. Нельзя дальше ехать — туман.

— Будем спать, а? На Еврашке. — Что такое еврашка? Еврашка — это суслик, Сусликовая станция. Мы свернулись в кабине при работающем моторе. Пролежали пока рассвело и белая зимняя мгла не показалась такой страшной, как вечером.

— Теперь чифирку подварить — и едем.

Водитель вскипятил в консервной кружке пачку чая, остудил в снегу, выпил. Еще вскипятил вторачок, снова выпил и спрятал кружку.

— Едем!

— А ты откуда?

Я сказал.

— Бывал у вас. Даже работал в вашем районе шофером. В вашем лагере такой негодяй есть — Иванов, надзиратель. Тулуп у меня украл. Попросил доехать — холодно было в прошлом году — и с концами. Никаких следов. И не отдал. Я через людей передавал. Он говорит, не брал и всё. Собираюсь все сам туда, отнимать тулуп. Черный такой, богатый. Зачем ему тулуп? Разве порежет на краги — и распродаст. Самая мода сейчас. Я бы сам мог эти краги пошить — а теперь ни краг, на тулупа, ни Иванова.

Я повернулся, сминая воротник своего полушубка.

— Вот такой черный, как у тебя. Сука. Ну, спали, надо прибавить газку.

Машина полетела гудя, ревя на поворотах — водитель был приведен в норму цифирем.

Километр за километром, мост за мостом, прииск за прииском. Уже рассвело. Машины обгоняли друг друга, встречались. Внезапно все затрещало, рухнуло и наша машина остановилась, причаливая к обочине.

— Все — к черту!! — плясал водитель. — Уголь — к черту! Кабина — к черту! Горт — к черту! Пять тонн угля — к черту!

Сам он даже не был поцарапан, а я не сразу понял, что случилось.

Нашу машину сбила чехословацкая Татра, встречная. На ее железном борту и царапины не осталось. Водители притормозили машину и вылезли.

— Подсчитай быстро, — кричал водитель Татры, — что стоит твой ущерб, уголь там, новый борт. Мы заплатим. Только без акта, понял?

— Хорошо, — сказал мой водитель. — Это будет...

— Ладно.

— А я?

— Я посажу тебя на попутку какую-нибудь. Тут километров сорок, довезут. Сделай мне одолжение.

— Сорок километров это час езды.

Я согласился, сел в кузов какой-то машины и помахал рукой приятелю надзирателя Иванова.

Я еще не успел промерзнуть, как машина начала тормозить — мост. Левый берег. Я слез.

Надо найти место ночевать. Там где было письмо, ночевать мне было нельзя.

Я вошел в больницу, в которой я когда-то работал. И в лагерьной больнице греться посторонним нельзя, и я только на минуту — постоять в тепле зашел. Шел знакомый вольный фельдшер и я попросил ночлега.

На следующий день я постучал в квартиру, вошел и мне подали в руки письмо, написанное почерком мне хорошо известным, стремительным, летящим, и в то же время четким, разборчивым.

Это было письмо Пастернака.

ОГОНЬ И ВОДА

Я бывал в огне и не один раз. Мальчиком я пробегал по улицам горящего деревянного города и на всю жизнь запомнил яркие освещенные дневные улицы, как будто солнца городу не хватало и он сам попросил огня. Безветренная тревога горячего светлоголубого раскаленного неба. Сила копилась в самом огне, в самом нарастающем пламени. Никакого ветра не было, но городские дома рычали, дрожа всем телом и швыряли горящие доски на крыши домов через улицу.

Внутри было просто, сухо, тепло, светло и я мальчиком без труда, без страха прошел эти, пропустившие меня живым и тут же сгоревшие до тла улицы. Сгорело все заречье и только река спасла главную часть города.

Это чувство покая в разгар пожара испытал я и еще раз — взрослым. Детство давно уже кончилось — и — заключенным я кончал срок в геологической разведке на Урале. Загорелся склад экспедиции и хоть склад был близко от реки

— пожарной машины не было, а ведрами, цепью ведер заливать растущий огонь было поздно.

В складе хранилось много добра и начальник экспедиции — он понимал, что наказание за пожар последует неотвратимо да еще с каким-нибудь политическим диверсионным акцентом. Начальник звал помочь, но никто из заключенных не вошел в огонь. Начальник обещал всякие блага — свободу, зачеты рабочих дней — сто дней за день, за час пожара. Я — хоть и не верил в эти пустые обещания — я вошел в огонь, я не боялся пожара. Кто-то из начальства, видя, что мы не гибнем, не сгораем переступил порог распахнутых ворот горящего склада.

Была ночь. В складе было темно и мы не добрались бы до нивеллиров, до теодолитов, вовсе не раскопали бы мешков с порохом — а мешков этих было много — если бы не огонь. Пожар осветил стены, осветил склад как подсвечивают сцену. Стало сухо, тепло и светло. Мы вытащили почти всё на берег речки. Только гора одежды в углу — спецовок, костюмов, тулупов, валенок, — сгорела.

Начальник был скорее обозлен — чем обрадован — неприятность со складом грозила по-прежнему — за сгоревшую одежду наверняка придется платить. Я не получил ни лишнего дня зачетов рабочих дней. Никто не сказал мне даже спасибо за борьбу с этим пожаром, с этим огнем. Но чувство бесстрашия вблизи огня, детское мое чувство окрепло.

Таежных пожаров я видел немало. Ступал по горячему синему, пышному, пережженному как ткань, мху метровой толщины. Пробирался через поваленный пожаром, лиственный лес. Лиственницы выдирало с корнем и валило не ветром — огнем. Огонь был как буря, он сам создавал бурю, валил деревья, оставляя навечно черный след по тайге. И падал в бессильи на берегу какого-нибудь ручья. По сухой траве пробегало светлое, желтое пламя. Трава колебалась, шевелилась, как будто там пробежала змея. Но змеи на Колыме не водятся.

Желтое пламя взбегало на дерево, на ствол лиственницы и уже набирая силу огонь ревел, сотрясая ствол. Эти судо-

роги деревьев, предсмертные судороги были везде одинаковы. Гиппократову маску дерева видел я не однажды.

Над больницей целых три дня лил дождь и потому я думал о пожаре, вспоминал огонь. Дождь спас бы город, склад геологов, горящую тайгу. Вода сильнее огня.

Всех выздоравливающих больных «гоняли» за ягодами, за грибами за речку — там была пропасть голубики, брусники, заросли чудовищные скользких разноцветных маслят с шляпкой скользкой и холодной. Грибы казались холодными, холоднокровными живыми существами, вроде змей — только не грибами.

Грибы рождаются поздно, после дождей, рождаются не каждый год, но если уже уродились — окружают каждую палатку, заполняют каждый лес, каждый подлесок.

Собрать в корзины — произвести сортировку — грибы поступали на соленье, на сушку, на маринад — к дяде Саше, больничному повару, который хоть в колдовстве над грибами вспоминал свое славное поварское прошлое в ресторане «Прага» и свое женеvское кулинарное образование. Дядя Саша был шефом правительственных обедов, и когда-то, во время оно, ему была доверена сервировка обеда в честь приезда Буллита. Обед в русском вкусе, в русском жанре. Борщ, щи, поросенок с кашей. Ассистенты дяди Саши привезли из Костромы пятьсот глиняных горшочков — по порции каши в каждый горшочок. Выдумка была удачной.

Буллит похвалил кашу. Но поросенка. Поросенка Буллит отодвинул в сторону, а кашу съел и попросил вторую порцию. Дядю Сашу наградили орденом Ленина.

Вскоре дядя Саша был арестован. В его деле было записано, что директор Московского ресторана «Прага» Филиппов звал дядю Сашу к себе на работу шеф-поваром. обещал квартиру, огромную ставку, заграничные поездки. «После того, как я отказался перейти в «Прагу», Филиппов предложил мне отравить правительство. И я согласился».

Дядя Саша руководил нашей работой. Сбор «дикоростов» — ягод, грибов — один из колымских психозов.

За этими дикорастущими ходим мы каждый день.

Сегодня было холодно, дул холодный ветер, но дождь перестал, сквозь рваные тучи виднелось бледное осеннее небо и было ясно, что дождя сегодня не будет.

Надо было идти. Больной в больнице для заключенных чувствует себя не вполне уверенно, если он не делает что-то для врача, для больницы: женщины — вышивку, какой-нибудь столяр — стол. Инженер расчерчивает впрок какие-нибудь бланки таблиц. Чернорабочий приносит — корзину грибов, ведро ягод.

Можно, нужно было идти за грибами. После дождя — урожай. В небольшой лодке втроем мы переправились через речушку, — как делали каждое утро. Вода чуть-чуть прибывала, бежала чуть-чуть быстрее, чем обычно. Волны были темнее, чем всегда.

Сафонов показал пальцем на воду, показал вверх по течению и мы все трое поняли, что он хотел сказать.

— Успеем. Грибов богато, — сказал Веригин.

— Не назад же возвращаться, — сказал я.

— Давайте так, — сказал Сафонов, — к четырем часам, вот против той горы бывает солнце, в четыре возвращаться на берег. Лодку привяжем повыше...

Мы разошлись в разные стороны — у всех были любимые грибные места.

Но с первых шагов по лесу я увидел, что спешить не надо, что грибное царство здесь под ногами. Шляпки опять были с шапку, с ладонь — наполнить две большие корзины было недолго.

Я вынес корзины к поляне, около тракторной дороги, чтобы найти сразу, и пошел налегке вперед, чтобы хоть одним глазком взглянуть — какие же грибы выросли там, на лучших моих участках, давно примеченных.

Я вошел в лес и грибная душа была потрясена — везде стояли огромные боровики, отдельно друг от друга, выше травы, ростом выше брусничных кустов — твердые упругие свежие грибы были необыкновенными.

Подхлестываемые дождевой колымской водой грибы выросли в чудовища, с полуметровыми шляпками, стояли — куда только ни глянь — и грибы все были так здоровы, так свежи, так крепки, что никакого другого решения нельзя было принять. Вернуться назад — выбросить в траву, что было собрано раньше, и приехать в больницу с этим вот грибным чудом в руках.

Так я и сделал.

На все было нужно время, но я рассчитал, что дошагаю по тропе в полчаса.

Я спустился с пригорка, раздвинул кусты — холодная вода на метры залила тропу. Тропа исчезла под водой, пока я собирал грибы.

Лес шелестел, холодная вода поднималась все выше. Гудело все сильнее. Я поднялся по горке и вдоль горы держал направо к месту нашей встречи. Грибов я не бросил — две тяжелые корзины, связанные полотенцем свисали с моих плеч.

Вверху я подошел к роще, где должна была быть лодка. Роща была вся залита водой, вода всё прибывала.

Я выбрался на берег, на пригорок.

Река ревела, вырывая деревья и бросая их в поток. От леса, к которому мы причалили утром, не осталось ни куста, — деревья были подмыты, вырваны и унесены. Страшная сила этой мускулистой воды, была похожа на борца. Тот берег был скалистым — река отыгралась на правом, на моем, на лиственном берегу. Речушка, через которую мы переправлялись утром, превратилась давно в чудовище.

Темнело, и я понял, что мне надо в темноте уходить в горы и там подождать рассвета, подальше от ледяной бешеной воды. Промокший до нитки, поминутно оступаясь в воду, перескакивая в темноте с кочки на кочку, я выволок корзины к подножью горы. Осенняя ночь была черной, беззвездной, холодной, глухое рычанье реки не давало мне прислушаться к голосам — да и где я мог слышать чьи-либо голоса.

В распадке неожиданно засиял свет и не сразу я понял, что это не вечерняя звезда, а костер. Костер беглецов? Ге-

ологов? Рыболовов? Сенокосчиков? Я пошел на огонь, оставив две корзины у большого дерева до свету, а маленькую взял с собой.

Расстояния в тайге обманчивы — изба, скала, лес, река, море могут быть неожиданно близко или неожиданно далеко. Решение «да или нет» было простое. Огонь — на него надо идти, не раздумывая. Огонь был новой важной силой в моей нынешней ночи. Спасительной силой. Я собрался брести неутомимо, хоть наощупь — ведь ночной огонь был, а значит там были люди, была жизнь, было спасенье.

Я шел по распадку, не теряя огонь из виду, и через полчаса, обогнув огромный камень — вдруг увидел костер прямо перед собой, вверху, на небольшой каменной площадке. Костер был разожжен перед низенькой, как камень, палаткой. У костра сидели люди. Люди не обратили на меня ни малейшего внимания. Что они здесь делают, я не спрашивал, а подошел к костру и стал греться. Мне хотелось есть, но хлеба в Колымской тайге у встречных не просят. Это были заключенные сенокосчики больницы — той самой больницы, для которой я собирал грибы.

Попросить хлеба нельзя, но попросить пустую консервную банку можно, и я попросил котелок, закопченный и смятый, зачерпнул воды и сварил в ней один из грибов-гигантов.

Размотав грязную тряпку, старший косец молча протянул мне кусочек соли, и скоро вода завизжала, запрыгала, забелела пеной и жаром. Я съел свой бесвкусный чудо-гриб, запил крутым кипятком и немного согрелся.

Я задремал у костра и медленно, неслышно подошел рассвет, наступал день — и я пошел к берегу, не благодаря сенокосчиков за приют. Две моих корзины у дерева были видны за версту. Вода уже спадала. Я прошел по лесу, цепляясь за уцелевшие деревья — со сломанными ветками, сорванной корой. Я шел по камням, иногда наступая на заносы горного песка. Я подошел к берегу. Да это был берег — новый берег — зыбкая линия половодья. Река бежала, еще тяжелая от дождей, но было видно, что вода садится.

Далеко, далеко, на другом берегу, как на другом берегу жизни — увидал я фигурки людей, машущих руками. Увидал лодку. Я замахал руками, меня поняли, узнали. Лодку подняли вдоль берега на шестах, километра на два выше того места, где я стоял. Сафонов и Веригин причалили ко мне много ниже. Сафонов протянул мне мою сегодняшнюю пайку 600 граммов хлеба, но есть мне не хотелось.

Я выволок свои корзины с чудо-грибами. Дождь, да я тащил грибы через лес, задевая о деревья ночью — в корзине валялись только обломки, обломки грибов.

— Выбросить, что ли? — сказал Веригин.

— Нет, зачем же...

— Мы свои вчера бросили. Едва успели перегнать лодку. А о тебе так подумали, — твердо сказал Сафонов, — с нас больше будет спроса за лодку, чем за тебя.

— За меня немного спроса, — сказал я.

— Вот то-то. Ни нам, ни начальнику за тебя немного спроса, а за лодку... Правильно я сделал?

— Правильно, — сказал я.

— Садись, — сказал Сафонов, — и бери эти корзины проклятые.

И мы оттолкнулись от берега и пустились в плаванье — утлый челнок по бурной еще грозовой реке.

В больнице меня встретили без ругани и без радости. Сафонов был прав, когда позаботился раньше всего о лодке.

Я пообедал, поужинал, позавтракал, и снова пообедал и поужинал — съел весь свой двухдневный рацион и меня стало клонить в сон. Я согрелся. Но мне хотелось для большего блаженства чаю — простого кипятка, конечно. Настоящий чай только начальство пьет.

Я сел у печки в бараке, поставил на огонь котелок с водой. На укрошенный огонь укрошенную воду. И скоро котелок забурлил, закипел. Но я уже спал...

В. Шаламов

1

Нежный неясный дождь, как легкое забытье. Но уже
Полупрозрачные крылья дождя почти отшумели.
Сильный запах цветов, точно смутный настойчивый
шопот.

Если бы эти таинственные тридцать минут
Остались в вечности (мелким жучком в янтаре),
Но нет, они пролетели неизвестно куда,
Эфемериды, метеориты, прощайте.

Какая она, огромная, темная фреска жизни?
Вместо нее — мелкие фрагменты орнамента,
А душа — душа уже вечерет.

Если бы знать химическую формулу души,
Может быть, можно было бы что-то исправить,
а так... Слушай, ты веришь
в темную мифологию счастья?

В общем, мы плохие алхимики. Все же, видишь, в руке
у меня
Тускловатый кусок философского камня печали.

2

Светлые белые горы —
метаморфоза музыки,
и воздух воскресного белого, снежного полдня —
прозрачный кристалл тишины.

Как много задумчивой мудрости
в снежном безветрии.
Белеют сугробы, большие аккорды покоя.
И солнце нисходит.

...Потом, перед самым закатом,
косые лучи, серебристые легкие флейты,
играют прелюдию вечности.

Игорь Чиннов

ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

В одном из разговоров со мной Мервиль сказал, что у Лу бывают иногда припадки сомнения и что хотя все, казалось бы, обстоит совершенно благополучно, остается еще что-то, как он выразился, этап, который нужно пройти.

— Как ты хочешь, чтобы все мгновенно изменилось? — сказал я. — Это долгий и медленный процесс, мой милый, вряд ли это может быть иначе.

— То, в чем мне до сих пор не удалось ее убедить — сказал он, — это в необходимости забыть о своем прошлом. Тем более, что в конце концов, ты понимаешь, никаких преступлений она не совершала и ей не в чем себя упрекать, я знаю всю ее жизнь. Но она несколько раз говорила мне слова, в ответ на которые я только пожимал плечами: «может-быть я не имела права связывать свою жизнь с твоей и дай Бог, чтобы я в этом не ошиблась». Тебе не кажется, что это просто нелепо?

— Нет, — сказал я. — Я думаю, что может-быть это не так просто и не так нелепо, как тебе кажется.

Значительно позже, когда я вспоминал о том периоде времени, началом которого можно было считать открытие кабарэ Эвелины, я думал, что стремительное движение событий, которого потом мы все стали невольными участниками, казалось особенно неожиданным после того, как всё, предшествовавшее им, развивалось с неизменной медлительностью. Она была во всем — спокойная жизнь Мервиля и Лу в Париже, после ее исчезновения, возвращения и поездки в Америку и Мексику; медленно шли, один за другим, дни в Сицилии, где был Андрей и его путешествие во Францию не нарушило ни

его душевного спокойствия, обретенного после стольких лет судорожного ожидания и несбывшихся надежд, ни безмятежного существования, которое он вел теперь. Так же медленно писалась книга Артура и, казалось, ушло в прошлое то время, когда он не знал, что будет с ним завтра. В жизни Эвелины после ее расставания с Котиком началось то постепенное ее перевоплощение, которому я был свидетелем, и не было больше ни вздорных проектов, ни увлечений, ни того, что было раньше — бурных перемен, отъездов и возвращений. Она реже стала бывать в своем кабарэ и много времени проводила дома, погруженная в размышления о том, над чем она прежде никогда не задумывалась. И только в моей жизни всё, казалось, продолжало быть как раньше, без изменения ее замедленного, как всегда ритма, — то же одиночество, та же неподвижность, о которой столько раз говорил мне Мервиль.

Эвелина приходила ко мне в разные часы, — то утром, то днем, то вечером, потом исчезала на некоторое время, но неизменно возвращалась и спрашивала:

— Ты меня не забыл?

— Ты же знаешь, что это невозможно.

— Мне недавно попала одна книга, — сказала она как-то. — Я открыла ее чтобы погадать, то-есть прочесть первую же фразу, которую ты увидишь, первые ее слова. Ты знаешь, что это было?

— Что? — спросил я.

— «Медлительная сладость ожидания», — сказала она. — Я никогда раньше не знала этого ощущения. И я подумала об одной вещи, которая тебе может-быть покажется странной. Когда я прихожу к тебе и мы с тобой разговариваем, у меня такое впечатление, что рядом с тобой появляется зеркало, в котором я вижу себя. Не зеркало, конечно, как стекло, а что-то другое и в нем мое отражение.

— И ты возникаешь в нем такой, какой ты никогда не видела себя до сих пор?

— Как хорошо, что ты перестал быть неправдоподобным, — сказала она. — Мне теперь так легко с тобой — после того,

как ты отказался от твоего постоянного грима, в который я никогда не верила.

— Всеми свое время, Эвелина, — сказал я. — «Время бросать камни и время собирать камни». Ты это помнишь? «Аз, Екклезиаст, был царем над Израилем, во Иерусалиме». Ты говорила о моем гриме. Может быть, это объясняется тем, что я перегружен цитатами и воспоминаниями о чужих чувствах — и они так часто мешали мне жить моей собственной жизнью.

— Это в конце концов не так плохо, — сказала она, — ты сберег твою душевную силу. И потом, ты все-таки жил воображаемой жизнью в твоих книгах, это то, чего нет у большинства людей.

— У меня свой взгляд на это, — сказал я. — В том, что это действительно стоило делать, я никогда не был уверен. А вот, то, что потеряно и о чем следует пожалеть, это стихи Жоржа.

— Какая страшная смерть! — сказала она. — Что теперь от всего этого осталось? От этого поэтического вдохновения, от усилий, которые должен был делать Жорж, чтобы жить, преодолевая то презрение к нему, которым он всегда был окружен. Что? Могила на кладбище Перигё?

— До которой издалека доходят лучи солнца Сицилии, — сказал я. — В этом смысле гибель Жоржа не была напрасной.

— Я бы не хотела купить свое благополучие такой ценой.

— Неужели ты говоришь об Андрее?

Она пожала плечами.

— Тут ты ошибаешься, — сказал я. — Андрей был глубоко несчастен и у него были все основания не любить Жоржа. Но он никогда не сделал бы ничего, чтобы повредить своему брату. Он даже не был его врагом. А то, что из-за смерти Жоржа его жизнь так изменилась, это в конце концов, случайность. Но конечно, при желании, в этом можно усмотреть, если хочешь, торжество жестокой справедливости.

— Мне кажется, что Андрею больше подходит роль жертвы.

— Я тоже был склонен так думать — сказал я. — Но и это не так. Сейчас он другой человек, его нельзя узнать. И вот, ответь мне на вопрос: какой Андрей подлинный? Тот, каким он был раньше или тот, каким он стал теперь?

— Я об этом не думала.

— Напрасно, потому что именно это самое главное.

— Ты понимаешь, я так привыкла к тому, что его всегда надо жалеть, что у меня сейчас, когда я об этом думаю, какое-то странное чувство, которое мне трудно объяснить.

— Мне кажется, я понимаю. У тебя такое впечатление, что у тебя отняли это сожаление. Ты сжилась с этим представлением — Андрей бедный, несчастный, неуверенный в себе. Теперь это привычное представление о нем, — ты его теряешь.

— Может-быть — сказала она рассеянно, думая, как мне показалось, о другом. И потом, без перехода, другим тоном, она сказала:

— Ты знаешь, я так рада тому, что ты изменил твое отношение ко мне.

— Я его не изменил, оно всегда было таким же, как сейчас. Это ты изменилась, Эвелина.

— А ты? — сказала она.

— Я все такой же, мне кажется.

— Нет — сказала она с твердостью и уверенностью, которая меня удивила. — Нет, милый мой. Я тебе уже сказала, что теперь ты разгормировался.

«Мне, вероятно, недолго осталось жить. Каждое утро, когда я с усилием поднимаюсь с постели, я думаю, что может-быть именно этот день будет последним в моей жизни. Доктор мне объяснял, как функционирует мое сердце и прибавил, что непосредственной опасности нет. Он не мог этого не сказать, — это был его профессиональный долг, — но вряд ли он сам был уверен, что ему удалось меня в этом убедить. Никаких иллюзий у меня нет и он вероятно это знает.

Но когда я спрашиваю себя, что заставило меня писать

эту книгу воспоминаний, я неизменно нахожу один и тот же ответ. Моя жизнь ничем не замечательна. Я ничем не отличаюсь от огромной массы людей, которые живут так, как это им диктуют внешние обстоятельства, среда, которой они окружены или из которой они вышли, воспитание, которое они получили, бытовые условия, та или иная система морали, которая им кажется правильной. И те, кто живет, нарушая законы общепринятой этики, делают это далеко не всегда потому, что они хуже других, а нередко оттого, что их жизнь сложилась иначе, чем у большинства их современников. И можно себе представить, что при некотором изменении в начале существования биография уголовного преступника могла бы стать историей жизни политического деятеля, отца семейства и уважаемого гражданина своей страны. Но я отвлекаюсь от главной темы. Я хочу вернуться к ответу на вопрос о том, что побудило меня писать эту книгу. Быть может некоторым читателям этот ответ покажется неожиданным, но для меня он ясен.

Это, в сущности, — своеобразная жажда бессмертия. Казалось бы, откуда? Почему? Но жажда бессмертия так же необъяснима, как необъяснима жизнь и необъяснима смерть. Через некоторое время я перестану существовать и не все ли мне равно, казалось бы, что произойдет через пятьдесят или сто лет после этого? Ни о ком из моих сверстников никто не будет помнить, а обо мне останется книга, которую я написал. Она будет своего рода открытой могилой, напоминанием о том, что я существовал. Вопрос — нужно ли это или нет, не имеет, я думаю, значения. Но я умру, зная, что мне в какой-то степени удалось победить смерть. Моя книга, это борьба против власти забвения, на которое я обречен. И если, через много лет после того, как меня не станет, на земле найдется хоть один человек, который прочтет эти строки, то это будет значить, что я недаром прожил свою трудную и печальную жизнь».

Так Артур кончил свою книгу воспоминаний Ланглуа. Когда он прочел мне эти строки, я сказал:

— Теперь ему действительно остается только умереть.

— Я надеюсь, ты это говоришь риторически?

— Конечно. Потому что я готов пожелать ему долгой жизни и в конце концов он заслужил нашу признательность, дав тебе этот заказ.

— Представь себе, последние главы я писал почти с увлечением.

— У тебя всегда было литературное призвание.

— Ты прекрасно знаешь, что это не так.

— Нет, нет, было, только не вполне понятое. Если бы его у тебя не было, ты не мог бы написать эту книгу.

— Не забывай, что ты мне очень помог.

— Милый мой Артур, — сказал я, — думал ли ты когда-нибудь о том, что помочь можно только человеку, у которого есть какие-то данные для выполнения той или иной задачи? Представь себе, что у тебя нет никаких литературных способностей. Ничья помощь не могла бы спасти положение. Теперь мы будем ждать твою вторую книгу, на этот раз твою собственную. Что ты хотел бы написать?

— Не знаю. Мне кажется, что мне нужен некоторый разгон. Например, для начала я бы взялся за монографию Ватто.

— Ватто тебе как то не подходит, я думаю, — сказал я, — это не Тициан и не Рубенс.

— Именно поэтому, — сказал он, — потому что это труднее. Потом я бы подумал об историческом сюжете. А после этого я бы написал роман.

— О чем?

— Я это еще не совсем ясно вижу, — сказал Артур. — Ну, представь себе простого рабочего, в руки которого попадает учебник истории. Он его прочитывает. Ему хочется знать больше, чем там написано. И вот, он ходит в библиотеку, изучает разные исторические труды и через несколько лет его знания позволяют ему защитить диссертацию в университете. Затем он все глубже и глубже, как ему кажется, проникает в суть вещей и в конце концов, проделав огромную работу, он приходит к тому убеждению, что нет ни исторических законов, ни бесспорных истин, которые могли бы быть

открыты в результате длительного изучения, что ничего нельзя предвидеть, ни в чем нельзя быть уверенным, что история ничему не учит и ничему не может научить и что он потратил годы на совершенно бесплодное занятие.

— Мне кажется, что из этого трудно сделать роман.

— Почему?

— Роман, это движение чувств, говоря в самых общих выражениях. А здесь его нет. Есть только одна мысль, не очень новая, как ты знаешь и лишенная эмоциональной окраски, без которой роман может показаться неубедительным.

— Ты же мне недавно сказал, что ты не знаешь, каким должно быть литературное произведение.

— Совершенно верно. Но если ты помнишь, я говорил еще о том, что я знаю — так мне кажется, — каким оно не должно быть.

— До романа, во всяком случае, еще далеко, — сказал Артур. — Но когда я за него возьмусь, мы выберем с тобой сюжет, хорошо?

— Сюжет найти сравнительно нетрудно, — сказал я. — Трудно из этого сделать настоящую книгу.

— И ты думаешь, что это может мне удасться?

— Я в этом почти уверен, — сказал я. — И мы тебе поможем.

— Я знаю, — сказал Артур. — Что я делал бы без вас?

Никто из нас, ни Эвелина, ни Артур, ни я, не могли забыть того декабрьского вечера, когда, после мучительного и долгого ожидания в клинике, хирург в белом халате вышел к нам и сказал, что теперь Мервиль вне опасности. Этому предшествовала сложная операция и трагическая неизвестность ее исхода. Мы знали, что жизнь или смерть Мервиля зависели от того, как будет действовать этот высокий, коротко стриженный человек в белом, с особенными пальцами, на которые я невольно обратил внимание, — необыкновенно чистыми, длинными и толстыми, — и выражением непоколебимого спокойствия на лице с крупными и правильными чертами. После

того, как он вошел в операционную, я смотрел на матовое стекло ее двери с чувством непрекращающегося смертельного томления и только через несколько минут ощутил боль в кисти оттого, что Эвелина сжимала ее своей рукой, на которой были кольца, вдавившиеся в мою кожу. Артур сидел не двигаясь и лицо его было совершенно белым. Лу, с расширенными горячими глазами и покрасневшим лицом, кусая себе губы, все время ходила взад и вперед своей быстрой и гибкой походкой. Ни к кому не обращаясь, она несколько раз повторила по-английски — он не может умереть, он не может умереть — и на третий раз непривычно хриплый голос Эвелины, ответил:

— Конечно, нет.

И когда доктор, выйдя из операционной, сказал, что Мервиль спасен, Лу разрыдалась и я испытал чувство бурного счастья. Артур поднялся со своего места и сказал:

— Я был в этом уверен с самого начала, у меня была интуиция.

— По твоему виду этого нельзя было сказать — заметил я.

— Нет, понимаешь, внутренно... Есть же все-таки на земле справедливость.

У Эвелины блестели глаза и улыбка не сходила с ее лица.

— Самое главное, самое главное — говорила она, — остальное — это второстепенно.

И когда мы направились к выходу, Лу, которая первый раз видела Эвелину и Артура, сказала им:

— Вы не знаете, как я вам благодарна.

Она осталась в клинике. Мы вышли на улицу, шел холодный дождь. Я взял такси, мы отвезли домой Артура и когда он попрощался с нами и мы остались вдвоем с Эвелиной, она мне сказала:

— Я буду ночевать у тебя, хорошо? Это будет проще.

— Конечно, — ответил я.

— Как все это произошло? Что случилось?

— Я не мог расспрашивать Лу, ты понимаешь, — сказал

я. — Поэтому я почти ничего об этом не знаю. Все это будет известно позже.

Я проснулся утром, услышав голос Эвелины, говорившей по телефону. Я вышел в халате в столовую, — Эвелина уже была одета и на столе стоял кофе.

— Я звонила в клинику, — сказала она. — Он провел спокойную ночь и еще спит. Сердце у него работает нормально и никакой опасности, как мне сказали, больше нет.

Теперь, после того, как все это было кончено, после того, как я проспал глубоким сном несколько часов, все мне казалось менее ясным и отчетливым, чем накануне, во время ожидания исхода операции. У меня больше не было ощущения тревоги, которое я испытывал тогда, и не было беспокойства, но я как-то не мог отдать себе отчета во всем и мне трудно было себе представить, что несколько часов тому назад каждую минуту могло случиться, что Мервиля не стало бы. И только после двух чашек очень крепкого кофе я начал наконец приходить в себя.

— Иди бриться и принимать ванну, на тебя страшно смотреть, — сказала Эвелина. — Я надеюсь, что часа в три нам разрешат увидеть Мервиля.

Но в тот день нас к нему не пустили. Нас принял доктор, который его оперировал, он сказал, что Мервиль слишком слаб и что о визитах к нему раньше, чем через два-три дня не может быть речи.

— Пуля прошла несколько ниже сердца, — сказал он, — рана была тяжелая и он потерял много крови. Все осложнилось тем, что у него раздроблено ребро и надо было извлекать все обломки кости. То, что ему нужно теперь, это неподвижное состояние и длительный отдых. Но выйдет он отсюда совершенно здоровым человеком.

Лу все время оставалась в клинике, где ей дали комнату, она не отходила от Мервиля. Я увидел его на четвертый день после операции. Его голова высоко лежала на подушке, у него было осунувшееся лицо, но глаза его были ясны и спокойны. Когда я подошел к его кровати, он улыбнулся; слабым движе-

нием руки, сжатой в кулак, — я знал, что это движение причиняло ему боль, — дотронулся до моего бока и сказал:

— Ты видишь, старик, мы все-таки живы.

— Когда ты будешь себя чувствовать лучше, мы с тобой поговорим, — сказал я. — Теперь тебе надо отдыхать и не двигаться.

— Я только это и делаю, — сказал он. — И должен тебе признаться, что в этом даже есть известная приятность. И ты не можешь себе представить, как я рад, что Лу больше не угрожает опасность.

Мы были в клинике вчетвером — Эвелина, Артур, Андрей, прилетевший из Сицилии немедленно после того, как он получил телеграмму от Артура, и я. Мы вышли все вместе и пошли в ресторан обедать.

— Как все это произошло? — спросил Андрей. Ему ответил Артур.

— Никто из нас еще всего не знает, — сказал он. — Никто из нас не говорил об этом ни с Мервилем, ни с этой женщиной — Артур упорно называл Лу «этой женщиной». — Я читал только газетные отчеты, что в них верно, что нет, трудно судить.

— Ну, хорошо, что было в газетах? — спросил Андрей.

Артур рассказал ему, что в течение нескольких дней за домом Мервиля следил высокий человек с мрачным лицом. Когда Мервиль как-то вышел на улицу — было около пяти часов дня, — этот человек позвонил у входной двери. Ему отворила горничная. Не спрашивая ее ни о чем, он вошел в гостиную. Лу сидела в кресле. Она не шевельнулась, увидя его и неподвижным взглядом смотрела на его руку, в которой он держал револьвер.

— Вот мы и встретились, Лу, — сказал он. — Теперь одевайся и идем.

Он говорил по-английски и горничная, стоявшая тут же, не понимала его слов.

— Ты знаешь, что я никуда с тобой не пойду, — сказала Лу и горничная потом говорила, что она не узнала ее голоса.

— Это был голос, которого я никогда до этого не слышала,
— сказала она.

И в эту минуту в комнату из боковой двери вошел Мервиль.

Он увидел человека с револьвером, Лу, сидящую в кресле и двинулся к тому месту, где стоял этот человек.

— Останови его, — сказал этот человек Лу, — скажи ему, что бы он не двигался.

— Меня никто не может остановить, — сказал Мервиль и сделал шаг вперед. В ту же секунду раздался выстрел и Мервиль тяжело рухнул на пол. Но сквозь смертельное полубытьё, он услышал еще два выстрела, один за другим и потерял сознание.

Стреляла Лу. Как это выяснилось позже, между подушками кресла был втиснут ее револьвер и не сходя с места, она выпустила две пули в этого человека. Обе пули попали ему в живот и каждая из них была смертельной. Лу бросилась к Мервилю, сказав горничной, чтобы она вызвала доктора. Она подняла без видимого усилия тяжелое тело Мервиля и положила его на диван, зажимая рукой его рану. В это время до нее донесся хриплый шопот человека, в которого она стреляла и который лежал в нескольких шагах от нее, на полу, в луже крови.

— Лу, помоги мне.

Она даже не обернулась. Когда приехал доктор, он нашел тяжело раненого Мервиля и умиравшего человека с мрачным лицом.

— Вот приблизительно что пишут газеты, — сказал Артур. — Человек, которого эта женщина убила, оказался американским гангстером, который повидимому знал ее в Америке.

Читая газетные отчеты, о которых говорил Артур, я составил себе определенное представление о том, что произошло. Все было делом нескольких секунд. Если бы Мервиль остановился, он вероятно не был бы ранен. Но ни Лу, ни этот американец с итальянской фамилией, — Канелли, — не допускали мысли о том, что безоружного Мервиля не остановит направленное на него дуло револьвера. Если бы Мервиль не

сделал шаг вперед, Канелли не испугался бы — потому что только человек, потерявший голову мог стрелять не в ногу или в плечо, а в грудь Мервиля. Зато оба выстрела Лу были сделаны с той же беспощадной точностью и быстротой, с какой она несколько лет тому назад стреляла в цирке. И я вспомнил слова моего американского собеседника на Ривьере:

— Лу очень опасная женщина. Мервиль — ваш друг, скажите ему об этом.

И то, что Лу сказала Мервилю:

— Может-быть, я не имела права связать мою жизнь с твоей и дай Бог, чтобы я в этом не ошиблась.

Это было сказано недаром. Лу знала то, чего не знали ни Мервиль, ни я, это приближение опасности, которую она была готова встретить — и устранить навсегда.

Мы говорили об этом в ресторане и Андрей сказал:

— Ее даже нельзя назвать опасной женщиной. Разве можно сказать, что постоянная угроза смерти — это опасность? Это смерть, а не опасность.

— Я всегда это чувствовал, — сказал Артур — с самого начала.

— Вы оба ничего не понимаете, — сказала Эвелина. — Она опасна для тех, кто угрожает ее жизни или жизни человека, которого она любит. Но ради этого человека она, я думаю, пойдет на все и я нахожу, что это замечательно.

— Ты говоришь так, как будто ты хорошо ее знаешь, — сказал Андрей. — Ты ее видела два раза в жизни. Как ты можешь о ней судить и почему ты так думаешь?

— Потому что я женщина, Андрей, — сказала Эвелина — и потому что я знаю, что такое настоящее чувство.

(Окончание следует)

Гайто Газданов

БЕЛЫЕ ГОРЫ

Живут легендой о Тироле
Луга, расщелены и пни,
Как бритвой лыжи распороли
Сосняк с вершины до ступни.
Деревни лепятся как гнезда
В тени лесистого хребта,
Закладывает уши воздух,
И птицей правит высота.
Здесь в лесниках — таежный леший,
Он смотрит из глубин веков
На горы в каменистых плешах,
На солнце в клочьях облаков.
В природе — море превращений,
Она вмещает целый мир:
Березовую дрожь расщелин
И хвои золотистый жир.
На пятиборьи перевалов
В подарок для своих друзей
Сама природа основала
Геологический музей.
В пустое логово лавины
Канатный поезд проведен,
В огромных этих котловинах
Бурлит альпийский стадион.
В алмазных тучах снежной пыли
Меж двух темнозеленых стен
Со скоростью автомобиля
Взмывает лыжный рекордсмен.
Он видит щетку черных сосен,
Шоссе и домики внизу,
Он с неба молнию приносит,
Приносит лыжную грозу.

Олег Ильинский

ЧИТАЯ «АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Это никак не «литературоведческая работа». Это просто при чтении книги мои мысли, впечатления, сомнения, удивления, недоумения (даже порой возмущение) и — восхищение! Но прежде всего об авторе: А. И. Солженицын для меня не только выдающийся современный писатель. Для меня он — исключительное *явление*. Без Солженицына мы, русские, были бы сейчас бедны не только литературно (почти нищи!), но и духовно.

Трудно себе представить, *как* в Совсоюзе мог появиться такой духовно-нетронутый тоталитарщиной человек и писатель. Но он появился. И его появление в жизни России (вневременной, а не советской) — необыкновенная духовная радость.

Солженицын — единственный современный писатель, кто вернул нашу литературу к ее необыкновенному правдолюбию и к вечным русским этическим темам. И в этом он наследник великой литературы 19 века. Его часто сравнивают с Толстым, с Достоевским. Я не сторонник этих сравнений. Но Солженицын, конечно, идет по их пути, пренебрегая низменной литературной современностью. Он не только вне всей советской халтуры, стряпни «инженеров человеческих душ», он вне и деляческой западной литературы с ее трюкачеством и сексплоатацией.

Новую книгу А. И. Солженицына я ждал с большим интересом. Тем более, что слышал, что тема ее взята писателем не из советской а из дореволюционной русской жизни. Не скрою, я сомневался, сможет ли автор незабываемого «В круге первом» поднять на ту же художественную высоту тему из неведомой ему былой России. Ведь Лев Толстой был трижды прав, говоря, что писатель может писать только о том, что *он знает*.

И вот новая книга Солженицына — нежданно-негаданно вышла в зарубежном издательстве ИМКА-пресс, да еще с специально написанным послесловием автора. Из этого послесловия мы узнаём кое-что поучительное. «Эта книга сейчас не может быть напечатана на нашей родине, иначе, как в Самиздате — по цензурным возражениям, не доступным нормальному человеческому рассудку, — пишет в послесловии Солженицын, — да даже из-за того одного, что потребовалось бы писать Бога непременно с маленькой буквы». А это, как говорит Солженицын, для него невозможно не только потому, что «для понятия обозначающего высшую творческую силу Вселенной, можно бы отпустить одну большую букву», но и потому, что «в устах и представлениях людей 1914 года «бог» с маленькой резало бы исторической фальшью».

Желание не дать в «Августе Четырнадцатого» никакой «фальши» (т.е. неточности и неверности) я понимаю. И потому в отзыве об этой эпопее, я, как свидетель истории, позволю себе указать на те места, где эти неточности и неверности в описании быта, характеров, психологии и языка дореволюционных русских людей, проникли в книгу. И тут несмотря на большую благодарность Солженицыну за то, что он в русской литературе ЕСТЬ, я буду свободен от всякого «идолопоклонства», к чему мы, русские, часто склонны «от любви» («когда любить, так без рассудка»).

Солженицын взял на себя чудовищно трудную задачу: воскресить (в «войне» и «мире») былую Россию, в которой он никогда не жил, воздухом которой он не дышал. И не только воскресить, но указать на причины ее катастрофы. «Русские писатели, старшие меня по возрасту, — пишет в послесловии Солженицын, — обошли главную тему нашей новейшей истории или скользнули по ней поверхностно. Тем меньше надежды, что ей займутся младшие меня, да и будет им еще безнадежней воскресить те годы, и моему-то поколению почти НЕВПОДЫМ! (хорошее слово! РГ). Так надо попробовать мне!». Солженицыну в «Августе» многое удалось. Но очень многое, по-моему, и не удалось.

И читатель и писатель всегда в праве отозваться на любую книгу. У меня же, как мне кажется, есть еще особое право отозваться об «Августе». Ведь я, собственно, и есть один из младших героев этой книги Солженицына — его Исаакий

(Саня) Ложеницын, в котором автор, вероятно, дает воображаемый портрет, скончавшегося в 1918 году, его отца, офицера-артиллериста. Как и я, Саня попал в армию с третьего курса Московского университета. Только Саня был филолог, а я — юрист. Он попал в артиллерию, я — в пехоту. Как и я, Саня в юности был толстовцем. Только я хотел поехать к Толстому, но так и не решился, не осмелился (о чем посейчас жалею), а Саня осмелился и у Льва Николаевича побывал (правда, не очень удачно). В первом «узле» Саня еще не попал в действующую армию. Как и я, офицером, он наверное попадет во втором «узле».

«УЗЛЫ»

Кстати, об «узлах». «Узел» меня сначала покорибил нарочитостью. Почему не том и не часть? Правда, я люблю предельную простоту. Солженицын же насчет простоты не так уж чтоб очень... вот и родился «узел». Взяв темой — величие и падение Российской Империи — Солженицын видит в ее падении ряд «узлов». Первый — поражение под Танненбергом. Второй — по моей догадке — вероятно будет поражение в Галиции, где вместо генералов Самсонова, Мартоса, Жилинского, Крымова, Благовещенского, Артамонова мы наверное увидим генералов Алексева, Брусилова, Корнилова, Каледина, Лечицкого, Деникина и др. В этом же «узле» вместо вел. кн. Николая Николаевича мы должны увидеть Верховным — государя, может быть увидим и императрицу Александру Федоровну, может-быть Распутина (думаю, его мог бы хорошо подать Солженицын). Третий «узел» — по моей догадке — это революция, «Керенский на белом коне» (Пастернак), новое военное поражение на юго-западном фронте. Октябрь? Большевики? Ленин? О дальнейших «узлах» трудно догадываться, но по одному месту эпопеи кажется, что Солженицын задумал еще много «узлов», вплоть до сталинщины и второй мировой войны.

«— А мне в Маньчжурии старый китаец гадал... Нагадал, что на той войне меня не убьют и на сколько войн ни пошел — не убьют. А умру все равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного — разве не счастливое предсказание?»

— Великолепное! И подождите, в каком же это будет году?

— Да даже и не выговоришь: в тысяча девятьсот сорок пятом».

Это разговор полковника ген. штаба Воротынцева с подручиком Харитоновым. А Воротынцев — единственное, кажется, из видных военных вымышленное лицо (явный рупор автора). Кстати, он прекрасно выписан. Живой. О Воротынцеве за рубежом и русские и иностранцы писали, что он чем-то напоминает им князя Андрея Болконского. Я этого никак не думаю. Мне он напоминает совсем другого князя из русской литературы — князя Серебряного. Как и в Серебряном в нем есть что-то от героев Вальтера Скотта, эдакий руссифицированный Квентин Дорвард. А его Санчо Панчо — унтер-офицер Благодарёв — связывается у меня с стремянным князя Курбского, — с Васькой Шибановым «Скачи, князь, до вражьего стана / Авось, я пешой не отстану!» /.

О ЯЗЫКЕ

У всякого писателя есть право на словотворчество, на слововыдумку. Тут спора нет. Но слововыдумка слововыдумке — рознь. Когда Достоевский устами своего персонажа говорит о Грушеньке — «инфернальница» — это метко и прекрасно. Когда где-то у Льва Толстого баба заплакала «ручьиство» — это чудесно. Когда Глеб Успенский изобрел «несусветное перекобыльство» — это метко и хорошо. Когда Лесков играет словами — «Почему митрополит, а не митростреляет? Потому, что вы дурак, а не дурыба» — это настоящая остроумная языковая игра. Когда Пильняк также играет — «кому — ляторы, а кому — таторы» — это прекрасно. Когда Замятин выдумывает ироническое «детоводство» — это очень хорошо. Даже когда Игорь Северянин выбросил свою «обнаглевшую бездарь», это было метко и «бездарь» удержалась в языке. Но когда Председатель Земного Шара, Велемир Первый, Владыка Мира, Хлебников творит свои «самовитые», алхимические неологизмы («шагай, могатырь! можарь, можар!») они, увы, остаются мертворожденны. Разве что остались знаменитые «смехачи». Украшает, увеселяет, обогащает язык только живая, живучая меткость и врезающаяся образная точность, ког-

да писатель, как стрелок в тире, попадает в «самое яблочко». А сколько таких «яблочек» у Гоголя!

Не скрою, что язык «Августа Четырнадцатого» заставил меня скорбеть. Особенно — в первой половине книги. Когда вышел «Один день Ивана Денисовича», я писал об этой вещи в «Новом Журнале» (кн. 71), относя ее язык и стиль к прозе Ремизова. Однако после прочтения «Матренина двора», «В круге первом», «Ракового корпуса», я в правильности своего утверждения усомнился. Ремизовских следов почти не было. Проза же «Августа» (но не вся, к счастью!) часто очень ремизовская, и по языку и по ломанному синтаксису. Для меня это не радость. То, что было хорошо в сказовой повести об Иване Денисовиче вряд ли с удачей применимо в монументальной и, конечно, реалистической эпопее.

Поэтому признаюсь, первую половину книги я читал не только уж без захватывающего интереса, но просто преодолевая и путаясь в спотыкаче неудачных слововыдумок, неуместных диалектизмов, неприятных вульгаризмов. Прочитав первые 75 страниц (о «мире») я даже недоуменно остановился, подумав: так неужели же это литературный провал? Но тут я вспомнил разговор с Ю. Тыняновым в Берлине в 20-х годах. Говорили мы о какой-то книге и я сказал, что первые страницы 50 крайне тяжелы и как бы отрываются от всей талантливой книги. «Ну, конечно, — ответил Тынянов, — вы знаете, у меня даже есть некое технологическое правило: первые страницы 50 писатель всегда должен просто выбрасывать. Вещь пойдет сама, когда найдет свой ритм и язык». Тынянов был, разумеется, прав и говорил он об известной всякому художнику-писателю *власти материала*. О первых 75 страницах «Августа» я подумал: жаль, что Солженицын их просто не отбросил. Тут всё схематично, мертво, чувствуешь, что писатель пишет о том, *чего он не знает*, и «придумывает», и получается какая-то недопроявленная фотография.

Но сначала о языке. Самая первая фраза эпопеи меня поразила: «Они выехали из станицы прозрачным *зорным утром*, когда при первом солнце и т.д.». Я невольно остановился: «зорным»? подумал я. Что ж это такое? Южный диалектизм? Слововыдумка? Нет, это из Даля — от заря, зори. Но дано это неверно. Солженицын явно хотел сказать, что выехали «на утренней заре» или «ранним утром», но устыдясь обыкно-

венности этих слов, дал «зорным». И крайне неудачно, ибо заря с утром во времени не совпадают, а одно переходит в другое. Занимается заря, встает солнце — и зари уже нет, началось утро. Так что «зорное» утро — такая же бессмыслица, как «утренний вечер» или «вечернее утро». Я даже вспомнил знаменитое пушкинское: «Грядет с заката царь природы / И изумленные народы / Не знают как им день начать / Ложиться спать или вставать».

И чем дальше я читал «Август» тем чаще приходилось мне, читателю, задумываться и над отдельными слововыдумками и над целыми фразами с изломанным синтаксисом. «Подъезжали шарабаны, телеги, *взнимая воздушный наслей пыли*», «и с этих тупых цилиндрических тумбенных туш им *выглядело* длинное титулование монарха совсем не смешным», «мясо накладывали во все тарелки, *мясо было ежедневной реальностью*», «через темную бездну, *зинувшую* перед Россией», «Саня *покинул попытки* спать», «один раз *упнулся палкой*», «губы Толстого *безусильно сдвинулись*», «*безколебно ответил*», «тут-то и приятно полежать, *едва проснясь*», «простецкая голова свекрови *над разнесенными плечами и грудью*, выражала, *в меру ее постоянной ровноты* — изумление», «упрямо вела (т.е. говорила, РГ) Ирина, *с челом прихмуренным и напряжена была ее изгибистая высокая шея с голубыми прожилками*», «голова его, *в обхват парусинового картуза*», «вышагнул на дорожку» (почему же не шагнул, проще бы!), «и сразу *пережалилось Ксенью*, что она не выпалась», «стала к стволу, не испытывая желания расслабиться» (что это такое?), «с *проходящей непорочной досадой досуга* отозвалась Ксения», «кзади на 100 верст», «*простегавши лошадей*» (тут лошади превращаются, как будто, в одеяла), «*разгарчивый восход*», «с *неотвычной простотой*», «охвачен был *свербежом*», «*бочкотелая жена*», «силы *бережа*», «*заступа* была и у Жилинского» (т.е. «рука»), «разголосица», «*выступала астма*» (т.е. начинался припадок астмы), «на *повом* и кормленном жеребце» (т.е. на напоенном), «*сбочь*», «*здание содержало в себе некий зал*», «*оболока*» (вместо чехол, наволока), «бы со сковородки подскочил полковник», «*бежавшая страна*» (т.е. покинутая жителями), «*малословный*», «*неотклонный*», «*жгутоусый*», «по дороге *спруживалось* замешательство», «*неоспорчиво улыбался*», «*поглубев-*

ший голос», «блуждают полки» (т.е. плутают), «они имели порыв откатываться дальше», «ломаногий», «невдоспех», «скамья без прислона» (т.е. без спинки), «лоб затмился», «усы выторгнули», «предсмакуя», «пошло скорохватом», «огорожа» (вместо ограда, забор)... Прерываю примеры, их много...

И вспомнилось мне, как Лев Толстой однажды дал прочесть своему брату Сергею какую-то свою статью и, очень ценя мнение брата, спросил, что он о ней думает. Сергей Львович сказал, что когда он читал написанное Толстым, ему казалось, что он едет в тряской телеге, и только, когда прочел большую цитату из Герцена, Сергею Львовичу показалось, что он наконец-то, слава Богу, пересел из тряской телеги в покойную коляску. Лев Николаевич смеялся, оценка показалась ему меткой. Но ведь словесная «телега» Толстого, это плавно несущийся автомобиль по сравнению со многим в «Августе Четырнадцатого». Тут у читателя идет такой «перетрях» (здесь я заражаюсь стилем Солженицына!) кишек, что он Христом Богом молит о «рессорной коляске».

Когда мы берем книгу Андрея Белого, мы знаем на что мы обречены. И не заходим в тупик, читая в «Котике Летаеве»: «в нас миры морей: «Матерей» и бушуют они красноярими сворами бредов». Мы понимаем: это Белый экспериментирует, пища ритмическую прозу. Ему понадобились повторы звука «р», он их и дает. Но ведь у Солженицына — по его же послесловию — в эпосе «Август Четырнадцатого» не то задание. У него задание совсем инопланное, потому так и мучительны и раздражительны читателю эти слововыдумки и словозагадки с выкрутасами.

Положа руку на сердце, скажу, что некоторых слов у Солженицына я так и не понял. Например: «развиживался», «невероимный». Но тут я опять утешился воспоминанием. В тех же 20-х годах, в том же Берлине я встречался с Л. Н. Сейфуллиной, писательницей талантливой, но почти забытой (отчасти, вероятно, по политическим причинам, ее муж, критик Валериан Правдухин погиб в тюрьме НКВД, расстрелян за «связь с оппозицией»). Но тогда произведения Сейфуллиной «гремели», особенно ее известная повесть «Виринея».

Так вот, разговаривали мы именно о «Виринее», и я сказал, что у Сейфуллиной прекрасный народный язык. Сейфул-

лина засмеялась. «А знаете, что с этим «народным языком» произошло? Я вам расскажу». И рассказала, что именно в «Виринее» было много совершенно чудовищных типографских опечаток. Но тогда «ведущий» советский критик (тоже расстрелянный, бедняга!) Александр Воронский, опубликовав отзыв о Сейфуллиной, и отметив ее необыкновенно красочный народный язык, как пример, привел именно вот эти все типографские опечатки. «Как я потом издевалась над ним!» смеялась Сейфуллина.

И вспомнил я еще другое, похожее. В том же Берлине, в те же годы сидели мы как-то в ресторане, много ели, еще больше пили, все были на взводе: Федин (он тогда был не генсек, а писатель), Никитин, Груздев и я. И вот Илья Груздев со смехом и издёвкой над Никитиным стал рассказывать, как «Колька» в своих рассказах достигает языка необычайной сочности. Пишет он рассказ, как рассказ. Потом берет словарь Даля (все 4 тома!) и начинает заменять более-менее обыденные слова самыми что ни на есть далевскими, ядрено-закovyристыми. И получается, — смеялся Груздев, — «языковой шедевр»! Никитин же просто шпиговал свои рассказы Далем, как зайца салом.

Конечно, Солженицын не «шпиговальщик». И это не параллель. Хотя Солженицын сам высказывался, что Даль, это — свежий языковой колодец, от которого, кстати сказать, Пастернак в ужасе шарахался, как от мертвечины. Но я хочу быть правильно понят, когда я говорю о языке Солженицына. Я вовсе не сторонник какого-то академизма и пуризма во что бы то ни стало. Упаси Бог! Мне скажут, что же, по вашему, Солженицын в 1971 году должен писать пушкинской прозой почти полторастолетней давности? Ну, разумеется, нет. Хоть проза «Капитанской дочки» и сейчас превосходна и если б кто-нибудь так начал писать, он имел бы несомненный успех. Но всему час и время всякой вещи под солнцем. От выросшего в Совсоюзе А. И. Солженицына я не требую не только уж пушкинской, но даже бунинской прозы. Но если он в своем послесловии пишет, что хочет избежать всякой фальши, то ведь мало напечатать «Бог» с прописной буквы. Есть и другие опасные «фальши». В частности, эту эпопею былой России нельзя писать языком коробящим читателя, эту Россию знавшего, на этом языке думающего и говорящего.

Я понимаю стимул Солженицына при употреблении им всяческих простонародно «остраненных» речений. Ему думается, что «переглядясь» острее чем «переглянувшись», «насмешисто» острее чем «насмешливо», «широносый» лучше чем «широконосый», «шароголовый» лучше чем «круглоголовый». Но думаю — это артистическое заблуждение. Конечно, можно всю эпопею написать языком унтер-офицера Благодарёва. Художественно это вполне правомерно, законный литературный прием. Но дело-то все в том, что при таком «глазе» и «языке» все в эпопее ведь снизится и опрIMITИвится. И мыслям Варсонофьева, Ободовского, Воротынцева, душевным движениям Самсонова в ней не будет места уже. Параллельно снижению языка ведь всегда идет и неминуемое снижение всего УРОВНЯ произведения — вот ведь в чем дело! И этого не избежишь. Так писал, например, Артём Весёлый — талантливо, очень «здорово» в смысле народного словесного выкрутаса, но — бескрыло. Его проза так и осталась приземленной. А — «всё смешалось в доме Облонских», «отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе», «лакей при московской гостинице «Славянский Базар», Николай Чигильдеев, заболел» — ЛЕТЯТ!

Именно в этой книге в смысле языка Солженицын — как-то не свободен, по сравнению, например, с изумительным «В круге первом» — где он свободен вполне. Здесь он не пишет тем литературным русским высоким разговорным языком, каким написаны «Анна Каренина», «Бесы», «Архиерей», «Суходол». Здесь язык его ненужно напряжен. И это неминуемо ведет к отсутствию неременного условия высокой прозы — экономии художественных средств, к многословию, порой к поучительству, к некоей словесной толчее, к грубости, к приблизительности. А приблизительность дает иногда и несуразные двусмыслицы. Их много. Приведу некоторые: «отошли за ночь так далеко, что немцы *не притесняли*» (т.е. не теснили, хотел сказать автор); «при *пожаренном* свете» (не сразу догадаешься, что это — при свете пожара); «четыре его роты... *оправлялись* тут со вчерашнего дня» (автор хочет сказать «отдыхали», оправляться же на военном языке имеет иной смысл и выходит будто четыре роты были больны дизентерией); о вел. кн. Николае Николаевиче — «худое породистое удлиненное лицо Верховного обострилось как *в охоте*» (ве-

роятно должно быть — «на охоте», ибо «в охоте» имеет смысл совсем неподходящий к тексту).

О языке эпопеи Солженицына я вовсе не говорю, что он весь неприятен и неверен. Нет. Много есть, на мой взгляд, словесно меткого и художественного: солдаты на походе «сгорели с ног», о дальнем артиллерийском бое — «когда кажется, что огромное жестяное дно рокочет от вгибання-выгибання», «на скрестьи дорог», «оледел от страха», «ощитить» (т.е. защитить), «лубенеть», «дремучебородый» и мн. др. Но порой (и этих «пор» довольно много!) читатель чувствует досаднейшие срывы, советизмы, диалектизмы, вульгарности. В «Раковом корпусе», «В круге первом», в «Иване Денисовиче», в «Матренином дворе» все эти языковые штуки были вполне на месте. Там они не только никого не могли «коробить», там они *живут*, там они нужны, *необходимы*. Но другое дело здесь, в «Августе». Возьмем, например, прекрасное описание душевного состояния одного из героев «Августа» — полк. Воротынцева, посланного из ставки Верховного на фронт, как бы для некоей «инспекции»:

«Нисколько не тяготила Воротынцева бессонная ночь и еще завтрашний день, и потом, может быть сквозная безумная неделя — ибо такой обещала быть Прусская битва, и может быть *со смертью в притирку...*» Начало фразы довольно даже близко к Пушкину и вдруг полу-блатное, ультра-советское «со смертью в притирку» — как железом по стеклу. И таких мест много. Стало-быть автор не чувствует, что эти советизмы и «полублат», выраженьица, акценты и интонации, *вполне необходимые в его прежних вещах*, — в эпопее 1914 года совершенно не у места. Это как раз и есть историческая «фальшь». Как было бы хорошо, если б все эти «притирки» остались на «шарашке» иль в кацете (где им и быть надлежит), а тут мы бы читали (не пушкинскую, не бунинскую), а вот такую *солженицынскую* прозу:

«В этом бодром движении по темной, тихой, теплой стране на Воротынцева быстро нисходила та прекрасная легкость, известная каждому военному человеку (нет, солдату реже, а именно офицеру, кто и живет для одной войны), когда непрочные нити, припутавшие тебя к постоянному месту, обрезаны начисто, тело воинственно, руки свободны, приятно чувствуешь тягу оружия на себе, голова занята прямой задачей.

Воротынцев знал в себе, любил в себе это состояние и лишь начиная с него мог почувствовать, что воюет. Для таких-то моментов он и жил, и был создан.»

Вот какой прозы, вот какого языка мы хотим от Александра Исаевича Солженицына! И такой его чудесной прозы в «Августе» сколько угодно. Тут в ней нет никаких «обрыднувших», «молчела», «перетрях», «ссоывались в погибель», «раздвижка губ», «зубы пробелевали», «заполосные события», «зачуханные отползают», «озрился полковник», «при зага-ре войны», «немцы сочатся», «обоесторонние кусты», «пошли бодрой хбдой», «свежеиспеченец» и множества других пло-хих слововыдумок, диалектизмов, словофокусов, советизмов, которые мешают страницам, берущим читателя сразу же в полон и говорящим, что перед ним — большой своеобразный мастер прозы и глубоко чувствующий художник:

«Однако веселые, крепкие эти солдаты, признанные негодными к строевой; и лихой фельдфебель; и кони крепкие; и парусина, подвернутая от дождя; и хорошо подкованный жеребец под ним, скалящий зубы, когда отставала кобылка унтера — всё это веселей и спокойней настраивало Воротын-цева, чем он из штаба вышел; сильна, неисчерпаема была Россия, даже и при глупых головах. И силу эту чувствуя, он сам усилился».

Как это хорошо! И характерно, что во всех сильных, захватывающих местах книги с языка Солженицына, как ник-чемная шелуха, спадают все эти ложно-далевские выкрутасы и советизмы, и Нобелевский лауреат дает сильную, мужествен-ную прозу от чтенья которой не оторваться.

НЕВЕРНОСТИ И НЕТОЧНОСТИ

Я думаю, не будет неуместным, если я — на правах ро-весника Сани Ложеницына — укажу в «Августе Четырнадца-того» на некие фактические неточности и неверности. Их не так уж много, но все-же достаточно, и лучше, если б их не было.

Вот, например, в самом начале эпопеи, когда Саня, как бы оправдываясь перед Варей в том, что он идет на войну добровольцем, смущенно объясняет ей это так: «Россию... жалко...» (сказал он). Для начала войны, для 1914 года эти

слова совсем неправдоподобны. Ведь перед той войной Россия — в сознании всех ее подданных (кто бы они не были) — стояла, как великая и неколебимая империя. Да, она и была в 1914 году на большом подъеме: экономическом, политическом, культурном, духовном. И «жалеть» ее тогда, в 1914 году, никому бы не могло прийти даже в голову. Конечно, где-то в ее глубинах было нездоровье. Оно было на одном фланге — двор, окружение трона, на другом — подпольщина, революционная бесовщина. Но эти «язвы» тогда, в 1914 году, рядовым россиянам никак не были видны. И «жалеть» Россию тогда никто из русских не мог. Не было причин.

Говоря о ростовской женской гимназии, Солженицын тоже допускает быющую в глаза неверность: «Дорожа либеральным духом своей гимназии, она (т.е. начальница, РГ) никогда не позволяла себе и классным наставницам прибегать к осведомлению через тайные допросы и доносы учениц». Это, конечно, явный «советизм», взятый из опыта советских десятилеток. В те времена в гимназиях никаких этих «осведомлений через тайные допросы и доносы» не было, да и быть не могло. Просто потому, что предмета-то для доносов ведь не было. О чем же могли тогда «доносить»? Не о чем.

Возражения вызывает и изображенный Солженицыным дореволюционный «капиталист», вышедший из батраков, помещик Захар Ферапонтович Томчак. Других богатеев и «капиталистов» в «Августе» нет. Томчак — один. Поэтому и выходит так, что именно он как бы символизирует собой «российских капиталистов» до революции. А если это так, то это не только неверно, но карикатурно.

Дикий Томчак, говорящий на какой-то уродливой смеси украинского с русским, неотесанный, серый «кулак», ставший несметным богатеем, это — вполне советский штамп. Он мог бы украсить любую соцреалистическую повесть Шолохова, Софронова, Кочетова, всех этих правнуков Булгарина.

Конечно, богатеи вроде Томчака были. Их портреты умел хорошо писать Горький, Чехов, раньше них — Островский. У Солженицына же Захар Ферапонтович, это какая-то шаржированная схема в советском вкусе. Но былая, богатая Россия заслуживает отнюдь не карикатуры, а — интереснейшей картинной галереи. Возьмем хотя бы только Москву. Ее купечество. Ведь в 1914 году эту «капиталистическую» и

вполне просвещенную Россию представляли — Щукины, Бахрушины, Солдатенковы, Рябушинские, Рукавишниковы, Прохоровы, Ушковы, Морозовы, Мамонтовы, Третьяковы, Бурьшины, Поляковы, Носовы, Стахеевы, Алексеевы и множество других известных купеческих родов, кому Россия обязана и картинными галереями, и музеями, и народными университетами, и театрами, и больницами, и передовым устройством фабрик и заводов, и журналами, и издательствами, и поддержкой музыкантов, писателей, художников, артистов, певцов. Уж если Солженицыну в исторической эпопее 1914 года надо было дать хотя бы одного «российского капиталиста», то не в виде же одичалого, безграмотного Захара Ферапонтовича. Он в символы «российского капитализма» никак не годится. Это — плохой фельетон.

В связи с Томчаком остановлюсь еще на одной неверности в эпопее. Этот несметный богач Захар Ферапонтович освобождает от военной службы за взятку в воинском присутствии не только уж своего сына Романа (что вполне возможно), но сразу одним махом еще — двух своих казаков, дизельного машиниста, садовника и шофера. Ну, это уж — «замного». И — карикатура. Конечно, взятки в дореволюционной России и давались и брались, как в самых что ни на есть передовых западных демократиях. Но не так же, как это практикует Томчак у Солженицына. Ведь здесь Солженицын (даже Солженицын!) от незнания былой России и под тотальным пятидесятилетним ядом советской пропаганды превращает Россию Николая II-го в Россию Николая I-го. И этим, увы, грешит вовсе не он один. Василий Гроссман в повести «Всё течет» делает то же самое. Покойный Аркадий Беленков в своих статьях делал то же. Не надо думать, что вбиваемая 50 лет — изо дня в день — советская политграмота отскакивает от людей, как от стены горох.

Нет, Александр Исаевич, в 1914 году мы жили в ЕВРОПЕЙСКОЙ стране, с парламентом (пусть выбранным не по классической четыреххвостке, но все же с независимым парламентом!), с свободной печатью (пусть не столь свободной, как в большинстве западных стран, но все же) с независимой печатью. Мы жили в ПРАВОВОМ строе, а не в каком-то до-реформенном, где Томчак что хошь то и делает. Это фальши-

вая линия, неверная атмосфера, исторически несоответствующая России 1914 года.

Кстати, о парламенте — о Государственных Думах. Характеризуя сына Томчака Романа, Солженицын опять-таки пишет историческую несуразность: — «Он (т.е. Роман, РГ) разворачивал так все свои способности — даже государственные, еще тайные ото всех. Чем он *наверняка превосходил многих депутатов Думы — это своей резкой прямоотой с людьми*». Это опять (даже у Солженицына!) штамп из арсенала советской пропаганды и опять полное незнание и непредставленье былой России. Многого, вероятно, не доставало депутатам Российских Государственных Дум. Но чего-чего, а уж «резкой прямооты» было во всех четырех Думах сколько угодно. Даже чрезмерно много! Были и «столыпинские галстуки» (Родичев), и «исполнительная власть да подчинится власти законодательной» (Набоков), и «глупость иль измена?» (Милюков). И это еще депутаты центра, а если взять левых (Алексинского, Аладьина, Чхеидзе, Церетели, Керенского), а из правых — Шульгина, Пуришкевича, Маркова II-го (доходившего даже до «площадной ругани»), то придется признать, что «резкой прямооты» было — выше головы, до отказа. Депутаты всех Дум были свободные и независимые люди, а не какие-то, набитые трухой, неговорящие куклы Верховного Совета СССР в которых, конечно, «резкой прямооты» не ночевало.

Я вынужден ограничить себя в приведении примеров неверностей и неточностей в описании Солженицыным России 1914 года. Их, к сожалению, довольно много. Приведу еще только отдельные слова-советизмы, невозможные в эпопее 1914 года: «рассредоточить», «разведсводка», «перекур», «прочесывать», «посланное наверх», «передний край», «доложить наверх», «артподготовка», «выпускник», «трофейные лошади», «обсасывать победу» и т.д. Капитан Райцев-Ярцев не мог крикнуть своим суздальцам: — «Хэ-ге-й, суздальцы! Перекур десять минут!» В царской армии в этом случае подавалась иная команда: — «Оправиться, покурить!» А «перекур» (кстати сказать, очень хорошее слово) вошел в язык только в советское время («это дело перекурим как-нибудь!»). Не мог также, вернувшись в ставку Верховного, полковник Воротынцев, делая доклад обо всем виденном им на фронте,

в присутствии Верховного, великого князя Николая Николаевича и нескольких генералов, обратиться к ним: — «Господа!» Он должен был обратиться: — «Ваше Императорское Высочество, Ваши превосходительства...» (а так как большинство присутствовавших генералов были, кажется, полные генералы, то — «высокопревосходительства»). «Господа» же обращение сугубо штатское и в данном случае не только уж непочтительное, но просто *невозможное*. «Начальник дипломатической части Ставки, вот кто брал теперь слово. Начальник дипломатической части просит *господ генералов...*» Это уже просто ужасно! «Господа генералы» родились только после революции 1917 года. Тут же должно было быть просто — «присутствующих».

Также, я думаю, неверны слова адъютанта вел. кн. Николая Николаевича Дерфельдена, когда он вносит телеграмму от царя. «С высоты конногвардейского роста благоговейно приклонился, подавая: — От государя». Так сказать, обращаясь к Николаю Николаевичу мог кто-нибудь из великих князей. Но адъютант Дерфельден о телеграмме царя, которую все так ждут, должен был сказать: «От его величества». При чем не думаю, что при этих словах Дерфельдену нужно было «благоговейно приклониться». Как это? Это может-быть фрейлине было бы гоже сделать глубокий реверанс, но это же конногвардеец? Тут опять вина — в слововыдумках: вместо простого — «почтительно склонился», почему-то надо было выдуманное — «благоговейно приклонился». И получилось невпазд.

Прав Солженицын, когда сам признает, что людям его, советского, поколения о былой России писать «невподым». Это естественно: это все равно что писать о жителях и событиях на другой планете.

ИСТОРИОСОФИЯ И ПОЛИТИКА

Говоря о «мире» и «войне» в этой эпопее, я должен сказать, что на мой взгляд «мир» Солженицыну не удался, да простит мне Александр Исаевич. Да и в дальнейшем, в начале «войны» еще долгое время чувствовал я все ту же боязнь за автора: уж очень как-то всё идет композиционно неорганизованно, невероятно многословно подаются военные события.

И вдруг — да, именно — «и вдруг» — уже после половины книги, вы начинаете чувствовать, что Солженицын внезапно «набирает высоту». И книга его превращается как бы в ракету: сначала тяжело разгорался огонь взрыва, валил заволанивающий всё дым, и вдруг с земли — ввысь — поднимается уже беззвучная ракета. И помимо воли читателя, может быть даже уставшего от всех этих предварительных премудрствований, ненужных пословиц, ненужных «экранов» и «самовитых» слов, Солженицын поднимает вас и несет на подлинной творческой высоте. И вы захвачены и силой творческого вымысла и силой глубокой и часто мудрой мысли. Да, да, — и силой его языка, который на этой высоте вдруг лишается всякой надуманности, переходя в прекрасную, увлекательную, образную прозу.

Главная тема эпопеи разворачивается только в «войне». И ее Солженицын подал очень талантливо, потому что он *ее* знал. Пусть он сам в этой войне не участвовал, тут ему помогли документы. А их за 50 лет в Советском Союзе издано вполне достаточно, чтоб вжившись в них, большой художник мог передать «войну» не схематично, а полнокровными многокрасочными сценами и характерами. К тому же во вторую мировую войну и сам Солженицын прошел по тем же самым «полям войны», по которым в 1914 году ходил его отец, молодой артиллерийский офицер. А люди на войне всегда те же. Да и война, в своей сущности, всегда та же.

Но прежде чем говорить о главной теме и ее вариациях в «Августе Четырнадцатого» я хочу все-таки остановиться на двух сценах «мира». Эти сцены чрезвычайно важны для понимания главной темы, они великолепно сделаны, умны, глубоки и имеют большое значение для понимания всей художественной задачи Солженицына. Среди других сцен «мира» они стоят как-бы в сторонке, особняком. Это — разговор в московской пивной Варсонофьева с Саней и Котей. И разговор в Ростове на Дону — инженера Ободовского с юными эс-эрами.

Остановимся сначала на «звездочете» Варсонофьева. Эта сцена в московской пивной философски важна и художественно очень хороша. Но все-таки — как ровесник Сани Ложеницына и человек той же русской судьбы, как свидетель истории, — я вынужден сначала указать на ее мелкие бытовые недочеты. Именно этот район Москвы — Большую Никитскую

— я хорошо знал в студенческие годы. Здесь в 1914-1915 годах жил в Большом Козихинском, и на Никитском бульваре, и в знаменитых Гиршах на Малой Бронной. Ежедневно шел по Большой Никитской в университет. Так что я знаю о чем говорю.

И вот студенты Саня, Котя и «звездочет» Варсонофьев, лицо неопределенной профессии, некий русский чудак, приватгелертер — входят в пивную где-то около Большой Никитской. Пусть. В те времена у студентов-москвичей в большом почете был дешевый ресторан «Бар», а для «тяжелых случаев» знаменитая Ночная Чайная «Калоша». Открыта «Калоша» была ночь напролет, водку подавали здесь в чайниках. Сидели извозчики, ломовики, студенты, разный сброд, после театра появлялись даже элегантные господа с дамами, в поисках «острых ощущений». Но Котя и Саня вошли в пивную. Солженицын пишет: «Котя толкнул Саню в бок: сидел у пива и воблы известный университетский профессор с естественного факультета и студенты с ним. В нескольких местах — офицеры, а то — вроде адвокаты». Увы, все это действительности 1914 года соответствовать не может. Ни Новгородцева, ни Вернадского, ни Мануйлова, ни Кизеветтера, ни Лебедева, ни Любавского, ни Челпанова, ни Лопатина, никого из известных московских профессоров (преподававших в университете или преподававших) в пивной у пива и воблы увидеть было нельзя. Не те были времена. Да и нечего было профессору итти с студентами в пивную, когда на каждом шагу были какие хочешь рестораны (и дешевые, и средние, и дорогие). В этом я уж могу уверить Александра Исаевича: не видали московские пивные у себя профессоров, да еще известных!

Дальше — хуже: «в нескольких местах — офицеры», пишет Солженицын. Эти статисты в этой сцене уже совершенно невозможны. Ведь это была еще крепкая чинопочитанием, дисциплиной, традицией, воинским уставом царская Россия 1914 года! А в те времена не только уж пивную «с пивом и воблой», но и дешевенькие рестораны офицеры не посещали. Офицеры могли посещать только вполне хорошие рестораны, при чем войдя в ресторанный зал должны были оглянуть его и если видели старшего в чине, должны были подойти и спросить, став по-военному: — «разрешите остаться» (господин пол-

ковник, господин капитан — смотря по чину). И в ответ на «пожалуйста» офицер занимал свое место. Так что из этой пивной, как статистов, надо удалить и профессоров и офицеров (невместно было!), да и адвокатов, пожалуй. Ну, какие-нибудь очень дешевые адвокатишки, без практики, а скорей всего частные поверенные могут еще тут оставаться.

Опять же и насчет воблы. Солженицын пишет: «Котя разодрал воблу, как грудь себе». Увы, «воблу раздирали, как грудь себе» только базарные мужики, предварительно поступав ей хорошенько по оглобле для размягчения. Даже в уездных трактирах воблу подавали нарезанную ломтиками. А вот что и Котя и Саня и Варсонофьев заедают в этой сцене пиво «моченым горохом» — сие совершенно точно. Сам заедал.

И еще одно замечание к этой сцене. Варсонофьев — удался Солженицыну полностью: ни сучка, ни задоринки. Пусть от него немножко тянет дымком Достоевского, и он больше «литературен», чем человек во плоти. Но он очень хорош. Собеседники же его — Котя и Саня — прихрамывают. Ведь они студенты перешедшие на 4-й курс историко-филологического факультета, самые что ни на есть «критически мыслящие личности» того времени, знаменитые «русские мальчишки», занятые и философией Гегеля, и вопросами вечности и гроба, и смыслом жизни. В те годы такой студент, конечно же, вступил бы в интереснейший спор с «звездочетом» Варсонофьевым. У Солженицына же и Котя и Саня скорее какие-то малоразвитые комсомольцы, довольно таки бессвязно мычащие и только задающие Варсонофьеву приблизительные вопросы. Поэтому сцена сия не диалогична, а монологична. Говорит только Варсонофьев. Но может быть Солженицын умышленно так построил сцену? Кстати, студенты 1914 года, третьего курса, не могли, конечно, говорить в пивной, как говорит Котя: «Селянку! Обоим! Санюха, чисть подряд!». Еще минута и Котя начнет «рубать», «шамать» и наестся «от пуза». Все это вульгарные советизмы.

Но как бы то ни было — сцена прекрасна, и все искупает Варсонофьев. Этот книжный червь, одинокий приватгелертер умен. И философия его далеко не банальна. Котя спрашивает его, например, о народовластии.

«— Что, ж, по вашему, народовластие не высшая форма правления?»

— Не высшая, — тихо но твердо.

— А какую ж вы предложите?..

— *Предлагать?* И не посмею... Кто это смеет возомнить, что способен ПРИДУМАТЬ идеальные учреждения...

— А вообще, идеальный общественный строй — возможен? (спросил уже Саня, РГ).

Варсонофьев посмотрел на Исаакия ласково...

— Слово СТРОЙ имеет применение еще лучшее и первое — СТРОЙ ДУШИ. И для человека нет нич-чего дороже строя его души, даже благо через-будущих поколений... Мы всего-то позваны — усовершенствовать строй своей души...

— Как позваны? — перебил Котя.

— Загадка! — остановил Варсонофьев пальцем. — Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном порядке мира?»

Это, разумеется, так далеко от вульгарного истмата и диамата и от всякой материалистической философии. Тут мы слышим отзвуки крайнего (м. б. христианского) персонализма. И это поднимает всю философию эпопеи Солженицына на большую высоту. Это высота литературы 19 века — Достоевского, Толстого, Чехова.

«Но все-таки интересовало мальчиков:

— А общественный строй?

— Общественный?... Какой-то должен быть лучше всех худых... Но только, друзья мои, этот лучший строй не под-лежит нашему самовольному изобретению. Ни даже НАУЧНО-МУ, мы же все научно, составлению. Не заноситесь, что можно придумать — и по придумке самый этот любимый народ ко-веркать. История... не правится разумом... История — ИРРА-ЦИОНАЛЬНА, молодые люди. У нее своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань... История растет, как дерево живое. И разум для нее топор, разумом вы ее не вы-растите... Или, если хотите, история — река, у нее свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и го-ворят, что она — загнивший пруд... Но реку, но струю прер-вать нельзя, ее только на вершок разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать ее на тысячу саженей...»

Как видим, историософия Варсонофьева антиреволюцион-на. Здесь «звездочет» перекликается с таким же взглядом на

историю Юрия Живаго, Пастернака. И оба они перекликаются с Достоевским и Бердяевым (поры его знаменитой «Философии неравенства»). Уж не с Бердяевым ли засели в пивной Котя и Саня? Впрочем, это было бы невозможно из-за патологической брезгливости Бердяева, о чем он рассказывает в «Самопознании».

«Саня мягко положил руку на рукав Варсонофьева:

— А — где же законы струи искать?

— Загадка. Может быть они нам вовсе недоступны... Во всяком случае не на поверхности... Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека...

— А справедливость?... Разве справедливость — не достаточный принцип построения общества?

— Да!... Но опять-таки не своя, которую б мы измыслили для удобного земного рая. А та справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе. А нам ее надо *угадать!*...»

Вторая замечательная сцена из «мира» «Августа Четырнадцатого», это разговор бывшего эмигранта, бывшего анархиста, выдающегося инженера Ободовского, ушедшего от революции и увлеченного хозяйственным развитием России. Эта фигура выписана очень ярко. Такие люди действительно в России были в период ее большого хозяйственного и промышленного подъема в 1908-14 годах. К ним принадлежал, например, Леонид Красин, в прошлом большевик, а в те годы делец и инженер большого размаха, ушедший от революции. Таким же талантливейшим «Ободовским» был Николай Владиславович Вольский (Валентинов), которого я хорошо знал, с которым дружил в Париже. Бывший большевик, потом меньшевик, после революции 1905 года ушедший от сих дел, он стал тогда фактическим редактором самой распространенной ежедневной газеты, американского размаха, сытинского «Русского Слова». Н. В. часто с тоской говорил о том, что никто из русских экономистов так и не написал настоящего труда о том, как бурно промышленно и хозяйственно развивалась Россия в годы перед первой мировой войной, когда над страной уже загоралась блоковская «Америки новой звезда». «Так это и замнут, и история об этом как следует ничего и не узнает», с горечью говорил Н. В.

«Вообще — кончился штиль! Штиль в России кончился!... — с восторгом восклицал Ободовский, — ...На Россию надо, батенька, смотреть издали-издали, чуть не с Луны! И тогда вы увидите Северный Кавказ на крайнем юго-западе этого туловища. А все, что в России есть объемного, богатого, надежда всего нашего будущего — это СЕВЕРО-ВОСТОК! Не ПРОЛИВЫ в Средиземное море, это просто тупоумие, а именно северо-восток! Это — от Печоры до Камчатки, весь север Сибири. Ах, что можно с ним сделать!.. Настоящее завоевание Сибири — не ермаковское, оно еще впереди. Центр тяжести России сместится на северо-восток, это — пророчество, этого не переступить. Между прочим, к концу жизни к этому пришел и Достоевский, бросил свой Константинополь, последняя статья в «Дневнике Писателя». Да, нет не морщьтесь, у нас и выхода не будет! Вы знаете расчет Менделеева? — к середине XX-го века население России будет много больше трехсот миллионов».

В этом пафосе о месторазвитии России — о северо-востоке и Сибири — мы, конечно, слышим идеи эмигрантов-евразийцев. Вообще, в «Августе Четырнадцатого» есть много существенных мест, которые говорят, что некое проникновение в Совсоюз и зарубежно-русских идей и зарубежной литературы бесспорно. Во всей силе оно еще под спудом. Но время придет и история докажет, что зарубежная Россия прожила и проработала за рубежом не зря, а волей-неволей — для России же. И в «Августе» — то отзовется Бердяев, то евразийцы, то воспоминания протопресвитера Г. Шавельского, то труды ген. Н. Головина, то что-то близкое к писаниям Вейдле о Петербурге.

На патетику Святослава Иакинфовича Ободовского о грядущем месторазвитии России его собеседник, умница, инженер Илья Исакович Архангородский пессимистически отвечает: «— Это в том случае, Святослав Иакинфович, если мы не возьмемся выпускать друг другу кишки!»

К несчастью России большевицкая революция взялась именно за это. За время властвования ленинцев народонаселение России не только уж не возросло, по предсказанию Менделеева, до 300 миллионов. А убавилось миллионов на 100 из-за «кровавой колошматины и человекоубоины» по горькому выражению пастернаковского Доктора Юрия Живаго.

Спор Ободовского о нужности революции с юными эсэрами, детьми Архангородского, мудро подитоживает их отец Илья Исакович:

«Разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разоряет ее, и надолго. И чем кровавей, чем затяжней, чем больше стране за нее платить — тем ближе она к титулу ВЕЛИКОЙ... надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...»

Вот какую политическую программу для России отстаивают мудрые солженицынские инженеры. Это, конечно, очень далеко от терроризма Ленина. Когда-то Жан Жорес определял революцию, как «варварскую форму прогресса». Определение долго было банальным и считалось правильным. Сейчас оно устарело. На примере «Октября» мы увидели революцию, как «варварскую форму РЕГРЕССА», влекущую в этот РЕГРЕСС вслед за Россией — весь мир.

ГЛАВНАЯ ТЕМА И ЕЕ ВАРИАЦИИ

Но как ни важны в эпосе мысли Варсонофьева и Ободовского, — они только оттеняют главную тему. А главная тема, это — прекрасно выписанный, трагический портрет «семипудового ангела», командующего 2-й армией, генерала от кавалерии Александра Васильевича Самсонова.

Внешне, душевно, психологически этот портрет Солженицыну исключительно удался. Через эту очень русскую и как будто несложную, и в то же время трагическую фигуру Самсонова Солженицын подает тему *русской сути*, тему России как таковой, тему ее роковой гибели, которая в августе 1914 года только еще начинается. Самсонов, это — центр первого «узла». А вариации этой русской темы — полк. Воротынцев, полк. Кабанов, ген. Мартос, ген. Крымов, ген. Нечволодов, полк. Первушин, поручик Офросимов, есаул Ведерников, унтер-офицер Благодарёв, фельдфебель Чернега и множество многоговорящих острых зарисовок русских рядовых солдат. Кстати, солдаты у Солженицына — подстать Толстому и Бунину — говорят превосходнейшим, живым языком:

«— Женаты, дети есть? — (спрашивает молодой офицер фельдфебеля, РГ).

— Та зачем жениться, як сосед женат?».

Или:

«— Чего это? в плен? а мы — не изъявляем!»

Или:

«— Ничего, подходяво. За танбовского сойдешь».

Во всем этом первом «узле» русскость душ, русскость психологий — музыка книги. Солженицын — писатель почвенник. У него особый дар любви (не всякому даденый) — ко всему русскому и к России, как месторазвитию этой особой душевности. Достоевский сказал бы о даре любви до сладострастия. Литературные предки Солженицына — славянофилы во главе с Хомяковым, Достоевский, Аполлон Григорьев, Лесков. Поэтому ему и удаются изображения таких душевно очень русских людей, как Иван Денисович, Матрена, Нержин, Спиридон, ген. Самсонов и такие русские сцены, как — солдаты, еле-еле прорывающиеся из немецкого окружения и все-таки несущие на носилках своего мертвого полкового командира, которого они и отпевают в лесу. Некоторым показалась эта сцена неправдоподобной, также как и сцена неожиданной встречи во время боев, на куске «ничьей земли», полковника Воротынцева и германского генерала фон Франсуа. Конечно, подходя фактически-канцелярски, неправдоподобие этих сцен налицо. Но дело то в том, что большое искусство часто должно оперировать неправдоподобностями, поднимая их до правдоподобия. Отправил же Лев Толстой Пьера Безухова на Бородинское сражение?

Но вернемся к образу генерала Самсонова. Он особенно хорош, когда, уже чувствующий гибель своей армии и свою безвинную вину перед умирающими зря русскими солдатами, он, Самсонов, ищет какого-то искупления этой вины, в которой не виноват и бессознательно идет к смерти среди своего воинства.

«Да, это был генерал Самсонов! На крупном коне и крупный сам, как олеографический картинный богатырь, он медленно объезжал цыганоподобный табор, словно не замечая его позорного отличия от парадного строя. Никто не подавал ему «смирно», никому он не разрешал «вольно», иногда брал руку к козырьку, а то не по-военному, по-человечески, снимал фу-

ражку и прощался этим движением. Он был задумчив, рассеян, не влек при себе главной силы командира — страха».

Как тут всё хорошо, как всё метко, как верно и как ПО-РУССКИ. «Не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный» всей прелести этой, как будто, военной, а на самом деле вовсе не только военной сцены. Это сцена исконно духовно-северо-восточная.

Кое-где у Солженицына мне, как будто, почудилось знаменитое, соблазнительное суворовское: «Мы русские! Какой восторг!». Но нет, он тут же умеряет свою любовь и свою приверженность к русскому — русским же смирением, унижением паче гордости. «Россией должны непременно править дураки, Россия не может иначе», говорит Воротынцеву его друг, генштабист Свечин. И Солженицын показывает и глупость, и тупость, и растяпость, и эгоистическое наплевательство, и своекорыстие многих русских, и прочие присущие и русской душе общечеловеческие и специально русские душевные непривлекательности. Иной раз даже кажется, уж не чересчур ли сгущает он краски в описании отрицательных черт многих царских генералов? Но, думаю, нет. Его поддерживает история. Через них Солженицын верно нацеливает свое обличение виновников в общероссийской катастрофе этого «узла».

Конечно, в катастрофе России, как часто говорится, виноваты все. Эта банальность в какой-то мере правильна. Но все же в русском обществе того времени были два слоя — две «черни», которые исторически несут наибольшую ответственность за ее гибель. Одна «чернь» — верхняя, двор царя, окружение трона. Другая «чернь» — нижняя, революционное подполье, бесовщина, в развитии всех «узлов» оглавившаяся Лениным. Но в первом «узле» Солженицын только как бы пунктиром, слегка намечает тему революционного подполья, противопоставляя ему историософию Варсонофьева и мысли Ободовского. Характеристика же верхней «черни» очень хороша в устах того же Ободовского:

«...всё России нужно, везде нужно успеть... развитие производительных сил и развитие общественной самостоятельности... А они всё мертвят до чего касаются, а касаются всего. Они сами ни одного своего действия не понимают, они ВЕКА не понимают! Они ТАКУЮ страну рассматривают, как свою вотчину: захотят — помирятся, захотят — будут воевать...

и полагают, что всегда им (всё) будет с рук сходить. Да ни один же великий князь такого и слова не знает: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ! На Двор — всегда привезут, хватит!»

В истории России эта верхняя «чернь» убила Пушкина, сопротивлялась реформам Александра II-го, при Александре III поддерживала рокового Победоносцева, при Николае II оттеснила в опалу Витте, убила Столыпина и приблизила к трону Распутина. А когда, отрекшийся от трона Николай II оказался всеми покинут, кроме двух-трех лиц, он записал в дневнике: «...везде трусость и измена». Это было именно — о верхней «черни».

Эту верхнюю «чернь» Солженицын намечает в характерах близких ко двору генералов — Жилинского, Ренненкампа, Клюева, Янушкевича, Данилова (протеже Сухомлинова) и некоторых других генералов-бонвиванов вплоть до вел. кн. Николая Николаевича, не столько верховно командующего вверенными ему войсками, сколько дипломатически лавирующего между милостью и немилостью царя. Хотя облик Николая Николаевича у Солженицына как-то двоится. Он пишет о нем и как об «умном полководце». Мы, свидетели истории, «умного полководца», по-моему, не знали.

Россию древнюю, молчащую, многотерпеливую у Солженицына олицетворяет собой Самсонов. При чем он вовсе не «действующее лицо». Никаких, собственно, действий у Самсонова нет. Да и в диалогах он не участник. Солженицын очень скуп в показе нам душевных движений генерала. И тем не менее образ Самсонова — монументален. Он подавляет в книге всё.

Несопrotивляющийся придворному холодному карьеристу Жилинскому, толкающему его и его армию на поражение, чувствуя гибель и как бы примирившись с ней, Самсонов странно не обращает уже внимания ни на своих штабных ловчил генералов Постовского и Филимонова, ни на генералов, которые подвели его своими военными действиями. Он уже «не держал сердца ни против Благовещенского, ни против Артамонова за их ложь и за их отступление. Что ж гневаться на них, если и сам уже виноват довольно?... Но если оправдывать ошибки подчиненных — что тогда остается от генерала?... За всю свою военную службу не предполагал Самсонов, что может сразу сойтись тяжело, как ему сейчас... тянулась очи-

ститься душа командующего. А нужна была для того, он ясно понял: молитва... Он раскрыл нагрудный походный казачий складень белого металла и тремя створками утвердил его на столе. Тяжелыми коленями опустился на пол, не справляясь, чисто ли там. И так, грузной тяжестью на коленях, от боли в них испытывая удовлетворение, уставился в распятие и две иконки складня — Георгия Победоносца и Николая Угодника, вошел в молитву... Сперва это были две-три цельных известных молитвы «Да воскреснет Бог!», «Живый в помощи», а там дальше потекла молебная немота, что-то бессознательное, составляемое, незвучащее, изредка опертое на крепко сложенные, удержанные памятью опоры... — всепресветлое Твое лицо, о Жизнеподатель!...»

«Он стоял коленно, всей тяжестью вдавливаясь в пол, смотрел в складень вровень глаз своих, шептал, молчал, крестился — и тяжесть крестящейся руки с каждым разом становилась как будто менее, и тело не так грузно и душа не так темна: все тяжкое и темное беззвучно и невидимо отпадало от него, отделялось, возгонялось — это Бог на себя принимал от него тяготу, — Ему ведь все посильно перенять... И чин как будто отлетел от командующего, и сознание города Найденбурга, и армейского штаба в двух шагах отсюда — молящийся всплывал, чтобы прикоснуться высших сил и отдалиться их воле. Ибо вся стратегия и тактика, снабжение, связь, разведка — разве не было копошенье муравьиное перед волею Божьей? И если благоволил бы Господь вмешаться в ход сраженья, как по преданьям бывало в старину не раз, то чудодейственно выигралось бы оно при всех огрехах».

Вот именно эти сцены эпопеи поднимают Солженицына до вершин русской классической литературы. Самсонов показан не по документам, как неудачливый полководец, загубленный в своем наступлении бесталанностью и ноншалантностью штаба фронта. Нет, он показан, как символ всей гибнущей зря, ни за что, России и эту свою страшную гибель принимающей, как не принял бы ее ни один европейский генерал, ни один западный народ. Эту русскость Самсонова глубоко понимает такой же до мозга костей русский Солженицын.

Страницы посвященные гибели генерала А. В. Самсонова замечательны и, по-моему, лучшие во всей книге. После молитвы Самсонов засыпает. Во сне «не виделось ничего. Но

возле уха — ясное с оттенками вешего голоса, а как дыхание:

— Ты — успишь... Ты успишь...

И повторялось. Самсонов оледел от страха; то был знающий пророческий голос, даже может быть над будущим властный, а понять его смысл не удавалось.

— Я — *успею*? — спрашивал он с надеждой.

— Нет, успишь, — отклонял непреклонный голос.

— Я — *усну*? — догадывалась лежащая душа.

— Нет, успишь! — отвечал беспощадный ангел.

Совсем непонятно. С напряжением продираясь, продираясь понять — от натуги мысли проснулся командующий.

Уже светло было в комнате, при незадернутом окне. И от света сразу прояснился смысл: *успишь* — это от Успения, это значит: умрешь... Прилил пот холодный на яву. Еще струною дозвучивал пророческий голос. А — когда у нас Успение? Голова сосредоточивалась: мы — в Пруссии, сегодня — август, сегодня пятнадцатое. И холодом, и — льдом, и мурашками: Успение — сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России — сегодня. Вот оно, вот сейчас наступает Успение. И мне сказано, что я умру. Сегодня... В страхе Самсонов поднялся...»

Хорошо у Солженицына эта могучая и безвинная Россия умирает — кончает самоубийством — этот боевой генерал, бывший наказной атаман, перед смертью целующий шашку в золоченых ножнах, подарок царя, и медальон жены.

«Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого армейского сражения... Пошумливали вершины. Лес этот не был враждебен: не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал в себе.... Привалясь к стволу, Самсонов постоял и послушал шум леса... Все легче становилось ему. Прослужил он долгую военную службу, обрекал себя опасностям и смерти, попадал под нее и готов был к ней — и никогда не знал, что так это просто, такое облегчение... Только вот почисляется грехом самоубийство... Револьвер его охотно, с тихим шорохом, перешел в боевой взвод... Снял шашку, поцеловал ее. Нащупал, поцеловал медальон жены... Отошел на несколько шагов на чистое поднебное место... Заволокло, одна единственная звездочка виднелась. Ее закрыло, опять открыло. Опустясь на колени, на теплые иглы, не зная востока — он молился на эту звездочку... Сперва готовыми молитвами.

Потом — никакими: стоял на коленях, смотрел в небо, дышал. Потом простонал вслух, не стесняясь, как всякое умирающее лесное:

— Господи! Если можешь — прости меня и прими меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу...»

Что ж выносит читатель из этой монументальной исторической эпопеи Солженицына? Он выносит заражение какой-то сыновней, кровной, религиозной любовью к переживающей свой апокалипсис России. Она, как перед смертью Самсонов, — «ничего не могла иначе и ничего не может...». При чем Россия Солженицына это больше чем государство, чем страна, нет, это некая русскость, разлитая в мире, в ее лучшем и духовном чувствовании.

Перевернув последнюю страницу книги, я подумал, какое было бы счастье, если б настал тот день, когда в Москве образовалось бы правительство из бывших зе-ков (политзаключенных) вроде Солженицына. Это было бы поистине лучшее правительство в мире. И тогда бы действительно могла настать новая эра — всечеловеческая, вселенская, которая по справедливости бы назвалась *русской*.

Роман Гуль

МНОГОГОЛОСЫЙ ПЕРЕСМЕШНИК

Мне ближе всех из птичек здешних
Жонглер подхваченных идей —
Многоголосый пересмешник,
Тысячесвистый лицедей.

Чужие речи он счастливо
Сплетает в пении своем:
И «зин-зи-вер», и «чыи вы, чьи вы»
И «пить-пить-пить», и «спать пойдем».

Заслышав трели реполова
И козодоя стон глухой,
Он их смешает с полуслова:
Тут — козо-лов, там — репо-дой.

Фигуру ставя на фигуру,
Раскатом передразнит гром,
Прищуром на синкопе — шура,
Щегла — вокальным щегольством.

Синеть он может, как синица,
Способен, как сова, советь,
Умеет выпить, петушиться,
Малиноветь и соловеть.

Он так поет не ради смеха
А в силу свойства своего,
И есть у зеркала и эха
С ним ипостасное родство.

У каждой птицы, в свисте ль, в такте ль,
Своя задача, свой закон:
Есть птица-ямб, есть птица-дактиль,
Но птица-рифма — только он.

Николай Моршен

ЕЩЕ РАЗ О СЛОВЕСНОСТИ, СЛОВЕ И СЛОВАХ

Статья эта примыкает к той, что трактовала о «Двух искусствах» в сотом номере «Нового Журнала». Начну ее с цитаты приведенной уже и там, в начале последнего раздела. Но далее речь поведу не о вымысле, — остерегаясь, однако, из виду упускать это второе литературное искусство, не словесное, хоть и осуществляемое словами. Поведу речь об искусстве слова, о невозможности видеть в нем одно лишь умение выбирать и сочетать слова, или вообще сводить его к производству эффектов, достигаемых соответственными приемами; о невозможности исходить, в изучении его, из лингвистикой конструированного особого понятия языка, лежащего в основе всего современного языкознания, но к искусствознанию, и как раз к такому, которое все искусства хотело бы считать языками, неприменимого. Иначе выражаясь, занят я буду в этой статье главным образом критикой того, что зовут формализмом и структурализмом. Противны мне эти ярлыки. Но спорить я буду не с ярлыками.

1. Слово — «как таковое»

«Литература или словесность, как показывает это последнее название, входит в состав словесной или языковой деятельности человека; отсюда следует, что в ряду научных дисциплин теория литературы близко примыкает к науке, изучающей язык, т.е. к лингвистике». С этих слов — или почти что с них — начинается «Теория литературы» покойного Б. В. Томашевского. Вышла эта немножко технократическая (автор ее готовился стать инженером, учился в Льеже), но тщательно продуманная и построенная книга в 1925-ом году; после 31-го года исчезла в России из обращения; недавно ее фотографически переиздали за рубежом.

Томашевский, как известно, был в молодости одним из наших виднейших «формалистов», т.е. возглавил, вместе со Шкловским, Тыняновым и Эйхенбаумом новое тогда направление в литературоведении, названное (не самими его зачинателями) формализмом и подвергшееся запрету, который не снят с него в нашей стране и по сей день. Среди других грехов вменялось ему в вину и это — отнюдь не в одинаковой мере свойственное его сторонникам — стремление приблизить литературоведение к языкознанию, применить или приспособить методы изучения языка к изучению литературного и поэтического языка, а также и вообще поэзии и литературы. Намеренье, казалось бы, невинное; во всяком случае политически; но партийная жандармерия рассуждала напролом. Ежели, мол, вы будете изучать форму литературных произведений, словесную или сюжетную (разницы этой наш брат не понимает и понимать не желает), вы станете пренебрегать идейным их содержанием — слышали? и-дей-ным! — и научите других им пренебрегать; а нам без него никак нельзя, потому что начинать мозги партийно одобренной начинкой только с его помощью и возможно. С жандармерией, рассуждающей так, и облеченной полнотою власти не поспоришь. Пришлось этим осведомленным и одаренным людям взгляды свои красить в защитный цвет, а затем и вовсе от них отречься или заняться другим делом, не тем, которым они с немалым успехом занимались до того времени. Русское литературоведение очень от этого пострадало, но прежние их труды, изъятые в России из оборота, не канули в Лету, и были хоть и с запозданием в тридцать, а то и в сорок лет, по заслугам — порой и свыше заслуг — оценены на Западе.

Вернусь, однако, к цитате, с которой начал. Исходное положение свое Томашевский формулирует немножко менее осторожно, чем ближайший из него вывод. Согласиться нетрудно с тем, что «теория литературы близко примыкает к науке, изучающей язык»; трудней безоговорочно признать, что литература «входит в состав словесной или языковой деятельности человека». Так-таки целиком и входит? Вместе со всем вымыслом, со всеми воображенными положениями и лицами? И входит именно как литература, как словесное искусство? Или наравне с чем угодно, облеченным в слова, будь то учебник физики или объявление в газете?

На следующей странице сказано еще более решительно: «Литература есть самоценная, фиксированная речь». «Фиксированная» (в отличие от незаписанных наших разговоров), в этом сомнения нет; но вот «самоценная»... Самоценная именно как речь, а не как изреченное этой речью? Как словесная ткань, а не как то, что из нее выткано? Даже и независимо от особой природы вымысла, разве это к любым литературным произведениям одинаково приложимо? Разве «Война и мир» в той же мере или в том же смысле «сделана из слов», как «На холмах Грузии», или «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»?

Томашевский этого не утверждает. Он тут же, в зачине своих рассуждений, признает, что наряду с вопросами пограничными, касающимися обеих дисциплин, есть и вопросы от лингвистики ускользающие, относящиеся к одной теории литературы. Но немного дальше, в начале первой главы, он все-таки снова противопоставляет интерес к тому, что сказано словами, характерный для практической речи, интересу к *самим словам*, характерному, как он думает, для художественной литературы в целом. «Сами слова», это столь же двусмысленно, как и «самоценная речь»; а говорить, что в «Войне и мире» нас интересуют (или Толстого интересовали) исключительно, или хотя бы по преимуществу, «сами слова», и совсем нелепо. Словами, кроме того, занимается, как и речью (хоть последнее и не столь бесспорно) лингвистика, так что, утверждая их первенство, мы возвращаемся в ее лоно. Тем не менее, утверждения такого рода, не вызывали возражений и у других ученых той же школы, — как из лингвистики исходивших языковедов по образованию, так и к ней совершенно равнодушных, да и очень поверхностно с ней знакомых. «Сами слова» или несколько раньше провозглашенное «слово как таковое» были для них равнозначными (как будто слово равняется словам!) и не-хуже-других формулами того, в чем их обвиняли совсем уж нечувствительные к оттенкам хулители их и мучители; того самого, что было кличкой и стало знаменем; формулами «формализма».

Знамени этого разворачивать они на первых порах не сочли нужным, а позже решились было, но тут-то и пришлось его свернуть. Если нынче оно свободно и даже надменно (в качестве «последнего слова науки») развеивается за предела-

ми России (особенно в Италии и во Франции), то обязаны они этим отчасти польским и чешским последователям своим, но в первую очередь многолетней деятельности соотечественника и сверстника, своевременно расставшегося с ними. Один из основоположников этого направления, но в отличие от четырех мною названных, не петербуржец, а москвич, ныне здравствующий (в Соединенных Штатах) знаменитый славист и языковед Р. О. Jakobson еще в 1920-м году уехал в Прагу. В 21-ом он издал там брошюру «Новейшая русская поэзия»; немного позже опубликовал замечательное исследование о чешском стихе; а затем принял деятельное участие в организации Пражского Лингвистического Кружка, сыгравшего видную роль в развитии современного языкознания. В брошюре (где говорится всего больше о Хлебникове) читаем: «Поэзия, это просто язык в его эстетической функции». А также: «Поэзия, индифферента к предмету высказывания(...)». Поэзия есть оформление самоценного, «самовитого», как говорит Хлебников, слова».

Самоценное слово, это, конечно, то же самое, что Томашевский через четыре года назовет самоценной речью; а индифферентность к предмету высказывания, это и есть интерес к «самим словам», а не к тому, что высказано ими. Этим взглядам Jakobson останется верен и впредь; отчасти их уточнит, отчасти лишь терминологически их приспособит к новым «веяньям» внутри его науки или по соседству с ней; но отнюдь не откажется от них, и в их существовании не изменит ничего. К чисто языковедческим его работам они никакого отношения не имеют, как и к работам по славянской филологии; но методы его в интерпретации литературных произведений, под знаком того, что он назвал «грамматикой поэзии» и «поэзией грамматики» всецело основаны на них и рассматриваться не могут вне этого его, пусть особого, подчеркнуто лингвистического (чуждого Шкловскому, например), но все же исконного, в гнезде стародавних «измов» высиженного, из Москвы вывезенного «формализма».

Ставлю еще раз кличку эту в кавычки. Дешевое и тупое осуждение того, что ею обозначалось, окончательно ее испортило. Да никогда она хорошей и не была (хорошие «формалисты» это чувствовали), по причине крайней вертлявости понятия «форма», которым и пользоваться — особенно в об-

ласти языка и литературы — невозможно без предварительных долгих разъяснений. Якобсон и сам его избегает; не повторяет он в дальнейшем и таких выражений, как «оформление самоценного слова» (разве не формой, по вашему, оно и ценно? А если так, то зачем же его вторично оформлять?) Этим он дискуссию делает более плодотворной, но и заостряет ее: на шпагах ведет бой и предлагает его вести. Шпаги он, правда, как мы еще увидим, меняет — во время поединка; выбирает каждый раз шпагу новейшей выделки, которая ему неизменно кажется и острейшей; но драться с ним на дубинах, что и говорить, никому повода и права не дает.

2. Смысл и значение

В 1929 г. Пражский Лингвистический Кружок опубликовал коллективно выработанные «Тезисы» обратившие на себя внимание всех языковедов и положившие начало так называемой функциональной лингвистике. Среди функций языка или его по функциям различаемых разновидностей уделяется тут большое место языку литературы и поэзии. Соответственные параграфы этого текста были составлены при ближайшем участии Якобсона и вполне соответствуют его взглядам, прежним и позднейшим. Мы здесь читаем: «Организирующий признак искусства (...), это направленность не на означаемое, а на самый знак. Организирующим признаком поэзии служит именно направленность на словесное выражение». Под «словесным выражением» нужно тут конечно разуметь не выраженное, а манеру выражаться, не «что», а «как», т.е. все те же «индифферентные к предмету высказывания» слова, отличающиеся от высказанного ими. Но предыдущая фраза лингвистически уточняет этот тезис, прибегая к сосюрловскому анализу знака, состоящего из означающего и означаемого. (Сосюру, повидимому, не было известно, что уже греческие стоики различали в знаке, «семейон», две стороны: «семайнон» и «семайноменон»). Уточнение это, однако, как раз неясность, присущую самому этому тезису, и вскрывает, противопоставляя означаемому не означающее, а «самый знак» — весь, т.е. не «семайнон», а «семейон».

Сосюр, в своем знаменитом «Курсе» (общего языкознания), посмертно изданном в 1915 г., различая звуковую и

смысловую сторону языковых знаков (упрощенно можно сказать: слов), одновременно подчеркивал их неотделимость друг от друга: означающее и означаемое, как бы начертаны, по его словам, одно на лицевой поверхности, а другое на обороте того же самого листка бумаги. Но ведь тем самым оказалось и подчеркнуто, что не только означающее, т.е., скажем, звуковой облик (сочетание четырех фонем) слова «волк», остается внутри языка, внутри моего языкового сознания, когда я это слово произношу или пишу (или нашего общего, когда кто-нибудь его читает или слышит), но что там же пребывает и само представление или мысль о волке; тогда как в сказке о Красной Шапочке не только не имеется в виду сочетание четырех фонем само по себе («само слово», «самоценное слово», отделенное от смысла), но не имеется в виду и смысловой коррелят этих или других (в другом языке) фонем, никому клыками не грозящий, как и не столь же безобидное единство того и другого в слове «волк» (т.е. «само слово» вместе с его смыслом), а живой волк в бабушкиной постели, способный и впрямь Красную Шапочку растерзать. Этот волк обитает в лесу, а не в языковых сознаниях, не в языках, и языковед не интересуется, тогда как сказочника интересуется именно он, вследствие чего не только нельзя утверждать, что внимание его направлено «на самый знак», но и нельзя было бы сказать, что оно направлено на означаемое, в сосюрковском или стоическом понимании этого слова. Направлено оно не на слуховой или зрительный облик знака, «семайнон», и не на смысловой коррелят, «семайноменон», неотделимый от него, и не на них, вместе взятых, а на то, «о чем идет речь» и что у стойков называлось «лектон». Не на звук слова, и не на его непосредственный смысл (*meaning*), а на то, что Гардинер (английский египтолог и лингвист, автор замечательной книги «*Speech and Language*», 1934) назвал *thing meant*, весьма кстати заметив при этом, что съедобно пирожное, но никак не смысл слова «пирожное», и что религиозные войны велись из-за разногласий, касавшихся не смысла слова «религия», а самой «вещи», называемой этим словом.

К последнему замечанию нам придется еще вернуться, так как последняя эта «вещь» не столь вещественна, как пирожное или волк; но из сказанного и теперь уже ясно, что повествовательная словесность или искусство вымысла направлен-

ностью на «самый знак», на «самоценные слова» довольствоваться во всяком случае не может; *ЭТОМУ* искусству приписать «индифферентности к предмету высказывания» во всяком случае нельзя. Ему нужны не одни лишь неотъемлемые от словесных знаков смысловые корреляты, но и предметные значения, которые слова обретают лишь в живом высказывании, сопрягающем их с другими словами или с уточняющими ситуацией действиями говорящих лиц. Внутри языка, как его определил Соссюр, внутри языковедами изучаемого языка ничего этого нет; то, что они изучают, то и в самом деле индифферентно к предмету высказывания. Вот почему не без недоумения читаем мы дальше, на той же странице тех же пражских «Тезисов»: «Сам сюжет представляет собой семантическую композицию, а потому проблемы структуры сюжета не могут быть исключены из изучения поэтического языка». Ведь сюжет из знаков не состоит, а состоит из того, к чему эти знаки, за пределами языка, относятся; не из смысловых коррелятов или «означаемых», таких звукосочетаний, как «волк» или «война», делающих, внутри языка, эти звукосочетания понятными, а из самих, так сказать, волков и войн. Внутриязыковая семантика, т.е. учение о дифференциальной осмысленности языковых знаков, о их взаимнообусловленной и взаимноограниченной «ценности» или значимости (*valeur*), та семантика, внутри которой сохраняет силу соссюровский принцип «*ce qui distingue un signe, voilà tout ce qui le constitue*» ничего с этим общего не имеет. Называть сюжет семантической композицией попросту невразумительно; столь же невразумительно, как включать его изучение в изучение поэтического языка. А в связи с этим затуманивается и столь ключевое — казавшееся сорок лет назад еще более ключевым — но постоянно готовое увянуть от неясности понятие структуры.

Функциональную лингвистику можно отличать от структуральной, но и понятие структуры применительно к языку было разработано в Пражском Лингвистическом Кружке; а с другой стороны не только там и не одним Якобсоном стало применяться оно и к анализу литературных произведений. Словечко это, «структура», все еще принадлежит к числу модных, и у многих поэтому слетает с уст совершенно зря (особенно во Франции, куда эта мода пришла с большим опозданием); но обойтись без него было бы нелегко, и нет никакого осно

вания его изгонять ни из языкознания, ни из литературоведения. Весь вопрос только в том, нет ли натяжки или произвола в однородном его понимании там и тут; в сближении, например, «структуры сюжета» с языковыми структурами, или — языкознания не покидая — смысловой структуры слова с такой же структурой предложения, отнюдь не сводящейся, как логике давно известно, к сумме образующих его смысловых единиц. Сюжет, разумеется, нечто осмысленное; но ведь недаром по-русски и на всех главных европейских языках говорится о смысле предложений, о смысле (или значении) слов — чем уже смешиваются вещи очень разные — но все-таки не о «смысле», а скорей о «содержании» романов или рассказов. Есть ли смысл говорить о «смысле» «Войны и мира»? А если есть, то «смысл» совсем другое будет в разговоре этом значить, чем когда мы заговорим о смысле слова «война» или слова «мир». И недаром, с другой стороны, языковеды чаще всего — и вполне справедливо, как мне кажется — полагают, что предмет их науки (или во всяком случае семантики как отрасли ее) не распространяется на языковые единицы более крупные, чем, по французской терминологии, фраза т.е. синтагма еще не составляющая предложения.

Р. О. Якобсон, однако, не только языковед, и не только в языковедении структуралист; прислушаемся ближе к его доводам; может быть с точки зрения, если не словесности вообще, то искусства слова или поэтической речи, предлагаемое им расширение структурально-языковедческих компетенций окажется все-таки оправданным?

3. Структура смысла и структура языка

Через тридцать лет после пражских «Тезисов» он писал в одной из известнейших своих работ «Лингвистика и поэтика» (подводящий итоги доклад, closing statement, на съезде литературоведов и лингвистов в Блумингтоне, 1960, переведенный на несколько языков): «Поэтика имеет дело с проблемами словесной структуры, точно также, как анализ живописи с живописной (pictorial) структурой. А так как лингвистика есть общая наука о словесных структурах, то поэтику можно рассматривать как составную часть лингвистики». Боюсь, что этот силлогизм страдает тем, что в логике называется учетве-

рением терминов. В сравнении с живописью, самом по себе, ничего ошибочного нет, но двусмысленность (или вернее многосмысленность) понятия «структура» им то как раз и обнаруживается. Ведь не только возможно, но и методически необходимо отличать структуру картины (painting, Gemaelde, tableau) независимо от того, изображает ли она стог сена или Мадонну, от структуры изображения (picture, Bild, image), анализируемого как изображение (т.е. в связи с изображенным), а также от целостной структуры соответственного произведения — Клода Моне или Рафаэля — анализ которого, если не остановится на полпути, непременно окажется подконец направленным на взаимоотношение тех двух частичных, искусственно обособленных структур. И в силу тех же причин следует отличать структуры, хотя бы и семантические, но изучаемые лингвистами не со стороны смысла, а лишь со стороны *несения* смысла приспособленным для такой цели фонематическим или грамматическим аппаратом, от структур вообще не знаковых, а лишь воспринимаемых или имеемых в виду через посредство знаков. При учете этого различия уже не будет сомнению подлежать, что если литературоведение и может идти рука об руку с лингвистикой (отнюдь, однако, с ней не отождествляясь) в изучении языка литературных произведений, и в частности структур этого языка, несущих смысл, в их взаимоотношении со структурой самих этих несомых ими смыслов, то «смыслы» — или тут уже скорей «содержания» — находящиеся за пределами знаковой ткани языка, лишь издали, сквозь предметные значения слов, повествующей о них (сюжетными или тематическими можно их назвать), изучаться теорией литературы могут и должны вне содружества с лингвистикой, совсем независимо от нее. Структуры есть, конечно, и тут, но совсем другие, и словесными или языковыми их называть никакого основания нет.

Различия этого совсем не заметить невозможно, признает его и Якобсон, но (как это и вообще повелось) не придает ему достаточного значения. Он сразу же после своего не до конца продуманного силлогизма, силу его (по нашему мнению мнимую) ограничивает ссылкой на возможность превращения романа в полунемой, а то и немой фильм, или замены повест-

¹ См. Т. А. Sebeoc (ed.), *Style in Language*, 1960, p. 350.

вования — легендарного, житийного, например — серией фресок, иконных «клеим», рельефов, миниатюр; при сохранении чего? Того самого — как он этого не видит? — что словесно-языковому анализу одинаково недоступно в романе, как и в фильме; в тексте жития, как и в изображениях заменяющих этот текст. Если же и согласиться с ним, что в этих случаях анализ останется подсудным семантике или семиотике (в смысле общего учения о знаках), то ведь анализируемые в качестве знаков зрительные образы словесными от этого не станут, и тогда причем же тут лингвистика? Не только в таком рассуждении недооценивается разница между переводимостью «Войны и мира» и непереваемостью лирического стихотворения, как и многих пословиц или афоризмов, но и вовсе не учитывается еще более очевидное и все-таки постоянно теряемое из виду различие между языком (поэтическим или нет) и языковыми произведениями, Sprachwerke, как литературными, так и всякими другими. Эти последние лингвистика ведь и не покушается изучать (покуда не видит в них свидетельств о языке), не анализирует состава и структуры поваренных книг или космографических трактатов. Нет у нее для этого средств, как и нет их, чтобы изучать те «семантические композиции», что зовутся сюжетами, да и всё вообще, что внутри «изящной словесности» относится к искусству вымысла, а не к искусству слова.

Тут требуется оговорка. Совсем бесцветным, бескачественным языком (т.е. языком качества которого безразличны) вымысел излагается редко; а если романист (Стендаль, например) к такой бесцветности — прозрачности! — стремится, то для соответственного диагноза у лингвистики средства есть, хоть и будет он плодотворен лишь в связи с анализом самого вымысла, доступным не языковедению, а лишь некоторым способным перешагнуть за его пределы языковедам. Жирмунский² был не совсем прав, когда утверждал, возражая много лет назад Якобсону, что в романах словесный материал «нейтрален», и Виктор Эрлих справедливо упрекнул его за это в чрезмерном упрощении. Существенно, однако, что даже в тех случаях, когда язык романа с максимальной настойчиво-

² См. В. М. Жирмунский. Вопросы теории литературы (1925) стр. 123 и V. Erlich. Russian Formalism (1955) p. 74.

стью требует нашего внимания, он все же вымыслом от этого не становится, а лишь рискует его вытеснить, собой его не заменив. И еще существенней (в смысле ограничения прав лингвистики), что даже и вне «эстетической функции» мы не можем никакой Sprachwerk, будь то Свод Законов, История Государства Российского, Подарок Молодым Хозяйкам или хоть аптекарский рецепт счесть «просто» языком, какие бы функции мы ему в различных этих случаях, следуя Якобсону, ни приписали. Членения этих текстов ни из их языка, ни из языка вообще не вытекают, внеположны его законам и вообще не относятся к нему. А с другой стороны, ведь и там, где об эстетической или поэтической функции языка вполне уместно говорить, наблюдаются черты, наблюдаются именно структуры, вовсе не языковые, вовсе языком не предначертанные. Даже ведь и «композиция лирических стихотворений» (вспоминая книгу Жирмунского, тех же давних времен, тоже, как и ранее упомянутая его книга, переизданную теперь, и опять таки лишь за рубежом) прямого отношения к языку этих стихотворений вовсе не имеет, хоть они то уж конечно чистейшие создания искусства слова, а значит (для влюбленных в лингвистику литературоведов) «сделаны» из слов, из языка. Все эти песенные или строфические формы, рефрены, репризы, кольцевые построения, концовки — музыковедению все это и впрямь знакомо, но разве все это ведомо языкознанию?

Те, кто не пожелают с нами согласиться, вольны поставить нам на вид, что аргументы наши вглубь не идут. Шитье и кройка, скажут они, тоже вещи разные, преподаются однако, и не без основания, на тех же курсах. И если реторику понимают теперь, как и стилистику (которую и трудно по другому понять) исключительно как учение о шитье, то древние неизменно включали в нее и кройку (ораторской речи), да и совсем недавно еще в старших классах французских лицеев, называвшихся *Rhétorique*, будущих бакалавров образцовыми выкройками наделяли, весьма полезными для дисциплины мысли при составлении отчетов, докладов и других письменных работ. Так что дело, скажут нам, лишь в том, что критикуемое нами определение поэзии как функции языка не для всех отделов поэтики одинаково пригодно, оставаясь, однако, вполне пригодным для первого, основополагающего, для теории поэтической речи. — Не стоит смешивать логику с педагогикой,

да и менять находу определения, вряд ли, ответим мы, удобно. Всего важней, однако, что и сама поэтическая речь, свободная от вымысла и за вычетом всех накладываемых на нее неязыковых структур, все-таки определению этому не отвечает. Не отвечает прежде всего потому, что речь не то же самое, что язык.

4. Лингвистическое различие

Мы, конечно, этими двумя словами пользуемся сплошь да рядом вперемешку, но смешение становится недопустимым, когда речь идет о разграничении поэтики, имеющей дело с речью, и лингвистики, послесоссюровской особенно, имеющей дело только с языком. (Замечу, оглянувшись на мною изреченное не без запинки, что «идет» — или «течет» — только речь, отнюдь не язык, и, что речь пользуется языком, тогда как о языке нельзя сказать, чтобы он пользовался речью). Если свести два давних, но отнюдь не отмененных якобсоновских афоризма к одному (что, я думаю, вполне законно) и считать поэзию языком «индифферентным к предмету высказывания», то прежде всего следует поставить себе вопрос, что означает здесь «язык»? Как надлежало бы перевести это слово по-французски — *langue* или *langage*? Со знаменитым (в те годы еще не столь знаменитым) «Курсом» Якобсон и тогда уже несомненно был знаком, но различия этого — на котором построен весь «Курс» — ни тогда, ни позже во всем его значении не учел, что не могло его не привести, да и, по его следам или независимо от него, все зачарованное лингвистикой литературоведенье привело к весьма опасной противоречивости или досадной шаткости самых основных концепций. Можно, в силу того, что я отныне буду называть *лингвистическим различием*, методологически изъять слово или речь, из того, что зовется языком; но понятие этим способом уточненное и суженное, если и будет пригодно для лингвистики, в определенном ее аспекте, то для поэтики, тем самым, утратит всякую пригодность, или же пригодно будет лишь для такой, которая поэзию посадит за решетку, — за решетку своих собственных, только ей нужных подсчетов, схем и диаграмм. А всякое живое слово о поэзии, при этом сказанное, т.е. слово, что-то объясняющее в ней, будет означать незамеченную исследователем отмену лингвистического различия и соскаль-

зывание его мысли к недифференцированному, старому, включающему в себя слово, речь и полновесный смысл, понятию языка.

Соссюр, с доступной лишь гениям определенного (скизофренного) типа односторонней остротой, выделил, пользуясь различием, уже намеченным во французском языковом обиходе, из общего, довольно расплывчатого и с трудом поддающегося уточнению понятия *langage* (дар речи, присущий человеку, способность изъясняться словами, а в расширенном понимании и другими знаками, независимо от того, образуют ли они систему или нет) более узкое и четкое понятие *langue* (русский язык, китайский язык, всякая в обращении находящаяся или находившаяся лексико-грамматическая система). Это понятие языка-системы или системности языка он от всех конкретных применений обособил, и показал, что именно оно должно лечь в основу строго-научного языкознания. Языковая система (*langue*) — можно назвать ее и аппаратом — со всеми структурами ее образующими и изучаемыми лингвистикой, состоит, конечно, на службе у речевой способности или деятельности (*langage*) и, внутри нее, у речи или слова (*speech, Rede, parole*). Система эта служит человеку для оформления, выражения и сообщения его мыслей (в самом широком смысле слова, включающем и все осознанные, ставшие мыслью ощущения и чувства), но сама она внеположна этим мыслям, *индифферентна к предмету высказывания*; не о поэзии, а именно о системе языка с полным правом можно это сказать (и очень может быть, что формула эта как раз и внушена была Якобсону лингвистическим различием, перенесенным в область, Соссюру совершенно чуждую). Система слов и словосочетаний, в отношении к слову, индифферентна; язык речи не предрешает; оттого знаки, его составляющие, и обладают лишь потенциальным смыслом, смысловым коррелатом, начертанным, как мы видели, на их обратной стороне (тогда как потенциальная осмысленность фонем, из которых они состоят, еще гораздо менее определена). Актуальный смысл получают эти знаки только, когда ими пользуется речь.

Речь пользуется ими, пользуется вообще языком по-разному, в зависимости от различия выполняемых ею заданий или функций. Различие функций принадлежит именно ей; языку (*langue*) приписать его нельзя. У языка есть только одна

функция: предоставлять в распоряжение говорящего лица и его речи свою систему. Поэтому Якобсон, когда он, выступая на Блумингтонском съезде, предложил свою, имевшую столь широкий успех классификацию функций языка, мог иметь ввиду только язык (*langage*), в широком смысле слова, включающем речь (его переводчик на французский язык, бельгийский лингвист Рюве именно словом *langage* — а не *langue* — это английское слово и перевел). Но тут противоречие и получилось. Речи, в поэтической ее функции, оказалось приписано то безразличие к изреченному, которое ей-то как раз, в отличие от системы языка, приписывать и нельзя. «Установка на сообщение как таковое, — сказано тут, — сосредоточение на сообщении ради него самого, это и есть поэтическая функция языка». Термин «сообщение» (*message*) заимствовал Якобсон из теории информации (или связи), но это несколько делу не помогает, а вносит лишь дальнейшие неясности: ведь «Илиаду» или «Отелло» назвать сообщением трудно, да немногим легче и «Оду к соловью». Правда, о произведениях здесь не говорится; не о поэзии сказано, как сорок лет назад, что она — «язык в его эстетической функции», а гораздо точнее говорится о поэтической функции языка (т.е. речи), которая преобладает в поэзии, но осуществляться может и вне поэзии (так что поэзия — отметим это — уже не «просто язык», даже и в этой функции его). Зато все прочее осталось без перемен. Если формулировка не совсем прозрачна, то наблюдалось это и прежде (направленность «на самый знак», на «словесное выражение» в пражских «Тезисах», или, у Томашевского, «сами слова»). «Само сообщение», это на худой конец, мог бы быть и его смысл; но из всего контекста следует, что это как раз сообщение за вычетом смысла, все та же его «индифферентность к предмету высказывания». Поэтическая функция речи состоит таким образом в передаче безразличных к сообщаемому, а значит все равно что и лишенных его сообщений. Другое было бы дело, если бы нам сказали, что сообщаемое тут неотделимо или не вполне отделимо от того, как оно сообщено. Не это нам, однако, говорят. И выходит, что речевая эта функция мало чем, а быть может и вовсе ничем не отличается от другой, в просторечии называемой чесаньем языка, и за которой Якобсон в той же своей прославленной — и справедливо прославленной, на редкость богатой

мыслями (этого я и не думаю отрицать) — работе закрепил придуманную этнологом Малиновским забавно педантическую кличку *phatic communion*.

Parler pour ne rien dire, говорить «просто так», для общения без сообщения (или, вернее, при таком сообщении, где его «что́ и «как» одинаково сами по себе неинтересны), пусть и вполне человечно (мы все знаем, что́ такое «перекинуться словом» или о погоде потолковать), но для поэзии, как будто, маловато, да и поэтический язык тут, конечно, не причем. Если в поэтической речи *как* что-то сказано не менее важно, чем *что* именно сказано, то объясняется это не ее безразличием к этому «что́», к ее предмету, а особым характером самого предмета, крайним его *небезразличием* к тому, как он будет высказан. Русское слово «безразличие» антропоморфно, окрашено чувством, которое в «индифферентности» отсутствует; но и строго логически, строго технически назвать поэтическую речь индифферентной к тому, что ею изрекается, непозволительно. Совсем напротив: она целиком высказываемым ею, не то чтобы даже окрашена, а насквозь окачествована, во всех своих качествах predetermined. Она вся — ради него. Без этих ее, каждый раз иных, приноровленных к новому высказыванию качеств, оно, высказываемое это, осталось бы невысказанным. Да и можно ли себе представить, что поэзия когда либо возникла или возникала бы еще сейчас из одной игры означаемыми безо всяких означаемых, или даже с одними *signifiés*, достаточными для узнавания и различения, как голое говорение ни о чем или все равно о чем, и которым ровно ничего не было бы сказано? Поскольку она повествует, у ее слов должны быть предметные значения, а тем самым и соответствия вне языка (не *meaning* только, а по терминологии Гардинера *thing meant* или, по другой терминологии, *reference*); но даже и при полном отсутствии вымысла, слова ее должны обладать, в придачу к их смысловому корреляту в языке, еще и актуальным смыслом, включаемым в них речью; да и без предложений (смысловая природа которых совсем другая, чем у слов) не обходится речь даже и в лиричнейшей поэзии, хотя тут слова и соседства слов бывают нередко важней предложений. Вот почему старейшая формула Якобсона об индифферентности поэзии к предмету высказывания кажется

мне лучше всех прочих: всего отчетливей она противоположна истине.

Что же до новейшей, то она едва ли не наименее остра. Характеризует эту формулу слово *message*, сквозь теорию связи заигрывающее с кибернетикой. Оно встречается уже и в первой фразе Блумингтонского доклада, сразу после вступительных замечаний: «Поэтика в первую очередь занимается вопросом, *what makes a verbal message* произведением искусства?» После чего сказано, что она ищет определить отличие словесного искусства от других искусств и от других видов словесного поведения (*verbal behavior*). Последний термин, ласкающий слух бихевиористов, которых среди американских психологов и языковедов было в 1960 году больше (сдается мне), чем сейчас, совершенно тут, по правде сказать, излишен, и с кибернетическим ни в какой особой дружбе не состоит, а этот последний определенно враждует с понятием произведения искусства, как и с мыслью о сосредоточении на «самом» этом *message*, подразумевающей интерес не к его смыслу, а к его словесному облику. Недоумеваю я, должен сознаться, зачем этот большой ученый, всеми, и мной в том числе, по заслугам почитаемый, считает нужным хотя бы лишь терминологически подмигивать теории информации, всякому искусству совершенно чуждой. Поэтическое произведение может меня, конечно, о многом информировать, но лишь косвенно, через умозаключения на основании тех или иных, к существу его речи не относящихся признаков или симптомов; «сообщает» же оно мне то самое не-фактическое, или не чисто фактическое, чего теория информации не терпит, называет избыточностью (*redundance*) и повелевает из подсудных ей сообщений изгонять. Существуют, правда, теоретики (впервые, как-будто мысль эту высказал во Франци *Abraham Moles*), считающие, что произведение искусства извещает, «информирует» нас о своей новизне, и что в этом его суть и состоит; все остальное в нем — излишек, принципиально устранимый, и при оценке не принимаемый в расчет. Таких взглядов, однако, (в Германии к ним близок Макс Бензе) Якобсон, сколько я знаю, к своим не присоединял. Но раз мы этого рода коротким замыканием не соблазнились, зачем же нам и привлекать к нашим трудам о поэзии, о словесности, о невыхоленном человеческом слове электронную эту терминологию?

5. Что сообщает нам поэзия?

По-русски, к тому же, мы ведь применили для перевода технического и в интересах техники созданного термина *message*, гораздо менее техническое слово, которому есть точный эквивалент и в английском языке — *communication*, сообщение; и существо вопроса от этого несколько не изменилось. Но конечно и не разрешили мы этим вопроса; мы только с ним вернулись на старую, хорошо утрамбованную площадку литературных споров, которую и Якобсон мог бы в сущности — я хочу сказать без вреда для ясности своих взглядов — не покидать. Мнение его о поэтической речи, о поэзии могло бы быть выражено и так: она что-то сообщает, но сообщение в счет не идет; важен — в литературе, в поэзии — лишь способ сообщения. Это звучит знакомо и возвращает нас ко временам, по части теории информации совершенно невинным.

Ведь и сам Якобсон в 21-ом году, не подозревая о кибернетике (и не нуждаясь в бихевиоризме) писал, что поэзия «управляется, так сказать, имманентными законами: функция коммуникативная, присущая как языку практическому, так и эмоциональному, здесь сводится к минимуму», — чему он остался верен и через сорок лет, хоть и допустив на этот раз, что при господстве, в поэзии, поэтической функции языка, к сообщенному безразличной, все же участвует — в лирической поэзии «эмотивная» функция, а в эпической практическая (называемая теперь *referential*), которые обе, разумеется, коммуникативны. Но подобные взгляды и без того высказывались не раз; даже и общепринятыми нынче можно их назвать. Сходным образом, но более радикально, высказался, например, один из виднейших представителей американской Новой Критики (теперь уже далеко не новой) *Cleanth Brooks*, в известной статье, впервые опубликованной больше четверти века назад «*What Does Poetry Communicate?*»

По его мнению, поэзия ничего не сообщает; а если в иных стихотворениях кое-что, все-таки, сообщено — он до этого весьма тонко проанализировал «*Corinna's Going A-Maying*» Роберта Херрика — то поэзия их не в этом, и не за это мы их оцениваем как поэзию. Он мог бы прибавить, что поэты (нынешние, по крайней мере) часто думают так и сами. *W. H. Auden*, в студенческие свои годы, по свидетельству Стивена

Спендера, друга его тех лет, объявил все относящееся к сюжету или теме стихов, вешалкой, лишь к тому и пригодной, чтобы нацеплять на нее поэзию. И еще решительней расправился со всяческим «предметом высказывания» Арчибальд Мак-Лиш (MacLeash) знаменитым финалом своей *Ars Poetica*. «A Poem should not mean / But be», который я «презренной прозой» передам «незачем стихотворению иметь смысл: пусть бы лишь нравилось, этого достаточно»; сомнения ведь нет, что стихотворение забракованное им — свое или чужое — поэт не задумается объявить несуществующим, лишенным (поэтического) бытия.

Любое высказывание такого рода можно так истолковать, что оно покажется оправданным, будучи все-таки неверным. Смысл стихотворения на отъявленно прозаические смыслы, конечно, не похож, но отсюда не следует, что у стихов есть некое (поэтическое) бытие независимое от этого «непохожего» их смысла. Из сюжета или сюжетного матерьяла (*subject matter*) и вешалки не сделаешь, покуда не совлек он с себя старую (если она была) словесную плоть и не стал облекаться новой, оттого что «вешают» поэзию не на сюжет как таковой, а на сюжет поэтом по-своему воображенный. Поэзия ничего нам не сообщает, о чем бы нас могла информировать непоэзия; но она, тем не менее, сообщает нам себя, — и каждый раз другую, особую себя, свой, каждый раз новый звучащий смысл, от звука (полностью, по крайней мере) не отделимый, но которого и одним звучанием высказать тоже, все-таки, нельзя. И, кроме того, все эти отрицательные формулы неполной ясностью своей компрометируют даже и ту половинчатую правду, которую можно из них выудить.

Не следует смешивать, как это постоянно делается, словесных смыслов разного рода, ни между собой, ни со смысловыми соответствиями предложений, цепи предложений или всего стихотворения. Одно дело осмысленность — а значит и «коммуникативность» — словесной ткани, не отсутствующая никогда (и уж всего менее в прелестном условно-повествовательном и условно увещательном стихотворении, разбиравшемся Бруксом), и другое дело «мысль», выраженная стихотворением, прочитанным до конца: ее может и не быть, верней, она может не поддаться никакой, даже совсем издали указующей на нее внепоэтической формулировке (в стихотворении

Херрика она есть, но его словесная ткань в ббльшей мере образует его поэзию).

Словесные смыслы (к ним относятся и смыслы синтагм, еще не образующих предложения), вообще говоря, господствуют в лирике и в насыщенной лирическим выражением прозе; так что смысл коротких и совсем лишенных повествования стихотворений больше похож на смысл слова, чем на смысл предложения. Но там, где есть малейший «рассказ», хоть какой-нибудь сюжет (всегда высказываемый предложениями, и не сказуемый без слов, не вовсе лишенных вещественных соответствий во внесловесном мире), даже и там, где сведенный к минимуму сюжет представляется еще и крайне банальным («банальнее» т.е. универсальнее любви и смерти вообще ничего нет); даже и там — вспомним хотя бы «Для берегов отчизны дальней» — он все-таки «вешалка» совсем особого рода: составляющая остов того, что на ней висит. Черновик этих стихов (первая их версия, просвечивающая сквозь множество перемен) из эстетики глядя — ничто; пересказ их, оттуда же, — нуль; но Бог с ней, со всей их музыкой, если она не о разлуке, не об утрате, не о безнадежной надежде — «Но жду его, он за тобой...» И если порою лирика совсем обходится без предметного значения слов, то — *entendons-nous*, как говорят французы: без вещественного или пусть еще и без единично-предметного их значения, но понятие «предмет» шире и чем единичный предмет, а не только чем (осязаемая, видимая) вещь: одними означаемыми, одной смысловой подкладкой слов и самая, казалось бы, «беспредметная» лирика жить не может. Она все-таки о смерти, о любви, о войне, о религии говорит, — о них самих, а не о смыслах слов «религия» или «война»; о чем то, быть может, всего только мыслимом, ощутимом, воображаемом, но не о том, что существует лишь в языке и для языка.

Все перечисленные и бесчисленные другие формулы, отрицающие смысл, сообщение, высказывание, не совсем нелепы лишь постольку, поскольку авторы их понимание выносят за скобки, думают, пусть и сами того не замечая, об одной оценке, смешивают поэзию со своим одобрением поэзии. Либо они напрямик свою оценку имеют ввиду (хоть о ней и не говорят), либо — как это делается ради сугубой «научности» в патентованно «передовом» нынешнем литературоведении —

избегают принимать ее на свой счет, но анализируют именно то, чем другие, по мнению аналитика, интуитивно (тут он, тому же идолу в угоду, корчит гримасу) руководились в своей оценке. Какой оценке? Эстетической, конечно. Оценке «как», выключаящей «что»; «формы», а не чего другого. Тут, однако, могут меня спросить — не те, с кем я спорю, а старомодные, прежние: но ведь существует, как будто, и эстетика содержания? Отвечу: была; нет ее больше; да и незачем ей быть. Как бы содержание ни определять, все, что не форма — это еще Кроче очень хорошо увидел — эстетику не интересует. Пусть форма есть всегда форма чего-то, пусть искусство без этого чего-то немыслимо, но суть эстетики (в отличие от философии или теории искусства, от науки об искусстве, которую научились от нее отделять) в том то все же и состоит, что она всяческое «что» от формы и тем самым от искусства отличает. Это и есть тот особый акт сознания, та интеллектуальная операция, которую один современный философ, превосходно ее описав, назвал «эстетическим различением»³, и которая легла в основу всех взглядов, резюмируемых утверждением, что поэзия, как и всякое искусство, существует (нам на радость, конечно), ничего не высказывая, или оставаясь к тому, что ею — случайно, нечаянно или неизвестно почему — высказано, как поэзия, как искусство, совершенно равнодушной.

Оттого то и выносятся понимание за скобки: эстетика ему не противится, но необходимым его не почитает, во многих случаях может обойтись без него, а если его и требует, то структурного понимания, а не смыслового. Легче всего это разъяснить на примере музыки. Можно довольствоваться слышаньем ее, и можно, слушая, вслушиваясь в нее постигать ее внутреннее устройство; Vernon Lee, после анкеты, произведенной ею, различала, в этом смысле, *hearers* и *listeners*. Эстетически вполне оправдано уже и первое восприятие, раз оно допускает эстетическое «да» или «нет», но возможно, все еще на эстетическом основании, требовать и полного проникновения в структуру сложных музыкальных произведений. Далее, однако, разница между музыкальными произведениями,

³ Die *aesthetische Unterscheidung*. Hans-Georg Gadamer, *Wahrheit und Methode*, 1960, S. 81.

пусть и безусловно, и очень сложно, и даже по-новому структурированными, но совершенно пустыми (какою бывает, например, музыка, сочиняемая дирижерами, *Kapellmeistermusik*), и столь же искусно построенными, но ощущаемыми слушателем как выражающие, высказывающие нечто, чему отвечает в нем самом волнение, не вызываемое пустотой, — разница эта эстетически неуловима, потому что понимание высказанного, хоть и не передаваемого словами, выходит за пределы эстетического различия, превосходит, зачеркивает его.

И точно также в живописи — структура картины, «живописная» структура постигаемая при эстетическом различении, которое как раз ведь ее и отделяет от того, что на картине изображено (поскольку она изобразительна, а не беспредметна); но именно потому и делает структуру изображенного (не до картины, а в ней), а значит и ее связь со структурой картины эстетически непостижимой. Выносить понимание за скобки — смысловое, конечно, но куда входит и понимание смысловых структур — остается, без сомнения, и в живописи, и в музыке, и в поэзии, методологически допустимым, необходимым даже, но именно на срок, «в пути» («метод» значит «путь»).

Даже в поэзии возможна оценка до понимания (до понимания поэзии, а не до простого узнавания слов, образующих ее), оценка именно предварительная (покушения с негодными средствами обнаруживаются уже ею); но все попытки тактики ею и удовольствоваться приводят всего лишь либо к прямому конформизму: «грамотность налицо, стихотворная и простая», «сонет сделан по всем правилам»; либо к вывернутому наизнанку: «в нем тринадцать строк, ура!», или попросту: «ново!». Тут оценке и венец, и конец. Мы уже причалили незаметно к тем берегам, где музы не живут, и жители которых полагают, что любому произведению искусства только и надлежит информировать нас о своей новизне, а нам, информацию проверив, раскланяться с автором и перейти к очередным делам.

6. Эстетическое различие

Все это возвращает нас далеко назад: эстетическое различие не вчера придумано. Мы, однако, к отдаленному прошлому (Баумгартену, Канту) возвращаться не будем; вернемся

лишь к близкому сравнительно и русскому. Эстетикой у нас в прошлом веке и в первые годы нашего, если и занимались, то, хоть и менее гениально, но столь же широко и «наивно», как, с точки зрения нынешней лингвистики, Гумбольдт занимался языком. Не ею, а философией искусства, называя ее эстетикой, занимались; как некогда Гегель в своих «Лекциях по эстетике», — где он, впрочем, об этом, в предисловии, прямо и говорит. Теория литературы и вовсе у нас не процветала, а от ее истории, еще и в начале века, в школьном и даже университетском преподавании ее, веяло унылым стасюлевиче-пыпинским, шестидесятническим, в своих источниках, духом.

Но и такие, совсем иного духа, да и просто образования люди, как Вячеслав Иванов, Белый, Брюсов, — не знаю, как они отнеслись к яacobсоновской формуле 21-го года: «Поэзия, это просто язык в его эстетической функции», но уж, конечно за десять лет до того были бы ею до крайности удивлены. «Просто языком» были бы удивлены, но пожалуй еще больше «эстетической функцией», тут же противопоставившейся функции «коммуникативной» и объявлявшейся «индифферентной к предмету высказывания». Как они поэтикой ни интересовались, какого страстного внимания стихосложению во всех его аспектах ни уделяли (кто же до Вячеслава Иванова сумел бы так, как он, прочесть пушкинских «Цыган»?), каким даже и экспериментаторством (Брюсов), какой статистикой (Белый) ни занимались, они все-таки (включая и Брюсова, столь склонного давать самому себе заказы и ремесленно их выполнять, по рецептам своим и чужим) решительно не были готовы поэтику предпочесть поэзии, объявить поэзию прикладной поэтикой. Потому что, хоть и грубо это звучит, глуповато пожалуй даже на иной слух, а именно этот упрек формалисты наши и заслужили. Не по какому-то их новоиспеченному чудачеству, а просто вследствие того, что «формализм», это тот же эстетизм, хоть и другого пошиба, чем у Пэтера или Уайльда. То самое он, что уже сто лет назад Конрад Фидлер имел в виду, когда, не по поводу литературы, а по поводу живописи и скульптуры говорил, что готов признать «искусство для искусства», но отвергает «искусство для эстетики».

Все главные наши формалисты были, как я уже сказал, знающие и талантливые люди. Некоторые, как Шкловский, отчасти Тынянов, были и писательски одарены (хотя в скобках

скажу, что романы Тынянова написаны, на мой взгляд, из рук вон плохо) и литературу все они, без сомнения, горячо любили, — разве только, что свой метод еще горячей любили, чем ее. Четырех из них я знал лично, хоть и очень поверхностно; немножко ближе лишь милого Эйхенбаума, чья книга «Сквозь литературу», подаренная им незадолго до моего отъезда за границу, хранится у меня с его надписью: «В память встреч и бесед». О чем я с ним беседовал, я, разумеется, не помню; но помню, что мне всегда хотелось вернуть его мысль к ранним его статьям (как раз в этой книге и перепечатанным), не потому, чтобы они были лучше более зрелых (совсем напротив), а потому что переход от них к дальнейшему, мог бы, казалось мне, и не означать полного разрыва с самой их основой. Был найден им и его друзьями вполне оправданный в должных границах «подход» (как тогда любили говорить) к изучению известных сторон литературы и ее истории; но ведь он не равнялся целостному истолкованию литературного или поэтического творчества, не отвечал на вопрос «что такое поэзия», а если ответ подменялся им, то ответ становился ложным, да и самый вопрос затемнялся: пресекалась возможность ставить его всерьез. «Искусство как прием», это не просто заглавие программной статьи Шкловского, которую он мог еще в 25-ом году безнаказанно воспроизвести в качестве введения к сборнику своих статей, озаглавленному «Теория прозы» (как начертано на обложке) или «О теории прозы» (как значится на титульном листе). Статьи с интересом и пользой всякий прочтет и теперь; но их заглавие — лозунг, и лозунг в своей двусмысленности сомнительный.

Сперва искусство, потом эстетика; сперва поэзия, потом поэтика. Это не хронология только, но и логика. Это нормальное положение вещей. Бывают времена, склонные порядок этот нарушать; никогда, даже в позднем эллинизме, не нарушался он так часто, как в наше время; но сколько-нибудь значительная поэзия вряд ли когда-нибудь рождалась из одного лишь учета своих теоретических возможностей. Как риторика предполагает оратора, так и поэтика предполагает поэта, выслушивает его (если чего-нибудь стбит, то именно выслушивает, даже и сквозь типографскую краску), а затем, констатирует эффекты и регистрирует приемы, которыми, по ее мнению эффекты эти были и снова могут быть произведены.

Риторика и поэтика были до недавнего сравнительно времени дисциплинами нормативными: предписывали, а не только описывали; но предписывали они во имя всеми признаваемых канонов ораторской или поэтической речи, и каноны эти мыслились отнюдь не в отрыве от внеэстетических (жизненных, скажем, не столь отчетливо специализированных) задач той или другой. Кроме того, предписания эти всегда понимались как относительные, допускающие отступления, а главное, соблазна не внушали считать их существом поэзии. Эстетика (общая и в своих подотделах) стала подменять искусство, как раз с тех пор, когда (двести лет назад, но последствия сказались позднее) она перестала быть конкретно нормативной, и затем, впервые полностью проведя эстетическое различие, себя — не такие то приемы и эффекты, а наличие любых описуемых ею приемов-эффектов — объявила искусством, все прочее отнеся к подлежащему вычету «предмету высказыванья». Недаром Гете, опасность тотчас ощутивший, так возненавидел самую мысль об эффекте или эффектах, враждебную, как он сразу угадал, всякой *Gestaltung*, созданию целостной и одушевленно формы (*Gestalt*), в которой изображенное и выраженное неразрывно слиты воедино. Недаром так до преувеличения подчеркивал, наперекор обычным нынешним взглядам, значение всяческих, даже самых, казалось бы, банальных, тем, сюжетов, мотивов. Он знал, что они — отдельно взятые — лишь предпосылка для художника, но неотменимая, и вешалкой их никогда не согласился бы назвать.

Для эстетики, однако, которая срезает эстетический объект со всего того, чем он, будучи произведением искусства, вскормлен и наполнен, ничего, так сказать, до-эффектного просту нет. В силу различия, произведенного ею, она всецело на стороне читателя, слушателя, зрителя, на стороне восприятия; да еще и в самом восприятии, не на стороне понимания, а на стороне оценки. Оценка необходима, она не отсутствовала никогда, художник, поэт сам — первый оценщик своих творений. Чтобы их оценить, он должен быть способен поглядеть на них «со стороны», и даже — на минуту — произвести то самое (по существу все же искусственное, хоть искусству и нужное) различенье; он так всегда и делал; на практике различие, не становясь принципом, всегда существовало; но если в наше время он слишком часто в угоду

различенью, в угоду этой заранее учитываемой оценке, организует собственную свою «продукцию», то происходит это в результате подмены искусства эстетикой, поэзии поэтикой. «Искусство как прием», провозглашение точки зрения и метода исследования, становится провозглашением лжи, сводящей искусство к совокупности приемов, или верней, эффектов, — потому что видим мы только их, только из их наличия заключаем о применении приемов.

Метод оправдан, но не абсолютизация его, не возведение метода на престол истины, которое как раз и делает его ложью. «Поэтика приема» звучит вовсе неплохо; «поэзия приема» звучит плоско и суетно. Если бы Jakobson в 21-ом году написал «Поэтика не интересуется предметом высказывания», «Поэтика рассматривает поэзию, как если бы она была особой функцией языка», мы утверждения эти не отказались бы — временно, скажем, и оговорив их неокончателность, — принять; не отказались бы, оттого что изучение поэзии (и литературы вообще), при таком подходе к ним, как нас убеждают работы того же Jakobsona, того же Шкловского (двадцатых годов) и других, отнюдь нельзя назвать бесплодными. Но ведь Jakobson говорил о поэзии. Но ведь Шкловский, куда не заставили его по другим нотам запеть (а с пеньем не спорят, да и о нотной тетрадке, в полицейском управлении напечатанной, лучше помолчать), искусство не просто «рассматривал» как прием, но и знак равенства склонен был ставить между искусством и приемом.

Рассматривайте, что же, в добрый час; кое-что и рассмотреть при этом вполне возможно. От возражений, какие чаще всего вам делались, легко отделаться. «Всякий от первого до последнего, от поэта до кондитера — писал Гоголь в «Арабесках» — топорщится произвесть эффект» и выражал надежду, что его век обратится наконец «ко всему безэффектному», — в ответ чему сторонник «поэтики приема» всегда может объявить «безэффектность» нулевым, но столь же действенным, как и любой другой, приемом. И если верно, что во французском языке слово «прием» (*procédé*) давно уже приняло с трудом устранимый порицающий оттенок, то ведь ничто не мешает этот оттенок относить лишь к приевшимся или чересчур заметным, по вине автора, приемам, — что вдобавок (иных противников можно и этим пристыдить) касается критики, но не безо-

ценочно анализирующей науки. Безоценочно? Тут то мы, однако, наукопоклонникам этим, на другой факультет озирающимся, и поставим на вид, что безоценочность их, к эстетическим различием отфильтрованному матерьялу примененная, все равно, не сегодня, завтра, естествознанием будет высмеяна; после чего и мораториум наш мы прекратим, фикции, пусть на срок и полезные, именно фиктивными и объявим. Придется нам вновь при этом обратиться к формуле Р. О. Якобсона, еще не обсуждавшейся нами и талантливой, что и говорить. Оттого мы и обращаемся к ней: петербургские формалисты ничего столь четкого не придумали.

7. Литература и литературность

Все в той же пражской книжечке 21-го года читаем: «Предметом науки о литературе является не *литература*, а *литературность*, т.е. то, что делает литературным произведение». Через сорок лет этому вторит уже приводившееся выше начальное утверждение Блумингтонского доклада: «Поэтика в первую очередь занимается вопросом о том, что именно делает словесное сообщение произведением искусства». Еще точнее было бы в обоих случаях сказать не «литературным произведением» и не «произведением искусства», а эстетическим объектом; эстетическим объектом, как раз в том его от всего прочего отцеженном, на одной оценке, на простейшем «да, годится» держащемся существе, которым он отличается от произведения искусства или от литературного произведения. Ничего ни в том, ни в другом случае, если вслушаться, не утверждается, кроме фундаментального значения и неограниченной пригодности эстетического различенья. Термин «произведение искусства» слегка это маскирует, но ведь кто же, нынче, пользуясь им, что другое имеет в виду, как не эстетический объект? Термин «литературность» своей необычностью прикрывает это немножко лучше, да и вводит эстетический ригоризм в область традиционно наиболее ему чуждую. Но, конечно, провозглашение этого понятия равносильно отделению литературы, причисляемой к искусству — иначе говоря признаваемой поставщицей эстетических объектов — от литературы, не причисляемой к нему. Среди потребителей и даже изготовителей литературных произведений такая «уста-

новка» еще не так давно популярной не была, да и по сей день иные из них литературность смешивают с литературщиной; зато для нынешних адептов структурализма, переносящих его (или полагающих, что его возможно перенести) из языкознания во многие другие области, в том числе и в литературоведение, и установка, и понятие очень приманчивы. Главным образом потому, что подражая лингвистическому еще более, чем эстетическому различенью, они структуру отделяют от смысла, а если и связывают с ним, то при этом обесмысливают смысл: ограничивают его тощим смысловым коррелатом сложно структурированных означающих, превращают в мерцание словесных полусмыслов без всякого «высказанного предмета».

Во Франции, понятие литературности недавно было воскрешено при помощи соответственного неологизма. Болгарского происхождения литературовед Цветан Тодоров, главный просветитель французов по части бывшего нашего, еще не скрученного в бараний рог литературоведения, представив им новенькую эту, хотя и полувековой почти давности, *littérarité*,⁴ тут же и заявил, что для науки о литературе любой литературный текст должен служить лишь образцом тех свойств, которые в совокупности своей составляют содержание этого именно понятия. Такой зачин кратчайшим путем его привел, и не мог не привести, к весьма недвусмысленному методологическому нарциссизму, ясней всего высказанному в утверждении (стр. 163), что наука о литературе существует не для лучшего понимания литературы, а для оказательства самой себя; прибавим: для любования собой и для подтверждения собственной научности. Как если бы математика была чем-то вроде шахмат! Как если бы естествознание не познавало мира или его не изменяло (чем оно усердно занято в наши дни), а довольствовалось бы образцовым оборудованием своих лабораторий и остроумием экспериментов, при полном равнодушии к диктуемым ими выводам. Французский структурализм и вообще отличается от чаще всего очень по-nonsense и matter-of-fact'ной англо-саксонской разновидности его, любопытным артистицизмом, в силу которого убеждаешься немедленно, что Ролан Барт, например, или Клод Леви-Строс (*Lévy-Strauss*)

⁴ См. его главу «Поэтика» в коллективном сборнике статей «Что такое структурализм?» Париж (1968) стр. 102.

пишут блестяще — или верней, роскошно — но зачастую усматриваешь далеко не сразу, а то и не усматриваешь вовсе, что они, собственно, хотят сказать Рокочуще-невразумительное красноречие Лакана (Jacques Lacan, он, правда, не о литературе пишет) таково, что и читать-то его как-то совестно. Притом, один языковед⁵ без долгих слов недавно показал, что все три эти автора (как и ряд других), когда заинтересовались лет десять назад идеями Соссюра, относящимися к общему учению о знаках и стали к своим построениям его терминологию применять, путаница у них получилась постыдная, а идей этих они попросту не поняли.

Но это, в конце концов, лишь частный случай, или эпизод; ко всему структурализму, даже и французскому, это не относится. Другое течение его общей семиотикой не интересуется; к лингвистике относится холодно. Занято скорей воскрешением старой реторики и перетолкованием ее на новый лад. Привлекает, однако, этих ученых в старой реторике, даже, если они этого полностью не сознают, туманное предвосхищение ею лингвистического — и в то же время эстетического — различенья, а перетолковывают они ее в духе всё того же подражания методам точных наук, качество сводящим к количеству и не на единичное направленным, а на общее.

Лингвистическое различение, впервые последовательно проведенное и обоснованное Соссюром, привело в языкознании к обособлению системы языка (*langue*), к четкому ее отделению, как от его истории, так и от всего, относящегося к владению системой, к использованию ее в речевой деятельности, а не к ней самой. Оно тем самым устранило двойную неясность и выделило сложнейший аппарат, в самых мелких винтиках своих нацеленный на смысл, сплошь потенциально-смысловой, и все же до-смысловой, предназначенный служить выражению и сообщению смыслов, каковы бы эти смыслы ни были. Структуру или структуры этого аппарата вполне возможно изучать, не касаясь, хоть и не упуская вовсе из виду, этой его конечной функции и цели. Поэзия, однако, и словес-

⁵ Georges Mounin. *Clefs pour la linguistique* (1968), p. 11.

ность вообще, есть всецело явление речи, пользующейся, конечно, системой языка, но пользующейся ею особым образом, потому что смыслы, по преимуществу выражаемые и сообщаемые ею, суть особого рода смыслы, требующие и особых способов выражения. Способы эти, издавна применявшиеся, сами образовали нечто вроде второй языковой системы, наложенной на первую, отчасти меняющей, отчасти отменяющей ее. Риторика, а вслед за ней, или бок-о-бок с ней, поэтика и стилистика, эту вторую систему и учитывают, описывают, перечисляют ее элементы, анализируют их функции. Но полной аналогии с системой языка и с лингвистикой, изучающей эту систему здесь все же нет. И выводы, которые делаются из частичной аналогии и внушают применение в поэтике лингвистических методов, обманчивы.

Поэзия есть всецело явление речи, и готовый поэтический язык не находится в таком же отношении к ней, в каком система языка (*langue*) находится и к ней, и к нашей речи вообще. Никакой необходимости в ней нет; тогда как без системы языка никто говорящий на нем обойтись не может. Да и элементы ее вовсе такой тесной и многообразной взаимозависимости не знают, какая присуща элементам общей системы языка. Регистрация же их, в качестве приемов-эффектов, как в старой риторике, или в качестве «отклонений от нормы», как это чаще всего делается теперь, хоть и не бесполезна, но существо дела больше затемняет, чем выясняет, потому что в обоих случаях подменяет анализом языка анализ речи: не отличает значимости (т.е. потенциальной функции) исследуемых явлений от их значения (т.е. функции актуальной) в конкретном произведении искусства. Одно дело метафора или другая «фигура», как и метафоричность или «фигуральность» вообще, в языке даже и определенного автора, и совсем другое они же в таком то куске его «фиксированной речи», где метафора может играть роль, входящую, по мнению риторики, в репертуар метонимии, или наоборот, и где, за исключением нарочитой ими игры, никаких «иносказаний» нет, потому что высказывается этой речью, вовсе не требующей расшифровки, лишь то самое, что имело быть высказанным. И уже совсем неправомерно перенос риторических понятий из области слова в область вымысла, где никакой замены одних его элементов дру-

гими, будь то по принципу сходства или смежности, не наблюдается⁶.

Что же до учета «отклонений», то привлекателен он для нынешних литературоведов тем, что качественный анализ позволяет заменить количественным. Любой троп, любую «фигуру», поскольку не вошли они окончательно в литературный или поэтический обиход, то-есть не стали чем-то вполне привычным, относимым к «норме», можно считать отклонением от нее. Качественные различия фигур отступают при этом на второй план, а подсчет таких отклонений у отдельных авторов, в отдельных направлениях, школах или в разные времена, дает цифры пригодные для сравнений. Ради иллюстрации своего метода на историческом материале, произвел такие подсчеты молодой французский ученый Жан Коэн (Cohen) в своей отчетливой и компетентной книге «Структура поэтического языка» (Париж, 1966), отобрав, для трех поэтических эпох французской литературы, трех характерных для каждой из них авторов (Корнель, Расин, Мольер; Ламартин, Гюго, Виньи; Рембо, Верлен, Малларме) и показал, что цифры эти регулярно возрастают. У романтических поэтов отклонений больше, чем у «классических», у недавних трех еще больше. Догадаться об этом нетрудно было и прежде; но теперь, говорят нам, это можно считать «математически» доказанным. Сомневаюсь.

Во-первых, математика хромает, потому что складываемые цифры значат разное (Мольер и Расин, например, не в той же мере или не в том же смысле поэты: та же черта языка не то же значит у одного, что она значит у другого); а во-вторых, само сведение к цифрам неуместно: оно упрощает то, чего не следует упрощать, уравнивает смысл применения разными авторами, в разных произведениях, таких-то образных выражений или отклоняющихся от общепринятого оборотов, тогда как по-настоящему оценить этот смысл можно лишь

⁶ Почему следует считать метонимиями усики первой жены князя Андрея или обнаженные плечи Элен, и в каком смысле эти черты stand for the female characters, которым они принадлежат (R. Jakobson — M. Halle Fundamentals of Language) мне неясно, как и неубедительными мне кажутся аналогичные рассуждения Д. Чижевского в статье «Что такое реализм?», «Нов. Журнал», 75 (1964), стр. 131 сл. сл.

при учете их, особого каждый раз, контекста, их роли в данном высказывании, а не просто их наличия в речи данного автора, оцениваемого с точки зрения той потенциальной функции, которая им приписывается риторикой или стилистикой внутри системы поэтического языка.

Эта последняя истина с редкостной и образцовой остротой (хоть и при другой исходной позиции) подчеркнута в только что вышедшей по-французски (некоторые ее главы и написаны были на этом языке) книге профессора Колумбийского университета Майкела Риффатерра «Опыт структуральной стилистики» (Париж, 1971). Как видно уже из ее заглавия, искуснейший этот мастер стилистического анализа, тоже причисляет себя к структуралистам; однако, понятие «структура» не исключает у него того, что другие относят к «содержанию», теме, сюжету, а главное имеет всегда в виду индивидуальное литературное произведение, а не схемы, лишь прикладываемые к нему, и не приемы или отклонения от нормы, якобы повсюду выполняющие одинаковую функцию. Он очень хорошо знает, что стихотворения, например, пересказать «своими словами» невозможно, понимая вместе с тем, что описать смысловую его сторону, путем установления ее связи, не с какими-нибудь заранее описанными или отдельно описуемыми «фигурами» и «структурами», а с особым их применением таким-то автором, в таком-то произведении его, все-таки вполне мыслимо. Поэзию поэтике он не приносит в жертву. Из языкознания, вполне его уважая, не творит себе кумира, ни в смысле простого включения в него стилистики или поэтики, ни в смысле подражания его методам, основанным на лингвистическом различении.

Языкознание и само начинает как будто терять приобретенное им лет тридцать или сорок назад методологическое самодовольство. Соссюр избавил его от гениальной гумбольдтовской универсальности, но и расплывчатости, выделив понятие языка-системы, которое можно назвать структурным понятием языка, и устранив всё другое из поля исследования, — речь прежде всего, слово, в отличие от слов и от механики словообразования и словосочетания, а тем самым, конечно, и поэтическую речь. Путь к адекватному пониманию ее особенности он как раз этим изгнанием ее и указал, но понят не был. Вместо того, чтобы отталкиваться именно от *этой* лингвистики

(или от параллельной бихевиористской традиции Блумфильда в Америке), поэтика стала слепо подражать ее методологическим установкам, которые нынче, однако, колеблются в ней самой.

Знаменитейший из американских лингвистов младшего поколения Наум Хомский, в основных понятиях своих («порождающей» грамматики например) покидает (едва ли это замечая) систему языка и переходит в сферу речевой деятельности. Но еще интересней тот крутой поворот — или переворот — в лингвистическом мышлении, который наметил, пять лет назад, едва ли не крупнейший из современных французских языковедов Эмиль Бенвенист на 13-ом (посвященном философии языка) съезде французских философских обществ в Женеве, где он прочел вступительный доклад «Форма и смысл в языке».⁷ Главная мысль доклада — различение двух плоскостей (или этажей) в смысловой структуре языка. Для сосюрювской языковой системы важно лишь наличие осмысленности слов и смысловых различий (разного рода) между словами и сочетаниями слов. Что именно слова значат — неважно, не касается языка, находится вне его границ. Наряду с этим, однако, существует смысл высказываний, предложений — я прибавил бы — речи вообще, слова, а не слов, хоть Бенвенист к такого рода терминам, выводящим за пределы *langage*, и не прибегает. Изучение этой стороны языка (в широком смысле выражения «язык») нельзя столь четко обособить, как его внутреннюю (скажем для простоты) механику. Но игнорировать эту сторону тоже нельзя. Бенвенист весьма тонким анализом неопровержимо установил и ее важность и ее особую природу. Поэтика этими мыслями его еще не успела как будто заинтересоваться. Именно они, однако, способны избавить ее от узости слишком поверхностно понимающего структуру языка — и само понятие структуры — структурализма.

Все эти мои замечания никакого запрета не содержат. Анализ необходим, и никакой анализ не плох, пусть хоть самый, что ни на есть структуральный, формальный, скажу даже, формалистический. Все дело в том, как именно он ведется и чего, в конечном счете, добивается. Если направлен он на

⁷ См. акты этого конгресса «Le Langage», Neuchâtel (1967) II, стр. 29-40.

смысловые целые, т.е. на такие, которые человеком наделены намеренно даруемым (хоть и не всегда полностью при дарении этом осознанным) смыслом, то смысл этот при анализе должен быть учтен, иначе произойдет и в самом деле некое умерщвление смысла, обесмысливание этих человеческих творений, вопреки их замыслу и в ущерб восприятию, полностью отвечающему им. Понимание должно предшествовать оценке, и анализ вести к пониманию. Не к пониманию целей, причин, функциональных связей, структур самих по себе (независимых от смысла), как и не к пониманию простых знаковых значений, а к пониманию смысла, вложенного в целое и в самостоятельно осмысленные элементы целого. Предметные значения (слов, например, или элементов изображения в изобразительных искусствах) должны быть предварительно узнаны, структурные взаимоотношения усмотрены (в музыке, например, или в стихе, в строфе), но этого недостаточно: структура не пуста или не должна быть пустой. И не только она не пуста, но и структурирована в соответствии со смыслом, *ради смысла*. К усмотрению этого смысла, к возможно полному пониманию его, анализ и должен нас привести. Пересказать его он нас не научит. Искусство — по Гёте — есть высказыванье несказанного. Но эти высказывания понятны. Оттого то их и можно не понять. Оттого-то учиться их понимать и нужно и возможно.

8. Поэзия и поэтика

Поэтика, — поскольку мы не говорим о нормативной поэтике былых времен или о поэтике такого-то поэта, такой-то поэтической школы, — этому нас и учит. Ее можно назвать учением о средствах поэзии или о средствах поэтической речи. В первом случае, она выйдет за пределы словесного языка вообще; во втором лишь на срок, но не слишком длинный срок, может оставаться в пределах языка (*langue*), противопоставляемого речи, изучая этот именно особый, поэтический язык. В дальнейшем, для нее, как и для общей теории литературы, весь вопрос в том, поставит ли она во главу угла живое слово, высказыванье, поэтическую речь, неотделимую от вложенного в нее смысла, или, застряв в отделенном от речи языке, сказанные уже, прочитанные нами слова, которые мы, не в самом восприятии поэзии (мы бы тогда как раз и не восприняли ее),

но позже, «задним числом» можем, при соответственном ст-раньи, отделить от всего высказанного ими и рассмотреть — словно меж двух стеклышек препарат для микроскопа — как если бы не было ими высказано ровно ничего. Мы можем это сделать, пользуясь эстетическим различием между сказан-ным и тем, как оно сказано. И мы можем сказанное столь же успешно устранить — или вынести за скобки — с помощью лингвистического различенья, отделяющего систему языка от всего, что мы с ее помощью высказываем или постигаем. Оба эти различения нужны, оба открывают широкое поле необхо-димому анализу. Но в настоящее соприкосновение с самой поэзией поэтика приходит лишь обращаясь к отдельным про-изведениям словесного искусства.

У каждого из них свой смысл; каждое высказывает нечто высказываемое только им. Каждое учит нас, что рождается поэзия лишь по ту сторону, как лингвистического, так и эстетического различенья. И как раз тут, в самом конкретном, к таким «частным случаям» прикоснувшись, может поэтика нас привести и к уразумению всех искусств как языков, всего искусства как языка, — но уж конечно в другом смысле слова «язык», чем тот, на котором держится вся современная линг-вистика.

Держится, а все-таки нет, нет, да и забудет, на чем дер-жится. Тот же самый французский лингвист Жорж Мунен, зна-ток Соссюра, написавший превосходную книжку о нем, заяв-ляет в другой своей работе (упомянутой выше, прим. 5, стр. 57), что вопрос о том, можно ли называть изобразительные искусства языками, должен решаться в зависимости от того, образуют ли они или нет, системы, аналогичные языковой (как будто кто-то собирался называть их *langues*, а не *langages!*); а другой, еще более видный представитель нынеш-него французского языкознания Андрэ Мартине объявляет на-циональные языки (французский, русский итд.) разновидно-стями не языка-системы (*langue*) — как ему полагалось бы, раз он принимает концепцию и терминологию Соссюра — но языка вообще (*langage*) да его же еще и называет «учрежде-нием» (*institution*), что приемлемо, разумеется, лишь в отно-шение *langue*, а не *langage*.⁸ Если допустимо называть язы-

⁸ См. А. Martinet. *Eléments de linguistique générale* (1960), p. 12.

ками различные несловесные искусства или иные способы выражения и сообщения, то конечно лишь в этом последнем смысле слова, и *система* тут вовсе непричем. И с другой стороны, если не Мунен то ведь как раз Мартине вполне справедливо указал, что вся интонационно-мелодическая сторона (кроме дифференциации тонов, строго разграничивающих смыслы) из языков-систем, как и, следовательно, из относящегося к ним понятия языка, полностью выпадает и ведению лингвистики не подлежит, хоть и весьма значительную роль играет в живой речи, а значит — если в *parole*, то и в *langage* — в языке вообще. Прибавлю от себя: в поэтической речи, прежде всего. И характерно в связи с этим, что и Мартине, подобно Соссюру и большинству языковедов строго-соссюровской ориентации, поэтический язык из поля своих исследований тщательно исключает. И хорошо делает, поскольку делает это потому, что язык этот, в своей основе *parole*, а значит и *langage*, но никак не *langue*.

В своей основе... Но ведь таков, в своей основе, в своем начале, в неведомом своем, но интуитивно улавливаемом начале, и язык вообще, как это первый усмотрел Вико, потом Гаман, Гердер, Руссо, как это знал еще Гумбольдт, как это помнил Потебня. Таким, вне всякой системы, обрела его шестилетняя глухонемая и слепая Эллен Келлер, когда впервые поняла осязанием переданное ей слово не как сигнал, а как смысл, как неопределенное множество и единство значений, как частицу мира, дарованную ее сознанию. В одном этом слове, в любом полновесном слове, поскольку оно слово, а не сигнал, слово, а не термин, прикрепленный к неподвижному своему, возвращенному вновь к сигнализации значению, открывается целый мир, человеческий мир, тот самый, что открывает нам и всякое, а не только словесное искусство. «Самовитое слово»! Из какого далека это теперь звучит, и каким ярмарочным бубенцом! А ведь могло бы звучать совсем иначе, если бы не столь безответственно было сказано и не столь плоско понято. Хлебников нечетко различал, как это случается со всеми нами, слово и слова, или (можно выразиться и так), слова в смысле *Woerter, mots*, и слова в смысле *Worte, paroles*. Первые принадлежат языку (*langue*) вторые — речи или слову. Тут не одно понятие, а два, хоть мы их и мыслим сплошь и рядом вперемешку. Но серьезно размышлять на эти темы невозможно, не

решив, считать ли нам словесность искусством слова или искусством нанизывать слова. Когда выражениями «само слово», «самоценное слово», «самовитое слово» играют, когда бросают их на ветер, да еще не кто-нибудь, а филологи, словолюбы, верноподданные не слов, а того слова, которое, вместе с мыслью, называли греки логосом, что ж тут может получиться хорошего? — Ничего хорошего и не получилось. Слова могут казаться «самовитыми»; слово «индифферентным к предмету высказывания» даже и казаться не может.

По Гоголю, правда, слова до того подчас хороши, что «иное название еще драгоценнее самой вещи». Только все-таки и Гоголь, и любой писатель и поэт, — если не на каждом шагу, то в итоге, в конечном счете — подбирает слова к вещам, а не вещи к словам, и когда «берет слово», то не ради слов, а ради «вещей», высказываемых словами. Не отдельные слова их, к тому же, и высказывают, а сложные словесные единства, всегда осмысленные, но иначе чем отдельные слова, и не в качестве простой их суммы. Каждое высказывание дает окончательный — для данного высказывания — смысл словам, уже осмысленным начерно в словаре или словесном запасе нашей памяти. Оно может и создавать слова, тут же их осмысляя. Прилагательное «самовитый», как и другие — удавшиеся — неологизмы Хлебникова, тем и хорошо, что родилось в его речи вместе со своим смыслом (слиянием «самости» с сановностью), но меткость ему присуща лишь постольку поскольку поэту и в самом деле иные слова кажутся полноценными «сами по себе». Но еще раз: что же это значит? По их звуку? Он, очень может быть ответит «да», но ведь как раз потому, что в этот звук он вкладывает смысл, которого от звука отделить, другим способом высказать не только он не хочет, но и не может. Прекрасно у Мандельштама заклиняемое и прославляемое им «блаженное бессмысленное слово», но не было бы оно блаженным и нечего было бы в нем прославлять, будь оно и впрямь бессмысленным. Неплоха, а то и пленительна дремота смысла, например, в английских *nonsense verses* или хотя бы *nursery rhymes*, но пусть на ней и строят поэтику дремоты. То, что я называю звуко смыслом — не сон, и не бессмыслица, и не «парки бабье лепетанье», а видоизменение, обновление, преобразование смысла. Что же касается слова, а не слов, т.е. живой речи, то она всяческий смысл, в том числе и звуко смысл,

словам или сочетаниями их именно и дарует. Называть слово самовитым, самоценным, независимо от смысла, никакого основания, да и никакого смысла, нет.

В начале было слово. Никто никогда не говорил, никто не может сказать — в начале были слова. Слов даже и наверняка — каждый это чувствует — «в начале» не было. И не будет. Слово предполагает мысль; оно порождается ею или рождается вместе с нею. Слова, в лучшем случае, предполагают осмысленность, даруемую им словом. В «Слове о полку Игореве» столько то слов, и если рассыпать их, высыпать из «Слова», они так и останутся словами. Поэзия в слове, а не в словах. Язык наш в речах наших, а не в их словесной, из слов состоящей оболочке. Но мы слышим, видим, читаем слова. Словами обернулось, повернулось к нам, высказалось ими слово. Сквозь них мы его слышим, его понимаем. Но разбираем, анализируем слова; рассуждаем о словах. С ними, в первую очередь, имеем дело. Языковедение, вследствие лингвистического различия, ведает словами в их осмысленности, но без их смысла; всеми шнурочками ведает двигающими их, в преддверии смысла меняющими их осмысленность, как двигают кукол в кукольном театре. Поэтика — тоже; но, будучи эстетикой, по-иному их рассматривает, и пользуется при этом еще и эстетическим различием. Это в порядке вещей. Но ни ей, ни лингвистике не следует забывать о слове. Незачем эстетическое, незачем и лингвистическое различие доводить до полного рассеяния. А уж поэзию и совсем грешно учить со слов начинать, о словах заботиться больше, чем о слове. Выдохнется она, и не останется вам, милые друзья, ничего другого, как заниматься той, что была до вас, и что верила слову, а не словам.

В. Вейдле

Т. и А. Фесенко

Чучелом в огороде
Стою, набитый трухой.
Я человек в переводе,
И перевод плохой.

Сколько я раз, бывало,
Сам себе повторял:
— Ближе к оригиналу!
А где он, оригинал?

Оригинал видали, —
Свидетели говорят, —
В Киеве на вокзале,
Десятилетия назад.

Кругом грохотал повальный
Артиллерийский гул.
В зеркале вокзальном
Оригинал потонул.

Ворошить не хочется
Давние дела.
Наспех судьба-переводчица
Перевела-наврала.

Я живу на расстоянии
От страны моей студеной
Я живу — на заикание
С языка переведенный.

И живу я в переводе
С неустройства на уют.
У меня на стол по моде
Со свечами подают.

И внутри моей машины —
Мягкие сидения:
Я переведен на шины
С пешего хождения.

Без особого урона
Мой испуг переведен
С лозунгового жаргона
На рекламный жаргон.

Точно бред политбесед,
Распродаж ажиотаж!
Пунцовею, разогрет,
В пот меня кидает аж!

В оригинале — откровенье,
А в переводе — подражанье,
В оригинале — вдохновенье,
А в переводе — прилежанье!

В оригинале — на восходе,
И на закате — в переводе!

И по прямой — в оригинале,
А в переводе — по спирали!

И я — волшебник по природе,
А литератор — в переводе,

В оригинале я — на взводе,
Навеселе — в оригинале,
А на режиме — в переводе,
И переводу до вина ли?

Скользило время еле слышным,
А стало звонче междометья.
В оригинале — двадцать с лишним,
А в переводе — полстолетья!

Иван Елагин

ДРАМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» НА СЦЕНЕ

Проблема драматизации литературных произведений — давняя, однако, она не перестает занимать умы и по сей день, особенно в связи с участвовавшими за последние пятнадцать лет фильмовыми инсценировками и постановками произведений Достоевского на театральной сцене. Многие постановки и экранизации произведений Достоевского вызывали дискуссию в печати и м. б. способствовали новому подходу к изучению его творчества.

Сравнительное изучение постановок по произведениям Достоевского в театрах разных стран не только подтверждает исключительное богатство идей, образов и художественных приемов писателя. Но и показывает, что процесс воплощения его идей и героев в сценические образы, переход от внутреннего слова и описания к действию, к слову, обращенному к зрителю, порой выявляет новые стороны его искусства.

Общеизвестно, что в молодости Достоевский, увлеченный драматургией Шиллера, (которым он продолжал дорожить до конца своих дней), тоже обратился к драматической форме. Всячески поддерживая своего брата Михаила в его работе над переводами драм Шиллера, Федор Достоевский, в 1841-42 годах сам работал над созданием драм под названием «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». Это желание по-своему воплотить на сцене трагические образы, уже занимавшие таких художников как Шиллер и Пушкин, чрезвычайно интересно и, в частности, показывает, что уже в юные годы в центре внимания Достоевского жила трагическая тема захвата власти над людьми путем преступления.

К сожалению, рукописи этих драм утрачены, так же как

и рукопись драмы «Жид Янкель», о которой Достоевский упоминает в письме к брату в январе 1844 года. В марте следующего года Федор Михайлович выражает сожаление, что отсутствие времени, необходимого покоя, а также и средств к существованию, вынуждают его оставить мысль о работе над созданием драмы, что, по его убеждению, сопряжено с значительными трудностями и требует необычайной тщательности в отделке текста.¹ Но работа над драмами не прошла даром. По мнению М. П. Алексева, искусству архитектурной соразмерности своих романов «Достоевский научился в театре и на драматических образцах, а его драматические опыты, с которых он начал свою литературную деятельность, были той его первой творческой задачей, разрешение которой во многом обусловило и последующую его литературную деятельность».²

После освобождения из Омской каторжной тюрьмы, Достоевский еще раз обращается к драматической форме и пишет в своих письмах, что теперь он будет писать романы и драмы. Во время работы над «Селом Степанчиковым» и «Дядюшкиным сном» он сообщает о том, что пишет *комедию*. Как известно, комедия так и не была написана, и Достоевский окончательно обратился к повествовательной прозе. Следует отметить, что в 1873 году Достоевский отрицательно отнесся к намерению московского студента М. Федорова инсценировать «Дядюшкин сон», хотя вначале на просьбу Федорова разрешить ему переделать повесть для сцены Достоевский «с охотой» ответил согласием.³ Помимо неудавшейся попытки Федорова, в 70-ых годах были сделаны три инсценировки «Дядюшкиного сна», одна — А. П. Антроповым, в 1878 году, под названием «Очаровательный сон».

Следует отметить, что отказавшись от намерения писать драмы и комедии, Достоевский продолжал мыслить как драматург — сценическими образами: его черновые записи, особенно к последним романам, представляют собою, сплошь и ря-

¹ Ф. М. Достоевский, «Письма», том I, Москва, 1828.

² М. П. Алексеев первый обратил внимание на юношеские драматические опыты Достоевского и посвятил этому статью в сборнике «Творчество Достоевского», изд. под ред. Л. П. Гроссмана в Одессе, в 1921 году. стр. 62.

³ Ф. М. Достоевский, «Письма», том III, Москва-Ленинград, 1934, стр. 51.

дом, блестяще разработанные сценические диалоги, лишь изредка дополняемые ремарками автора. В плане «Жития великого грешника» есть запись, где главное внимание обращено на сценическую выразительность, на *тон*: «рассказ *житие* — т.е. хоть и от автора, но сжато, не скупясь на изъяснения, но и *представляя сценами*». ⁴ Яркими сценами, представляющими владычествующую идею, изобилуют все произведения Достоевского.

Само построение его многих произведений глубоко сценично, что и объясняет внимание, которое им уделяли деятели театра при жизни писателя и продолжают уделять вплоть до сегодня. Исключительные ситуации, столкновение различных взглядов на мир, на человека, стремление найти одно единственное, последнее решение поставленного опыта, разрастающийся непримиримый конфликт, развитие которого неминуемо ведет к катастрофе, особое, искривленное пространство, в котором всё принимает иные формы, необычайная сжатость временных рамок, насыщенность короткого отрезка времени — часто одного дня — несколькими одновременно происходящими, но внутренне связанными событиями, сосредоточение в месте решающего действия большого количества лиц, страстный, напряженный диалог-поединок, резко индивидуализированная речь, описание внешнего вида многих действующих лиц как карнавальных масок, разбросанные по всему произведению замечания писателя, которые зачастую кажутся режиссерскими ремарками — всё это составляет характерную, чисто сценическую особенность произведений Достоевского.

Теперь уже общепринято мнение о необычайной драматургичности произведений Достоевского. В настоящее время нет почти ни одной его вещи, которая не была бы поставлена на сцене: «Белые Ночи», «Хозяйка», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково», «Униженные и оскорбленные», «Скверный анекдот», «Игрок», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Вечный муж», «Идиот», «Подросток», «Бесы», «Братья Карамазовы» и даже «Кроткая» — одно из самых сложных и глубоких произведений Достоевского — все они появлялись на театральных подмостках, воплощенные в сце-

⁴ Документы по истории литературы и общественности. Выпуск I. «Ф. М. Достоевский». Изд. Центрархива РСФСР, 1922 г., стр. 71-72.

нические образы. Вопрос о правомочности сценической адаптации повестей и романов Достоевского, сложный процесс перевода из одного вида искусства в другое, вызвал много споров и теорий. Существует целая литература, посвященная этой проблеме.

Д. С. Мережковский первый обратил внимание на близость произведений Достоевского к театральному спектаклю.⁵ Вслед за ним Вячеслав Иванов стал рассматривать все крупные романы Достоевского как романы-трагедии, хотя одновременно критиковал некоторые наиболее близкие к театральной форме литературные приемы писателя.⁶ Сергей Н. Булгаков говорил о Достоевском как о «великом трагике».⁷ Голландский ученый ван дер Энг особенно выделяет динамичность романов Достоевского, в которых поступки действующих лиц, их размышления и споры изображаются автором именно в тот момент, в который они происходят, а не приемом последующего описания.⁸ Томас Манн, говоря (в предисловии к американскому изданию Повестей и рассказов Достоевского в 1945 году) о монументальных романах — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» — также отмечает, что эти произведения, по существу, не романы, а колоссальные драмы, написанные почти буквально по законам сцены — с напряженным действием, вложенным в рамки всего нескольких дней, разряжающимся лихорадочным диалогом, потрясающая сила которого переходит уже за сферу реалистичности.

Работа над стилем и литературными приемами Достоевского побудили профессора Пражского университета С. В. Завадского пересмотреть еще в двадцатых годах традиционное определение романа и драмы. Такие известные исследователи творчества Достоевского как Л. Гроссман, Г. Чулков, К. Мочульский, Филипп Рав и многие другие, как русские, так и западные исследователи, обращают внимание на поразитель-

⁵ Д. С. Мережковский, «Л. Толстой и Достоевский», Москва, 1914. Том I.

⁶ В. Иванов, «Достоевский и роман-трагедия». В сборнике «Борозды и межи», Москва, 1916.

⁷ С. Н. Булгаков, «Русская трагедия», в журнале «Русская мысль», 1914.

⁸ J. van der Eng, *Dostoevsky Romancier*. The Hague, 1957.

ную драматичность произведений Достоевского. М. М. Бахтин, в своей приобретшей широкую известность книге «Проблемы поэтики Достоевского», создает оригинальную и интереснейшую теорию о карнавальности произведений Достоевского. Интересно также мнение Зигмунда Фрейда, считавшего самыми выдающимися произведениями всех времен, наиболее глубоко воплотившими человеческую трагедию, три произведения: «Царя Эдипа» Софокла, «Гамлета» Шекспира и «Братьев Карамазовых». И, наконец, советский литературовед Борис Сучков, специалист по современной западной литературе, пишет в своей недавно вышедшей книге «Исторические судьбы реализма», где он суммирует свои наблюдения над творческим методом писателей, что «высокий интеллектуализм романов Достоевского предопределяет их почти драматургическое построение: в сшибках точек зрения развивается действие, диалоги движут сюжет, психологические состояния героев определяют завязку или развязку произведения».⁹

После сказанного становится ясно, почему идея сценического воплощения образов, созданных Достоевским, привлекала таких крупных художников, как Станиславский, Немирович-Данченко, Жак Копó, Гастон Батí, Андрэ Барсак, Альбер Камю, Юрий Завадский и мн. др. Отвечая утвердительно на поднятый в 1910 г. вопрос, имел ли право Московский Художественный Театр инсценировать «Братьев Карамазовых», Вл. И. Немирович-Данченко указывал, что Достоевский «писал как романист, но чувствовал, как драматург. У него — сценические образы, сценические слова». Поэтому, «многое в его романах так и рвётся в театр, на сцену, и так легко, так естественно укладывается в ее рамки, сочетается с ее сценическими требованиями и условиями. Целые главы — настоящие и замечательные куски драмы».¹⁰ Андрэ Жид, в рецензии на постановку «Братьев Карамазовых» Жаком Копó в 1911 г., писал в «Фигаро», что из всех «созданий человеческого воображения больше всего права на сценическое воплощение имеют герои Достоевского. Главная трудность заключается в

⁹ Б. Сучков, «Исторические судьбы реализма», Москва, «Советский писатель» 1970, стр. 197.

¹⁰ В. И. Немирович-Данченко. «Около Карамазовых». Газета «Современное слово», СПб Октябрь 1910 г.

нахождении актером правильной интонации для выражения внутренней драмы».

Первые попытки инсценировки произведений Достоевского были сделаны еще при жизни писателя, при чем роман «Преступление и наказание» одним из первых возбудил желание воплотить его образы в сценические. Идея княжны Варвары Дмитриевны Оболенской переделать «Преступление и наказание» для сцены, высказанная ею в письме к писателю от 6-го декабря 1871 г., послужила причиной для высказывания Достоевским его взглядов на драматическое искусство и на проблему театрализации литературных произведений. Достоевский не возражал против попытки Оболенской инсценировать его роман, но сомневался в успехе.

«Есть какая-то тайна искусства, — пишет Достоевский в своем ответном письме, — по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме». При этом Достоевский предлагал два способа перевода из повествовательного вида искусства в театральное: «Другое дело если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму или взяв первоначальную мысль совершенно измените сюжет...»¹¹

Трудности, возникающие при переделке одного вида искусства в другое, при переходе от законов повествовательного жанра к словесно-пластическому, очевидны. Художниками, бравшимися за это трудное дело, руководило прежде всего желание донести до широкой аудитории живое слово Достоевского, непосредственно вовлечь зрителя в процесс сотворчества путем сопереживания хождений по мукам его героев, желание по-своему прочесть мысль этого единственного в своем роде писателя.

При драматизации слово Достоевского, имеющее всегда особый, глубокий, зачастую двойной смысл и двойную направленность, делается орудием действия. Как показывает изу-

¹¹ Ф. М. Достоевский, «Письма», том III. Москва-Ленинград, 1934 г., стр. 20.

чение театрализации произведений Достоевского, перед постановщиками открывались два пути, выбор между которыми предстояло сделать: пересказывание сюжета театральными средствами, что приводило иногда к созданию прекрасных живых иллюстраций к романам Достоевского, или же выбрать второй путь, подсказанный самим писателем: творческое раскрытие внутреннего трагизма его героев, воссоздание из романа новой драмы в свободном процессе художественного преобразования. Тогда, при наличии соответствующих исполнителей, театральное представление превращалось в подлинную мистерию, возрождая все особенности этого жанра средневекового религиозного театра.

Внимание деятелей театра привлекали, преимущественно, романы «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы». К «Бесам» приступали с сомнением, «Подросток» был поставлен на сцене только один раз. Наибольшая притягательность для сценического воплощения — в романе «Преступление и наказание». Имеется более двух десятков крупных постановок этого произведения. Анализу некоторых значительных инсценировок этого романа и посвящается эта статья. Люди каждой эпохи прочитывают этот роман по-своему, воспринимают его в свете преобладающих в их время философских и социальных теорий, ища решения насущных этических и психологических проблем.

Интересно отметить, что Западный театр опередил русский в сценическом воплощении романа. Первые постановки «Преступления и наказания» были даны уже в 80-х годах: на сцене театра Одеон в Париже в 1888 году в переделке Поля Жинисти и Г. Лё Ру; в театре Лессинга в Лейпциге в сезон 1890 года; в 1896 году «Преступление и наказание» было поставлено в Гамбургском театре; в 1894 году в Италии, на сцене театра Джербино в Турине. Драма в четырех действиях под названием «Раскольников» в инсценировке Тамаша Моли и Ладиса Вайда была поставлена в Будапештском театре в 1907 году.

Впервые на русской профессиональной сцене «Преступление и наказание» шло в Театре литературно-художественного общества в Петербурге в 1899 году, в инсценировке Дельера (псевдоним Я. А. Плющевского-Плющика). Первый сценический образ Раскольникова был создан знаменитым русским трагиком Павлом Николаевичем Орленевым. Наряду с образом

Дмитрия Карамазова, Раскольников принадлежит к лучшим созданиям Орленева, к ролям, в которых драматический талант этого актера мог выявиться в полную силу.

На Западе одной из наиболее успешных попыток творческого воспроизведения романа стала инсценировка «Преступления и наказания» одним из известных деятелей эпохи наибольшего расцвета французского театра 20-го века — Гастоном Бати. Эта постановка, шедшая в оригинальных декорациях Бати, привлекла внимание не только широкой публики и деятелей театра, но и литературоведов, и стала теперь классическим примером сценического воплощения романа; авторы всех последующих инсценировок в какой-то мере использовали этот блестящий опыт Бати. Гастон Бати — крупный французский режиссер и театровед, создавший вместе с Шарлем Дюллэном, Луи Жувэ и Георгием Питовым знаменитое театральное объединение «Картель», оказавшее большое влияние на развитие современного французского театрального искусства. По теории Бати, изложенной в книге «Маска и кадило», весь светский театр вышел из средневековой литургической драмы. Для Бати театральное искусство соединяет в себе искусство слова и искусство пластики, при чем особое значение придается символике слова. Театральное искусство должно искать вдохновения в средневековых мистериях и мимодрамах, цель театрального представления — способствовать мистическому возвышению души человека. Бати сразу увидел, что инсценировки произведений Достоевского требуют трансценденции реальности, перехода в мир иных измерений. По мнению Бати, драматизация произведений Достоевского давала всё, что нужно для подлинного театрального искусства: движение, живое слово, биение жизни.

Поставив «Преступление и наказание» 21 марта 1933 г. в театре Монпарнас-Гастон Бати, режиссер разделил спектакль на 3 акта 20 картин. Следуя своей теории слияния искусств, Бати создал блестящий театральный спектакль, широко используя световые эффекты, сопроводив действие музыкой, введя уличные песенки, о которых в романе упоминается вскользь, с целью воссоздания общей атмосферы, в которой развивается главное действие. Режиссерский замысел Бати состоял, главным образом, в том, чтобы сценическими средствами убедительно показать, что человеческие страдания, заблужде-

ния и преступления могут быть искуплены силой истинного сострадания и любви к человеку. Поэтому режиссеру понадобилось введение нескольких сцен, наиболее ярко воссоздающих обстановку, окружающую Раскольникова. Прологом к действию служит, данный в первой картине, разговор Разумихина с Порфирием Петровичем, обратившим внимание на странную идею, высказанную в статье некоего Раскольникова.

В соответствии с общей тенденцией группы «Картель» освободить театр от излишнего натурализма и восстановить его, как особый вид поэтического искусства, Бати не воспроизводит резко натуралистических сцен, как сцена убийства старухи-процентщицы и первая сцена у Мармеладовых, когда Катерина Ивановна схватывает за волосы своего несчастного мужа, пропадавшего пять дней по кабакам и пропившего не только последние 12 целковых, но и раз навсегда загубившего последнюю надежду семьи на восстановление нормального существования. В центре первого акта — лестница в доме Алёны Ивановны, данная в двух ракурсах и ставшая местом сосредоточения всех событий, связанных с убийством: медленного восхождения Раскольникова к роковой двери, разговора маляров Дмитрия и Николки, беседы между офицером Кохом и студентом Пестряковым о возможном убийстве ростовщицы, к которому с верхней лестничной площадки прислушивается Раскольников; здесь же разыгрывается полная напряжения сцена перед дверью, за которой стоит убийца, и последующая сцена с дворником.

Точное перенесение текста романа на сцену не всегда способствует драматической выразительности. Так, сцена в полицейском участке, смонтированная, с точным сохранением текста романа, из двух эпизодов, оказывается слишком загруженной, что сильно ослабляет главный момент — первый, беглый допрос, которому Раскольников подвергается после обморока, обратившего на него внимание полицейских чиновников. В то же время, в 10-ой картине, первый диалог Порфирия Петровича с Раскольниковым почти буквально перенесен на сцену, отчего сильно выигрывает его драматичность и делается ощутимой вся невероятная внутренняя напряженность этого диалога, когда оба пристально следят за каждым движением и словом собеседника, стараясь угадать их скрытый смысл. В спектакле, однако, поражает отсутствие Свидригайлова. По

всей вероятности, Гастон Бати опустил этот образ первостепенной важности в романе, руководясь своим основным замыслом — показом просветления измученной души Раскольникова. В связи с этим, большое внимание уделено отношениям Раскольникова с матерью: очень хороша 15-ая картина — прощение его с матерью. Именно эта сцена становится источником подсознательно медленно зреющего решения Раскольникова стать на путь искупления. Не разумом, а своей материнской интуицией Пульхерия Александровна уже догадалась о страшной тайне и мучениях своего сына. Своей истинно христианской способностью к всепрощению и верой в своего сына она возрождает в преступнике чувство человечности. Соня своей любовью и готовностью разделить его наказание довершает уже начатое в его душе просветление. Спектакль заканчивается сценой на улице, где, на глазах у всех участников спектакля, Раскольников выходит на просцениум и, став на колени, признается в совершенном преступлении.

В этом памятном спектакле роль Сони исполняла знаменитая французская артистка Маргарита Жамуá, сочетавшая в этом образе реальные черты несчастной девушки с вдохновляющей ее внутренней идеальностью. Роль матери исполняла бывшая артистка Московского Художественного Театра Мария Германова, создавшая в 1910 году до сих пор непревзойденный образ Грушеньки в постановке Немировичем-Данченко «Братьев Карамазовых». Раскольникова играл Люсьэн Нат, сумевший показать переход от драмы оскорбленного сознания к трагедии поисков пути к духовному очищению. Спектакль получил блестящие отзывы в печати; рецензенты выделяли эту инсценировку как лучшую из всех предшествующих переработок романов для сцены. Известный французский литературовед и искусствовед Фортунат Стровский считал эту постановку «чудом сценического искусства».

Крупным театральным событием стала и постановка Мишеля Витольда в Театре Французской Комедии в Париже, в 1962 году, в инсценировке драматурга Габриэля Ару. Авторы постановки не делают традиционного деления на действия. Пользуясь преимуществами вращающейся сцены, они ограничились делением спектакля на две части и обозначением мест, где происходят отдельные действия, например: «В кабинете судебного следователя Порфирия», «В комнате Раскольнико-

ва», «На лестнице», «В трактире», «У Сони», «У Свидригайлова», «У Мармеладовых» и др. В этой постановке широко использован прием симультанности действий. Например, Раскольников читает в своей камерке письмо матери в то время, как Разумихин, Порфирий Петрович, Заметов и помощник надзирателя капитан Петров, в кабинете Порфирия Петровича, обсуждают журнальную статью, автор которой делит людей на два разряда, разрешая «героям», выделяющимся над массой, «перешагнуть через кровь», так как они «имеют право» на переступление всех существующих законов. Далее, разговор Разумихина с Порфирием Петровичем о «блестящем студенте» Раскольникове происходит одновременно с показом приготовлений Раскольникова к убийству.

Главное внимание автора этой инсценировки Габриэля Ару обращено на выявление мотивов преступления — насколько действенен принцип «все позволено», где границы воли человека, — вот основная мысль, которой пронизаны все действия персонажей. Поэтому, как и в постановке Гастона Бати, спектакль начинается с разговора о статье Раскольникова. Затем, одно за другим, идут события, способствующие развитию преступного замысла Раскольникова: письмо матери, случайно услышанный разговор Коха и Пестрякова, рассказ Мармеладова о крайней нищете, доведшей и его и его дочь до последнего морального и социального падения. Мастерски даны диалоги с судебным следователем Порфирием и сцена с Заметовым в трактире, где Раскольников всё еще играет в сильного человека. После третьего, решительного разговора с Порфирием идут три сцены: прощание с матерью, признание в преступлении Соне и разговор со Свидригайловым, заканчивающийся самоубийством последнего. Габриэль Ару придавал большое значение роли Свидригайлова, считая его вторым главным персонажем. Но в спектакле были сохранены только три сцены с участием Свидригайлова. Текст сцены разговора, происходящего на улице, у моста, довольно далек от текста романа; цель ее — подчеркнуть неприятие Раскольниковым жизненной философии Свидригайлова. После краткой, но сильной сцены в полицейском участке (признания Раскольникова в преступлении) в Театре Французской Комедии был дан эпилог, где автор инсценировки хотел воплотить чувства Раскольникова, испытываемые им в сцене с Соней, на берегу Иртыша.

Сцена эта, однако, получилась в спектакле несколько мелодраматичной и эпилог, из которого опущено самое главное, — пророческий сон Раскольникова, по существу ничего не прибавляет к спектаклю, скорее даже снижает художественную выразительность предшествующих сцен.

В рецензиях на этот спектакль особо отмечалась прекрасная игра актеров Луи Сеньё, в роли Порфирия и Роберта Хирша — в роли Раскольникова. Сложная задача перевода романа, в котором большую роль играют описания внутреннего состояния молодого бунтаря, его мыслей, на язык сцены, где все сложные, противоречивые движения его души, вся переменчивость его настроений могут быть переданы только действием — интонацией голоса, жестом, мимикой, положением тела, — была блестяще разрешена Хиршем, в течение четырех часов державшего публику в состоянии неослабевающего напряжения. Критике в этом спектакле подверглись, главным образом, сцена с Соней, поданная в излишне романтических тонах, и псевдо-русские декорации Ренэ Альё, а также слишком мрачный общий колорит спектакля, многие сцены которого проходили при слишком слабом освещении. Пьеса имела большой успех у парижской публики — она была сыграна 61 раз.

Венский Фолькстеатр показал весной 1969 года пьесу «Раскольников», состоящую из 17-и картин. Венская публика хорошо знакома с героями Достоевского. За последние десять лет на сценах Венских театров были показаны «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы» и «Вечный муж». «Раскольников» — вторая инсценировка, поставленная Фолькстеатром в последние годы. В сезон 1961-62 годов «Идиот», наряду с пьесой Хохгута «Заместитель», был самым крупным успехом театра. Инсценировки обоих романов Достоевского (так же как и «Братьев Карамазовых», поставленных в Бургтеатре в 1965 году) были сделаны австрийским драматургом Вальтером Либлайном, который в драматизации произведений Достоевского видит единственный путь к восстановлению античной трагедии на сцене современного театра. Ставя «Раскольникова», директор Фолькстеатра Густав Манкер преимущественно хотел показать несообразность преступления с миром нормальных человеческих отношений. В этой постановке убедительно показано, как философски задуманное «логическое» убийство

превращается в своего рода «клинический случай» одного преступления. Как это часто случается на сцене, Порфирий Петрович, человек действия, вырос в героя первостепенной важности. Умением глубоко проникнуть в душу преступника, желанием привести свою «жертву» к признанию с целью вернуть его к нормальной жизни и логикой своих аргументов он подавлял Раскольникова, исполнитель которого не обладал необходимой для такого поединка внутренней силой фанатика, настаивающего на своей идее. Сценическому успеху образа Порфирия способствовала прекрасная игра одного из лучших венских артистов Хельмута Квальтингера. За блестящее исполнение этой роли Квальтингеру была присуждена почетная медаль города Вены. Режиссер Густав Манкер намеренно ставил пьесу в подчеркнута реалистических тонах; совместно с декоратором им было найдено удачное сценическое решение спектакля путем создания симультанных декораций с сохранением реалистической обстановки.

По другому пути пошли чешские авторы Алена и Ярослав Востры, подготовившие несколько лет тому назад постановку «Преступления и наказания» в Пражском экспериментальном театре «Чинохерны Клуб». Реальные и воображаемые действия, реальные люди и видения, являющиеся двум главным героям — Раскольникову и Свидригайлову — не разграничены между собою. Авторы этой инсценировки ставили себе задачей проникнуть в мир — видимый и невидимый, — которым живет Раскольников, и воплотить его в ряде сценических картин, быстро сменяющих одна другую. При таком решении теряется ощущение реальности и подчеркивается единство психического мира героя и внешних событий, представляющих собою проекцию внутреннего мира Раскольникова.

По-иному подошел к проблеме драматизации князь Алексей Николаевич Гедройц, создавший в январе 1970 года, совместно с режиссером Клодом Этьенном, прекрасный спектакль «Преступление и наказание» в Брюссельском театре Ридб де Брюссель. Это третий спектакль по произведениям Достоевского, который Гедройц поставил за последние годы; его постановка «Идиота» в 1968 году была отмечена первой премией французского общества драматических авторов и артистов в Бельгии.

Религиозная тема и трагедия этического сознания полу-

чила яркое воплощение в инсценировке Брюссельского театра. По мнению А. Н. Гедройца, после майских событий 1968 года — спонтанного бунта французской молодежи — Достоевский с проблемами, поставленными им в романе «Преступление и наказание», стал еще более актуален.¹²

А. Н. Гедройц полностью сохранил текст Достоевского, не добавляя ничего от себя, как это делали Гастон Баті и Габриэль Арү; он выбирал из текста романа те диалоги и реплики, которые были нужны ему для перенесения действия на сцену, согласно его режиссерскому замыслу. Спектакль состоящий из двух частей, разделенных на 20 картин, проходит на фоне огромного фотографического изображения панорамы Петербурга. Первая же сцена — встреча Раскольников с шестнадцатилетней униженной девушкой на бульваре — предваряет раскрытие трагедии раздвоенного сознания молодого бунтаря, одержимого идеей насильственного восстановления справедливости, идеей, которая убивает его душу. Одной из особенно сильных сцен стала сцена в распивочной. Ключем к образу Мармеладова послужили его страшные слова: «некуда пойти». Исповедь Мармеладова, его беспредельное унижение и самобичевание заканчивается выражением горячей веры в Того, кто пожалеет несчастных, всех простит и этим вернет им их человеческий облик, всех позовет к себе и скажет им: — «А где дочь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?» И скажет: «Прииди!... И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит... И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите, пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем... И скажет: «приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлеш?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руке свои, и мы припадем... и заплачем... и всё поймем!... Господи, да приидет царствие Твое!»

¹² Интервью, данное корреспонденту брюссельской газеты «Ле Суар» 7 января 1970 г.

Облик артиста Андрэ Бернье как нельзя лучше подходит к образу Мармеладова. Его Мармеладов — это и наш современник, которому нехватило моральных сил, чтобы выдержать все удары судьбы и жестокую борьбу за право жить.

В спектакле Брюссельского театра нет ничего лишнего, внимание зрителя не отвлекается реалистической бутафорией — все сосредоточено на внутренней драме Раскольникова, на взаимоотношениях людей: Раскольников идет к осознанию своего рокового заблуждения через встречи с Соней, Свидригайловым, Порфирием. Здесь, как и в постановке Венского Фолькстеатра, роль Порфирия играет ведущий артист, он же и выдающийся постановщик — Клод Этьенн, — и играет с большой убедительностью и внутренней силой.

Большое значение в этом спектакле придано образу Свидригайлова. Режиссерский замысел здесь полностью основан на творческом замысле Достоевского. Свидригайлов, этот жуир, «тигр», не видящий необходимости различать добро от зла, «властелин судьбы», которым так хотел стать Раскольников, задыхается, в сущности, от отсутствия духовности. Не только его представления о загробной жизни как о закоптелой «бане с пауками», но и его земное существование, состоящее в наслаждении только материальными благами как единственной реальностью, превращается в сартровский ад — душное помещение, откуда *нет выхода*. Пресытившись всем, Свидригайлов осознает себя конечным человеком. В Раскольникове он еще чувствует возможность поисков духовного выхода из тупика, в который тот сам загнал себя своей теорией. Поэтому с такой настойчивостью Свидригайлов и произносит слова, которые вскоре почти буквально будут повторены Порфирием Петровичем: «...всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего!» (Порфирий скажет: «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху».)

В полном соответствии с режиссерским решением, апофеозом спектакля становится сцена чтения воскрешения Лазаря. 13-ая картина — первое посещение Раскольниковым Сони — носит подлинный мистериальный характер. Уже само чтение Библейского или Евангельского текста со сцены театра есть неотъемлемый элемент мистерии как театрального жанра. Атмосфера этой незабываемой сцены в Брюссельском театре в точности соответствовала духу романа. Раскольников впервые

начинает осознавать возможность освобождения от измучившего его душевного смятения, когда слышит голос Сони, читающей ему слова Евангелия.

Казалось, что после этой постановки трудно было найти более совершенное сценическое решение. Но оказалось, что уже с 1966 года Юрий Александрович Завадский начал работать над подготовкой своего спектакля, который и был поставлен в сезоне 1969-70 года на сцене Театра имени Моссовета в Москве. «Мы всё время сталкивались с тем, что перенести роман на сцену со всей точностью места и длительности действия невозможно, — сказал Завадский в одном интервью. — Однако перенести адекватно философскую сверхзадачу романа, как мы ее понимаем, было не только возможно, но и необходимо».¹³ Завадский — ученик Станиславского — не только воплощал на сцене образы Достоевского в соответствии с общим учением Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. Постановка Завадского, может быть, впервые выявила глубокую мистическую значимость трагедии Раскольникова.

Завадский положил в основу своего спектакля инсценировку С. Радзинского, которая уже была поставлена в 1957 году театром имени Ермоловой в Москве, правда, без особенного успеха. Но в дальнейшем ходе работы весь спектакль сочинялся заново, соответственно тем возможностям, которые открывались при принятом сценическом решении, и имея в виду весь роман. Завадский пояснил, что для него Достоевский очень «современно звучащий» писатель: «он призывает ценить человеческую жизнь». Своим спектаклем Завадский хотел «сказать о человечности Достоевского». Для Завадского было важно «раскрыть полифонию романа и — самое главное! — насытить спектакль огромной верой в человека».¹⁴ Он решил сделать спектакль, который был бы современен и по приемам.

Весь сложный мир нищеты, несправедливости, унижения и страдания Завадский замкнул в узкое пространство петербургского двора-колодца. Этот двор-колодец как бы символизирует узость, ограниченность бытия человека, из которого

¹³ «Искусство кино», № 8, 1970.

¹⁴ И. Ганелина, «На репетициях Юрия Завадского», Театр, № 7, 1970.

он стремится вырваться. Но мир этот не только внешен по отношению к человеку; каждый человек носит в себе свой особый, тоже замкнутый мир, по-разному определяющий отношение человека к жизни. Завадский в своей постановке раскрывает подлинное значение наказания так, как оно и было задумано Достоевским. Не наказание буквальное — человек совершил преступление и наказан за это тюрьмой и каторгой, — а наказание *этическое*. По первому пути пошли постановщики фильма,¹⁵ там почти отсутствует религиозный элемент, тогда как в спектакле ощущается присутствие подлинно христианской этики. В театре воспроизведена вся сцена чтения о воскрешении Лазаря и в образах воплощена исповедь Раскольникова на перекрестке: «Крест на себя принимаю», произносит он, опускаясь на колени. Решение принять на себя крест за переступление Божеского и человеческого закона и есть то этическое наказание, которое Раскольников сам накладывает на себя.

Завадский назвал свой спектакль «Петербургские сновидения», чтобы подчеркнуть суть найденного им сценического образа романа, Раскольников воспринимает реальный мир искаженно, он весь во власти своей пагубной идеологии, своей больной философии. Завадский трактует само преступление Раскольникова как страшный сон и всю жизнь вокруг него как кошмар, от которого человечество должно проснуться и понять, что убийство, насилие над другим человеком, унижение человека человеком противны человеческой натуре и должны исчезнуть из жизни.

Образ Петербурга, того Петербурга Достоевского, рождается в спектакле из тьмы, которая сама есть поэтический символ города. Кое-где светятся окна, нищий музыкант выводит простую печальную мелодию, становящуюся музыкальной темой Сони. Мещанин в сером появляется как во сне, на грани видимого и воображаемого, и произносит свое роковое «убивец». — «Кто убийца?» — вскрикивает Раскольников и слышит в ответ тихое, неопровержимое: «Ты — убивец!» Но Раскольников все еще борется со своей совестью: «Прочь, привидение! — кричит он. — Прочь, напускные страхи! К

¹⁵ «Преступление и наказание», авторы сценария: Н. Фигуровский и Л. А. Кулиджанов, режиссер-постановщик Л. А. Кулиджанов.

чорту старуху! Пожила, милая, и хватит! Царство небесное! Дай пожить другим!» Но привидение не может быть прогнано, совершенное не может стать несовершенным. Все вокруг Раскольникова располагается так, чтобы еще более увеличить его мучения. Так появляется Петр Петрович Лужин, из небытия возникает Свидригайлов, появляются уставленные на преступника страшные, гротескные физиономии. И среди всего этого фантазмагористического мира — простая, тихая Соня. В ответ на признание Раскольникова в убийстве: — «Вот и убил — по принципу», — одним своим простым словом: «Убивать? Убивать право имеет??» Соня разрушает все сложные, «логически» обоснованные построения Раскольникова.

Интересно композиционное решение спектакля: так как главная задача создателей этой постановки была в сохранении философской сущности романа, они отказались от бытовой конкретности, но широко использовали чисто сценические, театральные средства, чтобы воздействовать на зрителя, приблизить его к духовной сущности романа. Замкнутый с трех сторон двор с массой выходящих на него окон. Длинная лестница, поднимающаяся под тупым углом. Перегородки, отделяющие комнаты, раздвигаются — и зрителю представляются сцены: в камерке у Раскольникова, у Сони, у судебного следователя, разговор Дуни с Лужиным и т.д. В сцене поминок Мармеладова стены в доме Амалии Людвиговны раздвигаются и трагедия Мармеладовых происходит на глазах у всех, превращаясь в трагикомический балаган. Здесь сценическое решение как бы воплощает суждение М. Бахтина о трагическом карнавале, как основе образной сути произведений Достоевского.

Подчеркнуто театрально решены и все монологи Раскольникова. Он произносит их, выходя на помост, выдвинутый в зрительный зал. Этим Раскольников как бы отделяется от других актеров и от всего происходящего на сцене, и остается один с своими мучительными раздумьями. В то же время это как-бы соединяет его со зрителями.

В спектакль введен чтец — сам Завадский. Он начинает спектакль небольшим введением в страшные сны Раскольникова и заканчивает — чтением его сна на сибирской каторге.

В финале спектакля особенно ярко выражен характер мистерии, внутренне присущий главным произведениям Достоевского. Раскольников приходит к внутреннему осознанию

своего греха. Он понял, что идеал высшего человеческого подвига уже был дан в образе Христа, без которого, по словам Завадского, нельзя понять духовной сущности России. После чтения страшного сна Раскольникова, в глубине сцены, за прозрачным занавесом возникает ярко освещенное огромное Распятие, у подножия которого сходятся Раскольников в кандалах и Соня. Эта немая сцена уже переходит границы сценического искусства, это уже мистериальное действие.

Интересно мнение об этом спектакле писателя Павла Антокольского: — «наконец-то великий русский гуманист и сердцевед показан как величайший драматург-трагик нового времени, равный Эсхилу».

Надежда Натова

КРУГИ

Не легко, но в общем,
Вовсе не наивно,
Размышлять о прошлом,
В плане перспективном.

Тут не пантомима,
Чтоб чесать затылок
И необходима
Чёткость предпосылок.

Незачем в утратах
Безнадежность видеть;
Всё придет обратно,
Только, в новом виде.

Светлую, в июле,
Потерявши заводь,
В кухонной кастрюле,
Будет рыба плавать.

В рассмотреньи строгом
Ясно, как на блюде,
Даже яйца могут
В курицу вернуться.

Глеб Глинка

О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*

31 октября 1925 года Марина Цветаева, девятимесячный Мур и двенадцатилетняя Аля (Ариадна) приехали в Париж. Их приютила Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова, крестная мать Мура. Черновы жили бедно, в отдаленном рабочем квартале возле Виллет, напротив канала Урк, и из своих трех комнат одну отдали приехавшим. Ольга Елисеевна очень любила Марину Ивановну, ее дочери — молодые девушки Оля, Наташа и Адя, восхищались стихами Цветаевой, смотрели на нее вначале чуть ли не с обожанием, делились с гостями чем могли и старались устроить их как можно лучше. Но МИ особой благодарности к ним не испытывала и как будто не замечала их забот. В письмах называла Черновых «нашими хозяевами» (а ведь это были искренние друзья), жаловалась на тесноту, на шум убогих улиц, на невозможность сосредоточиться. Она увидела Париж фабричной окраины, и после мирной тишины ее деревенских жилищ в Чехословакии, окружающая обстановка очень ее подавляла.

У Черновых ей удалось, однако, закончить свою самую длинную и вероятно самую значительную поэму «Крысолов» — и даже за настоящим письменным столом: его дала ей Ольга Чернова (впоследствии вышедшая замуж за Вадима, сына Леонида Андреева). Такая роскошь очень редко выпадала на долю МИ — только когда она у кого-нибудь гостила. В течение долгих лет письменным столом служил ей по преимуществу кухонный, она говорила с иронией — «он у меня и для телесной и для духовной пищи». А ведь стол был в ее жизни самым главным предметом. Недаром она посвятила ему одну из своих очень характерных поэм, воспевая «тридцатую годовщину союза — верней любви»:

*) См. кн. 100 «Н. Ж.».

«сосновый, дубовый, в лаке
дешевом, с кольцом в ноздрях,
садовый, столовый — всякий,
лишь бы не на трех ногах!»¹

МИ говорила, что ее единственная собственность — дети и тетради. Но потом дети от нее ушли, остались только тетради. Своего собственного стола она никогда во Франции не имела, и в этом был символ ее неустроенности и бедности. Но ее похвала столу была не только символической: она раскрывала сущность ее творчества. В отличие от Мандельштама, который бродил по улицам, импровизируя находку, сразу облакая вдохновение в слова, и лишь потом их записывал или диктовал (отсюда большое количество его вариантов), Цветаеву нельзя себе вообразить без пера и бумаги, без рабочего стола. У нее вслед за наитием, за озарением следовал контроль — поиски, проверка, отбор — и все это в процессе письменного труда.

В конце 1925 г. в Париж приехал муж МИ, Сергей Яковлевич Эфрон. Я видел их обоих в январе 1926 года, проездом в Гавр, где я должен был сесть на океанский лайнер: я отправлялся в США для чтения лекций в разных городах и сбора средств в пользу политических заключенных в России — тогда еще существовал Политический Красный Крест, во главе его стояла Екатерина Павловна Пешкова, прежняя жена Горького.

МИ показалась мне несколько растерянной. Париж ей явно не нравился, но она бодрилась, говорила об устройстве своего публичного выступления и вскользь упомянула о работе над статьей «Поэт о критике». Сергей Яковлевич переживал свое очередное увлечение — он был погружен в евразийские дела и подготовку «Верст».

В Америке я пробыл полгода, в Европу вернулся летом, отдыхал на юге Франции, а в сентябре возобновил мою обыч-

¹ Белла Ахмадулина перекликается с Цветаевой в конце своего «Описания Комнаты»:

Здесь совмещались стол и локоть,
Тетрадь ждала карандаша,
И, провожая мимолетность,
Безопасно мучилась душа.

ную литературную и общественную работу в Праге. За это время я получил от МИ несколько коротких писем. Из них, а еще больше из рассказов общих знакомых, я узнал об успехе ее февральского вечера и о том, что черное платье, в котором она выступала, ей сделали Наташа и Оля Черновы, они же вышили на нем символическую бабочку — Психею. Деньги с вечера оплатили МИ майскую поездку с детьми и Ольгой Елисеевной Черновой в Вандею. В мятежниках этого края эпохи французской революции МИ видела романтических героев и любила называть русские белые армии «нашей Вандеей»; поэтому и выбрала Сен Жилль на вандейском побережье для отдыха. Сергей Яковлевич остался в Париже, был занят «Верстами». В октябре вся семья поселилась в Медон-Бельвю возле Медонского леса, но ненадолго. Моя первая встреча с МИ после поездки в Америку была именно в Бельвю, 31 декабря 1926 года. Но происходила она совсем не в тех легкомысленных тонах, в каких она ее изобразила в письме к Тесковой (карикатурные, но отнюдь не достоверные — отзвуки этого свидания имеются в «Новогоднее», поэме, напечатанной в 1928 году в третьем выпуске «Верст»). Я действительно привез МИ печальное известие о кончине Райнер Мария Рильке (он умер 29, а не 30 декабря, как она пишет). Отлично зная, как она его боготворила, я сообщил ей о его смерти с большой осторожностью — а не «между прочим» (ее слова). МИ была очень взволнована и сказала: «я его никогда не видела и теперь никогда не увижу».

Перед уходом я спросил, не хотят ли МИ и Сергей Яковлевич встретить новый год у наших общих знакомых, вместе с «вольроссовцами». У меня в то время было большое личное горе, ни о каких праздниках и ресторанах я и думать не мог, речь шла о скромном дружеском вечере. Сергей Яковлевич, как всегда, ждал, как решит МИ, она приглашение отклонила. Но согласилась на мою просьбу написать о Рильке для «Воли России». Через короткое время она прислала мне в Прагу «Твоя смерть», проза эта появилась в нашем журнале в марте 1927 года. Незадолго до этого я прочитал доклад о творчестве Цветаевой в Чешско-Русской Едноте. Очевидно сведений о моем выступлении, посланных по просьбе МИ Тесковой было ей недостаточно, и когда я приехал к ней весной 1927 года, она захотела узнать все подробности и о моей лекции, и о

том, как ее приняла публика. В это время МИ уже переехала в самую деревню Медон, в трехкомнатную квартиру на Авеню Жанн д'Арк.

Она тогда же рассказала мне о планах издания сборника стихов, спрашивала, нравится ли мне название книги — «После России», я его очень одобрил, а затем советовалась насчет своих дальнейших публичных выступлений в Париже, главная трудность для нее всегда была, какие стихи выбрать: «не для себя же читаешь вслух — для других, для себя — пишешь», говорила она. Тогда же условились, что на одном из вечеров я скажу вступительное слово о ее творчестве (это и было сделано значительно позже). Я привез ей корректуры «Твоя смерть» — и мы сговорились о ее переводах писем Рильке (они были помещены в «Воле России» в начале 1929 года).

В том же 1927 году была памятная мне встреча с МИ в Париже, куда она приехала на целый день — «по делам», как она заметила со смехом, как бы подчеркивая нелепость такого сочетания — Марина и дела. Ей стало известно, что я отныне предполагал мое трехмесячное пребывание в Праге чередовать с тремя месяцами в Париже, и спросила, что побудило меня отказаться от постоянного жительства в Чехословакии. Я мог, конечно, ответить, что мы собирались перенести печатание журнала в Париж, приобрели для этого небольшую типографию, и все объяснить тоже делами. Но это был единственный раз, когда МИ поставила мне в упор вопрос, ответ на который — хотя бы частичный — был ей несомненно известен. Я пожал плечами. Она скороговоркой бросила: «мне нужно знать не от чужих, а от вас лично». Тогда я рассказал ей — очень коротко, что Ларисса Бучковская, девушка, которую я любил, была прошлой осенью убита автомобилем председателя Совета Министров Чехословакии, и полиция попыталась скрыть обстоятельства ее смерти от печати и близких. Из-за моего вмешательства дело это получило широкую огласку, включая запрос в парламенте и доклад президенту Масарику. После всего этого мне захотелось переехать в Париж. В заключение я в свою очередь спросил МИ: «но ведь вы все это знали, когда я приехал к вам под новый год, разве вы не видели, в каком я был состоянии?». МИ помолчала, потом сказала: «я была раздавлена смертью Рильке, а о ваших личных пережи-

ваниях не хотела говорить при Сергее Яковлевиче». На эту тему мы с ней никогда больше не беседовали.

Некоторые советские критики охотно делят жизнь и творчество Цветаевой на три периода: московский, включающий формирование поэта и стихи юности и молодости, для многих самые понятные, а потому и наиболее приемлемые; отъезд за границу в 1922 г. и тяжелая жизнь в эмиграции, усугубленная тоской по родине; и, наконец, возвращение в СССР в 1939 году, как бы увенчивающее ее внутреннюю и поэтическую эволюцию. Об одном они умалчивают: ее так хорошо приняли в Советском Союзе, где дочь отправили в концлагерь, мужа убили, и напечатали только одно ее старое стихотворение, что она через два года повесилась. Но вообще вся эта схема выдуманная и лживая. На самом деле все было не так, а гораздо сложнее.

Интересно было бы выяснить, как в среде символистов, акмеистов, футуристов и пролетарских поэтов первых лет революции, могла сложиться такая своеобразная творческая личность, как Марина Цветаева, и эта тема еще ждет своего исследователя. Многие ее лирические стихи и поэмы, написанные между 1912 и 1922 годами очень хороши, но она их постепенно перерастает, и в них все резче выступают черты, отличающие ее от всех ее знаменитых современников, они составляют ее оригинальную поэтику — т.е. именно то, что определяет ее место и значение в русской поэзии двадцатого века. И дар Цветаевой достигает наивысшей полноты именно в изгнании, в некоем безвоздушном пространстве чужбины. Не может быть никаких сомнений, что перелом, который я отмечал в рецензии на ее сборник «Разлука» в 1922 году, завершился в это время, и что за семнадцать лет нужды, одиночества и эмиграции Цветаева написала свои самые замечательные произведения. В частности пражский период (1922-1926) отмечен огромным творческим подъемом: то, что называют «цветаевской манерой» именно в 1922-1926 гг., получает свою наивысшую выразительность и в отдельных лирических стихотворениях, и в «Поэме Горы», «Поэме Конца» и сатирическом «Крысолове» (хотя к последнему, как и ко всякому выдающемуся произведению, имеющему свою собственную форму, не следует

приклеивать литературные ярлыки). Я думаю, что творческий расцвет Цветаевой длился до самого конца двадцатых и начала тридцатых годов, точно, после быстрого разбега, взятого в Праге, она, не останавливаясь, все еще продолжала то же стремительное движение. «У меня бег летучий», говорила она о самой себе. В юношеских стихах у нее: «полы ее пальто как буря» или «мой шаг молодой и четкий

и вся моя правота
вот в этой моей походке» (1915, в «Дне поэзии» М., 1965).

Конечно, вся ее поэзия — кинетическая — в движении и полете слов и ритма. Но уже в 1931-32 годах чувствуется некоторое замедление темпа и растущее количество прозы. Я никак не склонен приписать это внутреннему иссяканию. Причина коренилась во всей обстановке так называемого парижского периода. Только благодаря исключительной стойкости МИ выдержала в тридцатые годы все удары судьбы и не сломилась — сломилась позже, в России.

Очень трудно сказать, в какой мере преобладание прозы над стихами в последние семь лет жизни МИ под Парижем было внутренне обоснованным и вытекало из органической потребности высказать себя в иной форме. Многое, конечно, было вызвано необходимостью: прозу легче было печатать, она доходила лучше, имела читателя, за нее больше платили.

Если взять все пребывание МИ во Франции, то в нем можно легко различить несколько этапов. В 1926-1927 г., несмотря на ряд неудач и зловещих признаков, МИ была полна надежд и верила, что найдет во Франции широкую аудиторию и новые литературные возможности. Подтверждением этих иллюзий был успех ее вечера в феврале 1926 года: он превратился в целое событие, зал был полон до отказа, чтение МИ ее стихов, в том числе и отрывков из «Лебединого стана», вызвало восторженные аплодисменты, а отчеты о выступлении появились во всех русских газетах, парижских и берлинских. Обрадовала ее и перемена позиции Святополка-Мирского: недавно он называл ее «распущенной москвичкой» и даже не включил ее в свою антологию «Русская Лирика» 1924 года, а после выхода в свет «Молодца» и личного знакомства, пре-

вратился в поклонника ее поэзии и преданного друга. Устроенная им поездка МИ в Англию в марте 1926 года и ее двухнедельное пребывание в Лондоне эту дружбу укрепили.

В 1926 и 1927 гг. произведения МИ появились не только в «Воле России» («Крысолов», «Лестница», «Попытка комнаты», «Твоя смерть»), но и в «Верстах» («Поэма горы», «Новогоднее», «Тезей») и в «Благонамеренном», издававшемся в Брюсселе молодым поэтом, князем Димитрием Шаховским (ныне архиепископом Иоанном Сан Франциским). Но именно статья ее во втором (и последнем) выпуске «Благонамеренного» сильно ухудшила ее отношения с видными эмигрантскими критиками. Меня не было в Европе, когда появилась эта статья — «Поэт о критике», с прибавлением «Цветника» — выборки отрывков из противоречивых литературных суждений и оценок Г. В. Адамовича. В ней МИ задела и М. Осоргина, известного своим крайне отрицательным и весьма неубедительным отношением к поэзии вообще (он этим даже несколько снобировал), и Юлия Айхенвальда. Этот последний — мой дядя с материнской стороны — судя по письму, полученному мною от него в июне, после моего возвращения из Америки, был удивлен и обижен нападками МИ — особенно потому, что он хвалил ее в своих статьях и рецензиях (под псевдонимом «Кременецкий») в «Руле», газете, издававшейся в Берлине. Он следил за всем, что МИ печатала, и считал ее выдающимся поэтом.

«Цветник» лишь углубил непризнанье Адамовича к Цветаевой. Они друг друга почти не знали и никаких личных отношений не было. Вражда их была чисто литературной — и оказалась глубокой и длительной. Самый дух поэзии МИ был чужд Адамовичу, вышедшему из акмеизма и ценившему поэтическую сдержанность и ясность. Цветаева оскорбляла его слух — она была для него слишком шумной, бурной, вычурной, он морщился от ее выкриков, резких переносов, скачущих ритмов. От прозы ее он инстинктивно отталкивался и насмехался над ее пьесами о Тезее и Федре и поэмами, навеянными русским фольклором. Я думаю, что в основном он своего отношения к Цветаевой не изменил и по сей день. Повторяю, тут главное было в столкновении различных темпераментов и эстетических подходов. Все критики (и читатели), не принимавшие романтизма как художественного направления и как мироощущения

и превозносившие строгость, собранность и классическую стройность, постоянно упрекали МИ в избытке, словесном и эмоциональном расточительстве, в попытке переплеснуть перескочить — вообще «пере» и «через». Стихийность, анархический спор Цветаевой с миром, бунт ее страстей, весь ее стиль восклицаний, междометий, прерывистого дыхания, «револьверная дробь» ее размеров казались им выходом из берегов или вулканическим взрывом.

Я полагаю, однако, что критика этого рода ошибочна: она приписывает наитию, бессознательной и неогранизованной силе, чуть ли не навождению, то, что у Цветаевой удивительным образом сочетается с упорной поэтической дисциплиной, строгим отбором слов, огромной работой над покорением стихии и превращением ее в сложную, но крепкую лексическую форму. Что эта форма ее собственная, повинующаяся из нее же вытекающим законам — несомненно, но ведь в этом вся неповторимость ее поэзии и ее отличие от обычного у многих романтиков многословия и беспорядка. Повторяю сказанное раньше: достаточно бросить взгляд на цветаевские черновики, чтобы убедиться, как она умела выбирать, сокращать, резать и менять для достижения наибольшей точности и ударности. Она возмущалась, когда переделку и шлифовку рукописей называли «черной работой» — «да ведь это есть самая настоящая поэтическая работа — какая же она черная».

Весной 1928 года при очередной встрече, МИ с иронической усмешкой сказала, что газета «Возрождение» никак не может решить, является ли творчество Цветаевой «дамским рукоделием» или «сколком с Пастернака» и поэтому называет его и тем и другим: выражения эти, действительно, появились в «Возрождении» в феврале. Нападки на Цветаеву усилились с разных сторон. Выход «После России» в 1928 году ничего не поправил. Об этом ее сборнике, бывшем итогом нескольких лет труда, во всей эмигрантской печати появилась только одна хвалебная рецензия — моя в «Днях». Адамович в «Последних Новостях» и Ходасевич в «Возрождении» отнесли к «После России» отрицательно. Распространение ее, конечно, шло туго — я с трудом продал несколько экземпляров этой книги в невзрачной серой обложке. Сейчас она, разумеется, стала библиографической редкостью. Значительная часть ее

перепечатана в московском издании Большой Библиотеки Поэта 1965 года.

МИ не подавала виду, что огорчена неудачей сборника, выпущенного после множества хлопот и усилий, благодаря финансовой поддержке одного мецената, но ей порою казалось, что против нее образовался заговор молчания. Во всяком случае к концу 1928 и в начале 1929 года положение МИ в парижской литературной среде стало очень тяжелым и по политическим и по литературным причинам. Правая эмиграция, забыв о «Лебедином стане», из которого были известны лишь несколько напечатанных отрывков, и не зная оставшегося в рукописи «Перекопа», неодобрительно косилась на сотрудничество МИ в «Воле России». «Цветаева кокетничает с левыми», заявил мне Илья Сургучев при случайной встрече, и назвал «Своими путями» и другие студенческие издания. Я спросил его, а как же «Современные записки»? Он засмеялся и махнул рукой: «одного поля ягода, только более приличны, чем другие».

Немалую роль в усиливавшейся враждебности к МИ сыграли «Версты»: ее обвиняли в близости к евразийцам, их считали полубольшевиками — и к ним принадлежали и ее муж, Сергей Эфрон, и ее друг и защитник Святополк-Мирский. Сейчас это может показаться смешным, но тогда многие возмущались тем, что «Версты» перепечатывали произведения советских писателей, и что МИ не отказывалась от появления рядом с ними. В двадцатые годы споры между различными группами эмиграции были ожесточенными, разномыслие вело к личной вражде, интерес к советской литературе казался подозрительным, а объективная оценка таких писателей как Пильняк, Бабель, Федин, Вяч. Иванов, Фадеев, Леонов считалась изменной анти-большевизму. Благомыслящему эмигранту полагалось утверждать, что чаша русской литературы выплеснута в Европу, как писала Зинаида Гиппиус, она же Антон Крайний, и что мы не в изгнании — а в послании. С Востока не могло придти ничего, кроме зла и распада, пропаганды и обмана. К этому присоединялось то, что я называл «литературным охранительством», т.е. обязательной преданностью традициям славного прошлого.

Для Бунина, например, и для сотен средних читателей Маяковский был неприемлем не только потому, что он воспевал коммунизм, Ленина и партию (хотя и не состоял в ней), а потому, что он делал это в футуристических стихах со всевозможными словесными и стилистическими новшествами. Над Пастернаком издевались, и Тэффи в связи с ним вспоминала детский стишок: «танцевала рыба с раком и петрушка с пастернаком». И даже позже в 1933 году, когда я выпустил мою книгу «Портреты советских писателей» с изображением Пастернака работы Юрия Анненкова на обложке, многие усмотрели в этом «вызов» и «советофильство». Цветаеву сопричислили к Маяковскому и Пастернаку. Бунин сочинял о ней частушки не для печати, Зинаида Гиппиус отзывалась о ней с презрением и просила «Современные записки» не печатать ее собственных стихов рядом со цветаевскими. Вообще большинство писателей до-революционного поколения попросту не понимали новой поэзии. Петр Струве, несмотря на весь свой ум, видел в ней (включая и Цветаеву) некую болезнь века и осуждал ее, как ненужную и бессодержательную невнятицу. Некоторые не принимали даже Блока — из-за его «Двенадцати» — а уж об Есенине и Маяковском и речи быть не могло: все это клеймили как «революционную нечисть». Один только Бальмонт хорошо относился к Цветаевой: услышал ее ритмы. (Осоргин говорил, что ее «Крысолов» — «весьма музыкальная нелепость»). Советскую литературу двадцатых годов вообще отрицали не только Гиппиус с Мережковским, неизбежно поминавшем дьявола при всяком обсуждении московских и ленинградских писателей, но и более терпимые эмигранты. В этом повальном неприятии политическая предвзятость соединялась с литературным традиционализмом и кружковщиной, и тут в одном лагере оказывались реакционеры и кадеты, умеренные социалисты и консерваторы. «Возрождение», рупор правых и монархистов, мало чем отличалось в своей литературной позиции от либеральных «Последних Новостей», и резкая критика Ходасевичем поэзии Цветаевой на страницах гукасовской газеты перекликалась с едкими замечаниями Адамовича в милюковском органе. Впоследствии, впрочем, Ходасевич смягчил и изменил свое отношение к МИ. И эсеровские руководители «Современных записок», в частности В. В. Руд-

нев и М. В. Вишняк, мало что понимали в искусстве и были глухи к литературе, а особенно к поэзии.

Самое любопытное, что к этому единому фронту, включавшему именитых и разнокалиберных столпов эмиграции, примкнули — хотя порою и боком — представители «молодого поколения». Среди них было немало участников или последователей символистов и акмеистов, и они продолжали плыть в течении, сыгравшем большую роль в до-революционные годы, но потом превратившемся в мелководье. Не даром такие поэты как Мандельштам и Ахматова вышли за пределы акмеизма ими же созданного вместе с Гумилевым и нашли новые пути. А эмигранты среднего возраста охотно продолжали за рубежом прежние литературные направления, уже клонившиеся к упадку. В какой-то мере они жили в прошлом. И конечно, цветаевская мятежная поэзия, по духу революционная, по ритму и стилю новаторская, совсем их не привлекала, вернее, могла привлечь лишь немногих, по преимуществу одиночек. Помимо всего прочего, в русском литературном Париже преобладала мода на изысканно минорную лирику, поощряющуюся Адамовичем — я окрестил ее тогда «франко-петербургской меланхолией». Для учеников Адамовича, сторонников «бе-моля» в поэзии (Адамович охотно цитировал Валери, предостерегавшего от «диеза» и предпочитавшего «естественный тон») цветаевское утверждение силы и страсти было грубым явлением природы, а не гармонией искусства. В 1927 году на конкурсе журнала «Звено» стихотворение Цветаевой не попало в числе двадцати отобранных из анонимно присланных двухсот, но удивляться этому не приходится: в жюри входили Адамович и Гиппиус (третьим был К. Мочульский).

Обострение отношений между МИ и теми эмигрантскими кругами, которые задавали тон и считали себя представителями и выразителями русской культуры за рубежом, произошло в конце 1928 и начале 1929 года. В ноябре 1928 года Маяковский выступил в Париже с чтением своих стихов. На одном из его вечеров присутствовала МИ и ее разговор с поэтом при выходе из Кафе Вольтер так был ею передан в газете «Евразия» от 28 ноября: МИ вспомнила, как в апреле 1922 года, перед отъездом в Берлин, она встретила Маяковского на Куз-

нецком мосту и спросила — «что передать от него Европе?». Он ответил: «что правда здесь». Через шесть лет ей тоже задали вопрос: что она скажет о России после выступления Маяковского? Она ответила: «что сила там».² В этом контексте слова Цветаевой можно было истолковать, как противопоставление «силы там» — «правде здесь», но никто так их не понял, а, наоборот, в них заподозрили чуть ли не признание и восхваление советского режима. «Последние Новости» тотчас же прекратили печатание ее стихотворений: по иронии судьбы это были отрывки из «Лебединого стана», воспевавшие белое движение. Не менее любопытно, что в это же время (в декабре 1928 г.) когда МИ заканчивала свой «Перекоп» — опять-таки о белом движении — в «Воле России» появилась ее поэма «Красный бычок», в ней были такие строки:

«бычья, бычья, бычья
 кличка большевик...
 Я большак, большевик,
 Поля кровью крашу,
 красен мак,
 красен Бык
 красно время наше».

Анти-коммунистическое настроение «Красного Бычка» совершенно явное. Поэма не включена в советские издания избранных произведений Цветаевой 1961 и 1965 гг.

²) Анатолий Никульков (родился в 1922 г.) во второй части своей романизированной биографии Маяковского, помещенной в «Сибирских Огнях» (книга 7, 1970 г., стр. 83-84) весьма вольно — и неправильно — изображает этот эпизод. Он выдумывает выступление Цветаевой, яко бы заявившей: «без Маяковского русская революция сильно бы потеряла... Он первый в мире поэт масс... Первый новый человек нового мира...» Конечно, никогда таких глупостей МИ не говорила, как не могла ответить на вопрос Маяковского «какого же черта вы тут? Вы же все равно вернетесь!» — «Может быть вернусь, Владимир Владимирович». «Он поцеловал узкую, худую руку». Это один из примеров широко распространенного в СССР «исправления истории». Все, кто встречал МИ в эти годы, отлично знают, что она и не помышляла тогда о возвращении. Между прочим, рука у нее была не узкая, а жилистая, «рабочая», как она сама говорила. У Никулькова она широким жестом подзывает таксомотор для возвращения в Медон. Это тоже миф: такая поездка съела бы недельный бюджет всей ее семьи.

В это же время, в начале 1929 года, МИ заканчивала свой «Перекоп» и дала мне прочитать эту «белогвардейскую поэму», как она называла ее с усмешкой. При ближайшей встрече она спросила, стоит ли предложить ее «Воле России». Я сказал, что если «Перекоп» нельзя устроить в другом журнале, мы можем его напечатать, ведь мы ни одной ее вещи не отвергли — но, честно говоря, сделаем это без особого энтузиазма, она сама должна решить. «Это значит по дружбе и снисхождению, а не по убеждению», заметила МИ, глядя куда то в бок (она никогда не смотрела в глаза собеседнику). Затем, подумав, прибавила: «ну, ничего, пускай полежит». Сергей Яковлевич, как я узнал впоследствии, посоветовал ей не торопиться с «Перекопом» и — редкий случай — она его послушалась. О переговорах со мной она так потом написала Тесковой: «даже «Воля России» отказалась, мягко, конечно, не задевая, скорее отвела, чем отказалась».³ Но я считал «Перекоп» слабым произведением.

Позже, кажется в 1932 году, МИ дала мне на прочтение ного посвящения: это были ее воспоминания о Мандельштаме другую рукопись — в ученической тетрадке — «Историю од — в связи с «подвалом» Георгия Иванова в «Последних Новостях» (февраль, 1930) под заглавием «Китайские тени». В этом фельетоне он, по своему обыкновению смешивая немного правды с обилием вымысла, рассказывал всякие небылицы об авторе «Триствия» и якобы раскрывал жизненную подоплеку некоторых его стихотворений. МИ была возмущена ошибками и выдумками Иванова, но в своем полемическом восстановлении истины не назвала его по имени, а приятельницу, которой посвятила эту свою прозу, обозначила инициалами Е. А. И. Она понимала, что поместить «Историю одного посвящения», это свидетельство о живых людях, в парижских эмигрантских изданиях нельзя будет, а «Воля России» уже закрылась. В 1939 году, перед отъездом она оставила для меня пакет с этой тетрадкой и другими материалами у общей знакомой, Тамары Владимировны Тукалевской (ныне покойной), с припиской: «может-быть — когда-нибудь — удастся напечатать». Я по-

³ Я недавно узнал, что «Перекоп» скоро полностью появится во втором издании «Лебединого стана», которое выпустит Глеб Струве: поэма увидит свет через 42 года после ее написания.

лучил пакет лишь после войны и опубликовал «Историю одного посвящения» в 1964 году в XI выпуске «Славянских Материалов Оксфордского Университета» (Oxford Slavonic Papers).

Во время нашей встречи в самом начале 1929 года я упомянул о моих частых беседах с художниками — Ларионовым и Гончаровой. Услыхав это имя, МИ загорелась: «Как Наталья Гончарова? Совпадение или родство?» Мое описание Натальи Сергеевны еще более ее подзадорило. Мы условились, что она придет завтракать со мной в ресторан Варэ на улице Сен Бенуа, подле Сен Жермэн. Про Варэ рассказывали, будто он был не то денщиком, не то лакеем Гийома Аполлинера. Во всяком случае, в его тесном помещении под вывеской «У маленького Сен Бенуа» бывали и Андре Жид, и Дюгамель, многие видные французские писатели, журналисты и художники, обычно сидевшие за одним столом с шоферами такси и служащими соседних контор. «Маленький Сен Бенуа» был также штаб-квартирой «вольроссовцев», и Ларионова и Гончаровой, они ежедневно в нем завтракали и обедали и туда же приглашали знакомых живописцев, скульпторов, танцоров, музыкантов, особенно тех, кто работал с ними у Дягилева.

Перед моим очередным отъездом в Прагу в самом конце января я познакомил в ресторане Варэ МИ с Натальей Сергеевной Гончаровой, и обе друг другу понравились. МИ сразу привлекли в Гончаровой ее тихий голос, медлительные, сдержанные манеры, внешнее спокойствие, под которым легко было угадать натуру страстную и глубокую, ее чисто русская красота. (Впоследствии, к старости, у Натальи Сергеевны стал иконописный лик, — она походила на скитницу, на монахиню).

После завтрака, мы пошли в Кафе Флор, сели там в уголок и МИ сказала, что хочет писать о двух Гончаровых и, опустив глаза, прочла свое стихотворение о той, первой Наталье:

Счастье или грусть —
 Ничего не знать наизусть,
 В пышной гальме катать бобровой,
 Сердце Пушкина теребить в руках
 И прослыть в веках
 Длиннобровой,
 Ни к кому не суровой.

Сон или смертный грех
Быть как губы, как веер, как мех,
И, не слыша стиха литого,
Процветать себе
Без морщин на лбу,
Если скучно — кусать губу,
И потом в гробу
Вспоминать Ланского.

Стихи эти очень понравились Гончаровой, и она сразу условилась с МИ о ближайшем, более длительном, свидании. Я после узнал, что они виделись несколько раз. МИ говорила, что Гончарова действует на нее успокаивающе, и была от нее в восторге. К картинам, которые Наталья Сергеевна ей показывала, она осталась довольно холодна: для нее это были как бы иллюстрации и подтверждения к тому словесному портрету Гончаровой, который она воображала и создавала — и потом запечатлела в своем очерке («Воля России», 1929, кн. 5-6, 7, 8-9).

Как я уже говорил, у МИ была не зрительная, а слуховая память; живопись — в частности Гончаровскую — она воспринимала, как многие близорукие: и рисунок, и краски сливались у нее в некое общее впечатление, она переводила их на свой язык ритма и звуков. Это был обычный для нее процесс восприятия внешнего мира. Дружба, вернее восхищение МИ длилось лишь то время, когда она писала о Гончаровой и исправляла корректуру своего очерка. Уже в конце года МИ жаловалась: «с Гончаровой что-то остыло. Приду — рада. Не зовет — никогда». Странно, что МИ не ощутила сдержанности — я сказал бы эмоциональной робости — Натальи Сергеевны на людях и ее полного самовысказывания в творчестве. В этом они были слишком схожи — и это мешало их сближению. Во всяком случае, именно так я истолковал несколько уклончивые замечания Гончаровой, когда в 1930 году я осторожно спросил ее об отношениях с МИ. Она, очевидно, сразу разгадала, что МИ создавала легенду о мужчинах и женщинах, с которыми собиралась дружить — и любила не их, а ею сотворенный мифологический образ — и потом огорчалась и сердилась, что ему не соответствует живой человек.

Поэзия МИ находила отклик главным образом среди молодых поэтов и прозаиков, группировавшихся вокруг «Кочевья», литературного объединения, основанного под моим руководством в 1928 году.⁴ На многолюдных собраниях в нижнем зале таверны Дюмениль на Монпарнассе царила полная свобода слова и ею охотно пользовались ораторы, принадлежавшие к самым различным течениям. Однажды Д. Святотоплк-Мирский, прославлявший «Разгром» Фадеева — роман действительно хороший, хотя и подражательный — громко заявил, что за несколько его глав готов отдать всего Бунина. Я не выдержал и крикнул: «Дмитрий Петрович, да вы ведь вероятно этого и не думаете, а говорите нарочно, чтоб раздражить гусей». Он ухмыльнулся, но промолчал. Этот умный, тонкий и блестящий критик любил поражать своими парадоксами, «*pour épatier les bourgeois*», как говорят французы. За его пророчество, что Чехова перестанут читать через десять лет, я назвал его «литературным самодуром» — МИ долго не могла мне этого простить. Она иногда бывала на вечерах «Кочевья», например, на моем докладе о зарубежной поэзии в марте 1929 г. (она о нем писала — «идеи те, слова не те»), но как всегда среди толпы чувствовала себя неудобно, и сердилась, что я не нахожу времени для беседы с ней. Она даже написала Тесковой, что на апрельском собрании (1929) по случаю годовщины «Кочевья», я, сидя на председательском месте — «справа блондинка, слева брюнетка, к литературе непричастные», не обмолвился с ней ни словом. Впрочем, «слово» было, хотя я и должен был вести собрание и направлять шумные и бурные прения. Мы в перерыве поговорили о «деле»: сколько листов следует оставить в очередном номере «В. Р.» для первой части ее очерка о Гончаровой (весь очерк занял около восьмидесяти страниц).

Как раз в это время МИ особенно остро ощущала свое одиночество. В 1930 году, несмотря на возобновление сотрудничества в «Последних Новостях», она была более изолирована в Медоне, чем за пять лет до того в чешской деревне. В эмигрантском литературном Париже она явно пришлась не

⁴ У нас не было своего печатного органа, но мы устраивали доклады о советской и зарубежной литературе и вечера устного журнала — на них авторы читали свои произведения, затем следовало их обсуждение.

ко двору. В лучшем случае ее терпели в газетах и журналах, где она могла печататься, и сотрудничество ее часто происходило в условиях, казавшихся ей оскорбительными. Она не заняла никакого места в эмигрантском «обществе» с его салонами, политическими и литературными, где все знали друг друга, как я говорил, «сидели за одним чайным столом», и, несмотря на различие взглядов и положений, находились «среди своих». Она же была дичком, чужой, вне групп, вне личных и семейственных связей — и резко выделялась и своим обликом, и речами, и поношенным платьем, и неизгладимой печатью бедности.

В Медоне немногочисленные и случайные ее знакомые не могли создать той духовной среды, которой ей недоставало. Правда, она дружила с умной и образованной Е. А. Извольской, жившей с матерью в знаменитом доме на Авеню де ля Гар (кажется, на углу авеню маршала Жоффра). В нем обитало столько эмигрантов, что его прозвали русским. МИ иногда ходила в гости к соседям Извольских, старикам Масленниковым. Он — бывший член Государственной Думы, кадет, считался либералом, остальные члены его семьи примыкали к правым и монархистам. Они были родом из Саратова, МИ говорила, что у них «покойно и тепло», «как в старой русской провинции», и сидя у них она вспоминала Александров, Владимирской губернии, где жила в 1916 году.

Были и другие знакомые, но все те, кого она могла считать друзьями, находились за границей или в Париже, с последними виделась она редко, отчасти и потому что поездки в город стоили денег, а ей надо было беречь каждый грош.

Ко всему этому присоединялось и одиночество в семье. О нем многие догадывались, но определенно знали лишь близкие люди. Прежде всего трудными и сложными были ее отношения с мужем, Сергеем Яковлевичем. Это был высокий, тонкий человек с узким, красивым лицом, медленными движениями и чуть глуховатым голосом.

Несмотря на широкие плечи, отличное, почти атлетическое сложение — всегда держался прямо, чувствовалась в нем военная выправка, — он был подвержен всяческому немощам. Худой, с нездоровым сероватым цветом лица и подозрительным покашливанием, он периодически болел туберкулезом и астмой. В 1925 году по просьбе МИ я устроил его в лечеб-

нице («здравнице») Земгора под Прагой. В 1929 году у него вновь открылся процесс в легких, и ему пришлось провести восемь месяцев в санатории в Савойе, оставив МИ одну с детьми. Он не мог долго работать, скоро уставал, его то и дело одолевала нервная астма. Я всегда видел в нем неудачника, но МИ не только его любила, но верила в его благородство и гордилась, что пражане называли его «совестью евразийства». Она и в 1932 году видела его таким же, каким описала в июне 1914 года, в Коктебеле:

Его чрезмерно узкое лицо
 Подобно шпаге.
 Безмолвен рот его, углами вниз,
 Мучительно великолепны брови.
 В его лице трагически сплелись
 Две древних крови.
 В его лице — я рыцарству верна,
 Всем вам, кто жил и умирал без страху!
 Такие — в роковые времена —
 Слагают стансы и идут на плаху.
 («Из юношеских стихов», День Поэзии, М. 1968).

У него было сильно развито чувство долга, в преданности он мог идти до конца, упорство уживалось в нем с жаждой подвига. Как и многие слабые люди, он искал служения: в молодости служил Марине, потом Белой Мечте, затем его захватило евразийство, оно привело его к русскому коммунизму, как к исповеданию веры. Он отдался ему в каком-то фанатическом порыве, в котором соединялись патриотизм и большевизм, и готов был все принять и стерпеть во имя своего кумира. За него и от него он и погиб. Но это случилось в конце тридцатых годов. А в начале их жизни во Франции, как впрочем и в Праге, для Сергея Яковлевича, самолюбивого и гордого, нелегко было оставаться «мужем Цветаевой» — так его многие и представляли. Он хотел быть сам по себе, считал себя в праве — и был прав — на собственное, от жены обособленное существование. Интересы их были разные, несмотря на «совместность», на которой так настаивала МИ, то-есть многолетний брак. Общности взглядов и устремлений я у них не замечал, шли они по неодинаковым путям. МИ поэтому могла в минуту полной откровенности говорить о

своем одиночестве и отсутствии большой любви: «я дожила до сорока лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете», — этим она зачеркивала всех — и даже Сергея Яковлевича. Впрочем, еще в 1913 году она писала: «я одна с моей большой любовью к собственной моей душе».

На посторонних эта пара производила странное впечатление: они говорили друг с другом на «вы», их отношения казались формальными, их даже трудно было признать товарищескими, каждый оставался в своем углу, работали они в разных и далеких областях, и встречались главным образом за семейными трапезами: тут МИ выполняла роль домашней хозяйки. Политика, социальное так же безраздельно владели Сергеем Яковлевичем, как слово, поэзия Мариной. В этом был их коренной разлад и источник непонимания, утаивания и молчания.

Сергею Яковлевичу не много было нужно, материальной нужды он как-то не замечал, и почти ничего не мог сделать, чтобы обеспечить семью самым насущным. Зарабатывать он не умел — не был к этому способен, никакой профессией или практической хваткой не обладал, да и особых усилий для устройства на работу не прилагал, не до этого ему было. И хотя МИ он несомненно любил искренне и глубоко, не постарался взять на себя все тяготы быта, освободить ее от кухонного рабства и дать ей возможность всецело посвятить себя писанию.

А ведь МИ не только воспитывала детей, варила, стирала, убирала, но и зарабатывала — ее гонорары занимали главное место в бюджете семьи. Она все это принимала, о Сергее Яковлевиче заботилась, как о больном ребенке, ему безраздельно доверяла, видела вокруг его головы ореол идейной прямоты и честности. Эта вера так ее ослепляла, что, живя бок о бок с мужем, она и не подозревала как далеко он зашел не только в политических взглядах, но и в своих тайных действиях.

МИ очень любила сына и дочь, но забота о них только утяжеляла ношу на ее плечах. Поэт — ставший пленником мелкой обыденности, прикованный к ежедневному постылому труду, — в этом была одна сторона цветаевской трагедии. А другая в том, что ее «век миновал». Какой горечью звучит

эта фраза одного из ее писем: «есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, и я дома — посуда — метла — котлеты — сама понимаю». На свою долю она никогда не жаловалась. Вероятно поэтому я так хорошо запомнил ее слова во время одного из моих приездов к ней в Медон в 1932 году. Она сидела за кухонным столом, низко нагнувшись над тетрадь, Мур возился в углу. Я спросил, не помешал ли ей. Она, смотря вбок, по своему обыкновению не глядя на меня, ответила поразившим меня, ей не свойственным упавшим голосом, что просматривает старые черновики, а писать ей сейчас очень трудно. «Вы ведь знаете, добавила она, для меня самое лучшее время — утро, а тут готовь всем завтрак, надо мыть Мура, с ним гулять, потом идти на рынок выбирать что-нибудь подешевле, какое тут писание. Иногда неделями не хватает времени. При настоящей работе самое важное — вслушиваться в себя, для этого нужны досуг, тишина, одиночество, могу их добиться только урывками, часто с бою».

В письмах к разным корреспондентам она упоминала неоднократно, что «жизнь за городом непомерно тяжела, даже мне», что из-за людской толчеи и ведения хозяйства — «чувства спят». Обваливая рыбу в муке, можно думать — «но чувствовать не могу, запах мешает».⁵

Пастернаку она писала:

Дай мне руку — на весь тот свет,
Здесь — мои обе заняты.

Когда Аля была маленькой девочкой и писала стихи МИ была в восторге и гордилась необыкновенной дочерью: похожа на мать. Но с годами черты вундеркинда стерлись, и Аля выросла совершенно нормальной девочкой. «Она просто умная», говорила МИ с явным сожалением. От матери она унаследовала упорство, несомненное чувство поэзии и вспышки иронического юмора, некоторую замкнутость и несколько

⁵ На этом останавливается В. Каверин в романе «Перед зеркалом» («Звезда», 1971, кн. 1-2), в котором он вывел Цветаеву под именем Лариссы Нестроевой. Портрет ее дан на основании уже опубликованной ее переписки с разными лицами. Кроме того, имеются сведения и о личном знакомстве Каверина с Цветаевой в 1939-1940 в Москве.

жесткий и ревнивый характер. Я помню Алю, когда в 1931 году ей исполнилось восемнадцать лет. Это была взрослая девушка, далеко не избалованная жизнью. Знакомые МИ на нее обращали мало внимания — и это ее раздражало. Она помогала матери, чем могла, но без большой охоты, втайне ее очень любила — несмотря на постоянные ссоры и стычки. Она — естественно — хотела быть самостоятельной, идти своей дорогой — авторитет МИ давил ее, устремления и интересы МИ не совпадали с ее собственными, гармонии в их отношениях не было. Под влиянием Сергея Яковлевича, все более и более тяготевшему к Советскому Союзу, Аля уже с 1933 года стала помышлять о возвращении на родину, и из-за этого возникали новые размолвки с матерью.

В это время — начало тридцатых годов — МИ не скрывала своих чувств по этому поводу: «все меня выталкивают в Россию, в которую я ехать не могу, здесь я ненужна, там я невозможна». «Все» это, конечно, семья. Помню, в 1935 году она не скрывала, как она выражалась, «отхода Али», и у нее возникали сомнения насчет судьбы Мура, если ему предстояло остаться бездомным эмигрантом. Через два года — в 1937 — Аля уехала в СССР, вскоре была арестована, провела около восемнадцати лет в лагерях и ссылке, и только после смерти Сталина, кажется, в 1955 году получила возможность поселиться сперва в Таруссе, а затем и в Москве. Она отдала все свои силы на служение памяти матери, в этом видела свою миссию и долг. Она собрала архив рукописей МИ, много поработала и продолжает работать над опубликованием ее произведений, и делает это со страстью и ревнивым обожанием, как бы искупая прежние грехи и утверждая в то же время свое исключительное право распоряжаться литературным наследством матери.

Между Алей и Муром была разница в тринадцать лет. Когда ему шел пятый год, большеголовой, тучный, неприветливый, он был трудным ребенком и отнимал у МИ много времени. Она его обожала и все от него сносила безропотно. Когда ее спрашивали, какое настоящее имя Мура, она с охотой отвечала, — что он — Георгий, по имени победоносца, покровителя Москвы и, по народному поверью, заступника и волков, и стад. И прибавляла: он — как родившийся в воскресенье — дитя солнца (она говорила по-немецки — Зон-

тагскинд) и поэтому понимает язык зверей и птиц. МИ рассердилась, когда я пошутил, что если прозвище взято от кота ее любимого писателя Эрнеста Теодора Амадеуса Гофмана, то произносить и писать его надо «Мурр», с двумя «р».

Мур был постоянно с взрослыми, в школу МИ его не пускала, в десять лет он принимал участие в беседах сестры и родителей на общих основаниях, вел себя как взрослый. Я его не любил, он казался мне грубоватым и избалованным. В последний раз я видел его перед отъездом в Россию, ему шел тогда пятнадцатый год. Высокий, полный, женоподобный, он выглядел старше своих лет. К матери он обращался на «вы», но это не мешало ему резко ее прерывать — «вы ничего не понимаете», «это вздор». МИ терпеливо но безуспешно пыталась объяснить ему, почему ее слова — совсем не вздор. У него одно было на уме — уехать в Советский Союз, он с упорством одержимого требовал этого от матери, и сыграл большую роль в ее окончательном решении.

После самоубийства Маяковского МИ сказала: «жил, как человек, умер, как поэт», и написала большую — в семь страниц — поэму «Маяковскому» (не смешивать с 16 строками под тем же заглавием, написанными в 1921 г. и помещенными в «Ремесле» — «Превыше крестов и труб
Крещеный в огне и дыме
Архангел-тяжелоступ
Здорово в веках, Владимир»).

Она начинается четырьмя строчками запева и кончается такой же короткой концовкой:

«много храмов разрушил,
а этот ценней всего.
Упокой, Господи, душу
усопшего врага твоего».

В одной из семи глав поэмы — разговор Маяковского с Есениным на том свете, и Маяковский спрашивает о Блоке, Сологубе и Гумилеве. «Современные Записки» и «Последние Новости» побоялись печатать эту поэму: она была мною помещена в 11-12 выпуске «Воли России» за 1930 год. В мос-

ковское издание избранных произведений Цветаевой 1965 года она, конечно, не вошла, хотя она была написана тридцать пять лет тому назад, ее «вольно-крамольный» язык, как выразился один советский вельможа, все еще неприемлем для московских цензоров.

У меня сохранились заметки о поездке в Медон в 1931 году вместе с Сергеем Прокофьевым. Он тогда окончил свой пятый концерт, которым потом дирижировал в Берлине, и собирался писать «Ромео и Джульету». Он знал стихи МИ и восхищался ими, говорил, что в них «ускоренное биение крови, пульсирование ритма» — я напомнил ему ее же слова: «это сердце мое искрою / магнетической рвет ритм». Мы ехали из Парижа в машине Прокофьева, его тогдашняя жена Лина Ивановна сидела позади и все время переругивалась с мужем. Полу-испанка, полу-русская она в свои замечания вносила южный пыл и северное упорство. Впрочем, в одном она была права: Прокофьев был никудышним водителем: на обратном пути из Медона он на бульваре Экзельманс въехал в пилястр воздушной железной дороги и чуть нас не убил.

МИ была очень рада нашему посещению, накормила нас супом, читала свои стихи, и много шутила. Когда Прокофьев в разговоре употребил какую-то поговорку, МИ тотчас обрушилась на пословицы вообще — как выражения ограниченности и мнимой народной мудрости. И начала сыпать своими собственными переделками: «где прочно, там и рвется», «с миру по нитке, а бедный все без рубашки», «береженого и Бог не бережет», «тишь да гладь — не Божья благодать», «тише воды ниже травы — одни мертвецы», «ум хорош, а два плохо», «тише едешь, никуда не приедешь», «лучше с волками жить, чем по-волчьи выть». Прокофьев хохотал без удержу, Лина Ивановна улыбалась снисходительно, а Сергей Яковлевич одобрительно.

В конце вечера Прокофьев заявил, что хочет написать не один, а несколько романсов на стихи МИ, и спросил, что она хотела бы переложить на музыку. Она прочла свою «Молвь», и Прокофьеву особенно понравились первые две строфы:

Емче органа и звонче бубна
Молвь — и одна для всех.

Ох — когда трудно, и ах — когда чудно,
 А не дается — эх!
 Ах — с эмпиреев, и ох — вдоль пахот,
 И согласишься, поэт,
 Что ничего, кроме этих ахов,
 Охов, у Музы нет.

«А воображение?», спросил Прокофьев, «разве не это самое главное у Музы?» Тут завязался спор. МИ утверждала, что не одна поэзия, но вся жизнь человеческая движется воображением. Колумб воображал, что между ним и Индией — вода, океан, — говорила она — и открыл Америку. Ученые, не видя, находят звезды и микробы, тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации. И нет любви без воображения. «Что ж, по вашему, — опять спросил Прокофьев, — это озарение?». «Нет, это способность представлять себе и другим выдуманное, как сущее, и незримое, как видимое». Прокофьев потом признался, что был согласен с Цветаевой, но нарочно вызывал ее на беседу. Когда он заметил, что она слишком абстрактно представляет себе воображение, она обычной скороговоркой, но отчетливо выделяя слога, сказала, что во-ображение значит во-площение образа. А также предчувствие, пред-угадывание — и оно конкретно, а не абстрактно, потому что раскрывает существо предметов, не просто их описывает. И закончила со смехом «зри в корень, но не по Козьме Пруткову». И прибавила: «а вот сюрреалисты для меня, пожалуй, слишком абстрактны».

На обратном пути Прокофьев с восторгом говорил о том, с каким напряжением и силой МИ все воспринимает, даже не очень важное, а потом с таким азартом начал обсуждать, какие ее стихотворения лучше всего подойдут для пения, что вероятно из-за этого и въехал, куда не следовало. На другое утро позвонил мне по телефону, спрашивая о стихотворении, прочитанном МИ и кончавшимся: «начинает мне монастырь сниться, отоснились вы». Я не раз слышал его в чтении МИ, но помнил только начало:

Полнолуние и мех медвежий
 И бубенчиков легкий пляс.
 Легкомысленнейший час, мне же —
 Глубочайший час.

Время совье,
Птенчиков прячет мать.
Рано вам начинать
С любовью.

Милый сверстник,
В вас еще душа жива,
Я же люблю слова
И перстни.⁶

В 1936 году, когда Аля готовилась к отъезду, а Сергей Яковлевич уже служил в Союзе возвращения на родину и полностью сотрудничал с большевиками, МИ закончила поэму об убийстве царской семьи и решила прочитать ее у Лебедевых, но попросила, чтобы среди немногих приглашенных на этот вечер обязательно был я.

МИ объяснила, что мысль о поэме зародилась у нее давно, как ответ на стихотворение Маяковского «Император». Ей в нем послышалось оправдание страшной расправы, как некоего приговора истории. Она настаивала на том, что уже неоднократно высказывала: поэт должен быть на стороне жертв, а не палачей, и если история жестока и несправедлива, он обязан пойти против нее.

Поэма была длинная, с описаниями Екатеринбургa и Тобольска, напомилавшими отдельные места из цветаевской «Сибири», написанной в 1930 году и напечатанной в «Воле России» (кн. 3-4, 1931). Почти все они показались мне очень яркими и смелыми. Чтение длилось больше часу, и после него все тотчас же заговорили разом. Лебедев считал, что — вольно или невольно — вышло прославление царя. МИ упрекала его в смешении разных плоскостей — политики и человечности. Я сказал, что некоторые главы взволновали меня, они прозвучали трагически и удались словесно. МИ быстро повернулась ко мне и спросила: «а вы бы решились напечатать поэму, если б у вас был сейчас свой журнал?» Я ответил, что

⁶ Эти строки из юношеских стихов не вошли ни в один из до сих пор напечатанных сборников произведений Цветаевой, но, кажется, имеются в антологии «Портреты русских поэтов», изданной Эренбургом в Берлине в 1922 г.

решился бы, но с редакционными оговорками — потому что поэма независимо от замысла и желаний автора была бы воспринята как политическое выступление. МИ пожалала плечами: «но ведь всем отлично известно, что я не монархистка, меня и Сергея Яковлевича теперь обвиняют в большевизме». Тут все наперебой начали ее убеждать: дело не в том, что вы думаете, а какое впечатление производят ваши слова. Как всегда спокойная Маргарита Николаевна Лебедева умерила наш пыл: спор ведь оставался чисто теоретическим, поэму все равно негде было печатать. МИ задумалась, потом с усмешкой заметила, что, пожалуй, когда-нибудь напишут на первой странице: «из посмертного наследия Марины Цветаевой». Но этому предсказанию не суждено было сбыться. Перед отъездом МИ в Россию, в 1939 году, поэма об убийстве царской семьи и значительное количество стихов и прозы, которые МИ справедливо называла «неподходящими для ввоза в СССР», были — при содействии наших иностранных друзей — отосланы для сохранения в международный социалистический архив в Амстердаме: его разбомбили гитлеровские летчики во время оккупации Голландии, и все материалы погибли в огне.

Странная участь постигла длинное письмо, посланное мне МИ на другой день после чтения поэмы, она в нем с горячностью защищала право поэта говорить безбоязненно обо всем, о чем не полагается, и как «ему поется». И это и все другие письма Цветаевой ко мне на литературные и личные темы (их было свыше полутораста), я дал на сохранение вместе с архивом «Воли России» одному моему парижскому знакомому А.С.С-ву. После войны он уехал в СССР и либо уничтожил то, что я ему вверил, либо увез все с собой. Я все еще надеюсь, что весь этот очень ценный материал не погиб, и в будущем отыщется в каких-нибудь советских литературных архивах.

В 1931 году положение МИ сильно ухудшилось — во всех отношениях. Она болела, от малокровия и плохого питания у нее вылезали волосы, денег совсем не было, она писала Тесковой: «такая жизнь — живем в долг в лавочке, и часто нет одного франка пятнадцати сантимов, чтобы ехать в Париж

— при моей непрестанной работе, все-таки незаслужена. Погубило меня — терпение, моя семижильная гордость, якобы все могущая: и поднять, и сбросить, и нести, и снести». В 1932 году стало еще хуже: из экономии переехали из Медона в другой пригород — Кламар, сменили две квартиры, а позже обосновались в рабочем предместьи Исси ле Мулино. «Воля России» закрылась, в Праге шло сокращение «русской акции» и ежемесячной субсидии в пятьсот крон (около 400 франков) не стало. Были месяцы, когда пять франков в день за вязанья Алей шапочек, составляли единственный постоянный заработок семьи. «Мы медленно подышаем с голоду», говорила МИ. Им не удалось бы выжить без помощи друзей, особенно Саломеи Николаевны Гальперн, бывшей княжны Андрониковой, «Соломинки» Мандельштама, воспетой Ахматовой («красавица тринадцатого года, всех розовой и выше»). В 1933 году я пытался организовать нечто вроде комитета, вернее группы лиц, по преимуществу состоятельных дам, которые согласились бы делать периодические взносы для МИ. Саломея Николаевна живо откликнулась на это предложение, но хлопоты — и ее, и более скромные — мои — кончились тем, что почти вся финансовая поддержка Цветаевой шла из личных средств Андрониковой-Гальперн. Кое-что иногда уделяла Тескова из своего ограниченного бюджета. Но все же МИ была неправа и несправедлива, говоря, будто ей помогали одни только женщины. Помимо Святополка-Мирского, и В. И. Лебедев, и я делали все, что могли, да и «Воля России» не была женским журналом. За три статьи, напечатанные Лебедевым на сербском языке в белградском «Русском Архиве» в 1934, 35 и 36 гг. МИ послали тройной гонорар, присоединив к нему (без ее ведома, конечно), что причиталось мне за статью о ней в том же издании. С 1935 года Сергей Яковлевич стал платным работником Союза возвращения на родину, но МИ, конечно, и не подозревала, что деньги, которые он приносил домой, шли из особых фондов советской секретной службы.

В 1933 году МИ сообщила мне, что работает над очерками об отце — к двадцатилетию его смерти. Она его очень любила и уважала за «страсть к труду, простоту, отрешенность и спартанство». Часть очерков она написала по-русски («Открытие музея» во «Встречах» в 1934 году), а часть по-французски. У нее тогда возник проект переводов ее соб-

ственных произведений — и стихов и прозы — для французской печати. Она переделала «Молодца» в новую поэму по-французски, и после неудачных попыток ее устройства, обратилась ко мне за содействием. Связей в парижских литературных кругах у нее не было и вообще, по ее словам, она во Франции чувствовала себя не только «инородным телом, но и инородным духом». Я попробовал устроить ее французскую версию «Молодца» у Галлимара, или в его журнале «Нувель Ревю Франсэз», и мне в этом очень помогал мой старый друг Брис Парэн, секретарь издательства, но дело окончилось неудачей. Из ее переводов Пушкина только три — да и то значительно позже, в 1937 — появились в печати. Мне эти переводы не нравились. МИ скоро убедилась, что о них, как источнике заработка, нельзя было и думать.

Сотрудничество ее в «Последних Новостях» почти совсем прекратилось, она изредка печатала, главным образом, прозу в «Современных Записках», а позже — в 1937 и 38 гг. — в «Русских Записках», и две-три незначительных мелочи во «Встречах» и «Числах».

В 1934 году мы как-то встретились с МИ в парижском кафе. «Вот и вам негде печататься, — сказала она мне, — и вы переключились на французский. А мне попросту дышать нечем». Это было после возвращения ей «Современными Записками» «Оды пешему ходу»: поэма была принята и даже, кажется, набрана, но потом редакторы спохватились, боясь, что ее не поймет «средний читатель». Я никогда не видел МИ в таком безнадежном настроении. Ее ужасали наши речи о неизбежности войны с Германией, она говорила, что при одной мысли о войне ей жить не хочется. «Я совершенно одна, повторяла она, вокруг меня пустота». Мне показалось, что она не только болезненно переживала свое отчуждение, но даже готова была его преувеличивать. Я это сказал ей, повторив ее же слова о «заговоре века». Она покачала головой: «нет, вы не понимаете». И глядя в сторону, процитировала свои, незнакомые мне строки:

«но на бегу меня тяжелой дланью
схватила за волосы судьба».

И прибавила: «вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли». Мне никогда не было так ее жалко, как в тот день.

Уже в 1936 году МИ очутилась перед страшным для нее вопросом о возвращении в Россию. Ехать туда она не хотела, об этом откровенно говорила и мне, и Лебедевым, и писала близким знакомым. Аля и Сергей Яковлевич со дня на день должны были получить советские паспорта и визу. Остаться одна за рубежом МИ попросту была не в силах, не считая себя вправе разбить семью и сделать эмигрантом Мура, рвавшегося в Советский Союз. Но она совершенно не знала, что Сергей Яковлевич, для доказательства преданности Москве, сделался агентом НКВД в Европе. Аля уехала в начале 1937 года. В сентябре произошло разоблачение роли Эфрона в убийстве Игнатия Рейсса, оно было для МИ ошеломляющим ударом. Рейсс, крупный работник ГПУ, посланный за границу с особой секретной миссией, был «ликвидирован» в Швейцарии, где он, разочаровавшись в коммунизме сталинского образца, решил искать политического убежища. Сергей Яковлевич был членом группы, выполнившей приказ Москвы об уничтожении «предателя». МИ никак не могла этому поверить, как не верила она всему, что вдруг раскрылось — и только поспешное бегство Сергея Яковлевича в конце концов раскрыло ей глаза.

Впрочем, во время допросов во французской полиции (Сюрте) она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Расина (она сама потом об этом рассказывала, сперва М. Н. Лебедевой, а потом мне). Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется, но когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений, они усомнились в ее психических способностях и явившимся на помощь матерым специалистам по эмигрантским делам рекомендовали ее: «эта полоумная русская (*cette folle Russe*).

В то же время она обнаружила такое невежество в политических вопросах и такое неведение о деятельности мужа, что они махнули на нее рукой и отпустили с миром. Но все, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило МИ, в ней что-то надорвалось. Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было, я был поражен, как она сразу постарела и как-то ссохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча, я в первый раз видел ее плачущей.

Потом, овладев собой, начала рассказывать почти в юмористических тонах, о том, что называла «несчастьем». Мура при этой беседе не было. Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться не к чему и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова: «я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура, Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Маргарита Николаевна спросила о ближайших планах. МИ ответила, что придется ехать в Россию, а для этого надо идти в Союз возвращения на родину, в советское консульство, все равно оставаться в Париже нельзя, и денег нет, и печататься невозможно, и затравят эмигранты, уже и сейчас — повсюду недоверие и вражда. Действительно, ей скоро пришлось перебраться из-за недоброжелательства русских соседей из Исси ле Мулино в захудалый отель на Пастеровском бульваре.

Я затем виделся с ней в начале 1938 года. Лицо у нее все еще было осунувшееся, измученное, но она овладела собой. Жила она в большой нужде, почти ни с кем не встречаясь и избегая даже близких знакомых, но много писала и занималась разборкой своих рукописей: она понимала, что многое придется оставить за границей. Первая часть ее «Повести о Сонечке» благодаря стараниям прекрасно к ней относившегося И. И. Бунакова-Фондаминского, должна была появиться в «Русских Записках», но возможности дальнейшего печатания были для нее закрыты и писала она впрок. Именно в 1938 и 1939 гг., готовясь к отъезду, она писала великолепный цикл «Стихи к Чехии» и поэму «Автобус». Эти произведения были опубликованы лишь через 26 лет после их создания. Несколько строф из «Стихов к Чехии» передают душевное состояние МИ перед самым отъездом из Парижа:

О черная гора,
затмившая — весь свет!
Пора, пора, пора,
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь быть.
В Бедламе нелюдей,
отказываюсь — жить.
С волками площадей

отказываюсь — выть.
С акулами равнин
отказываюсь плыть —
вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
ответ один — отказ.

В начале июня 1939 года МИ пришла с Муром провести у меня прощальный вечер и сообщила, что на-днях — отъезд. После ужина мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки и как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд, я повез ее в деревню Вшеноры на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам и она вполголоса читала свои ранние стихи. Она задумалась и сказала, что все это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом и этот разговор и последовавшее затем чтение МИ ее последней вещи — «Автобус». Я пришел в восторг от словесного блеска этой поэмы и ее чисто цветаевского юмора и не мог придти в себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у нее хватило и силы и чувства комического, чтобы описать, как

«препонам наперерез
автобус скакал как бес».

МИ на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что ее ждет в Москве, и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил: «что вы, мама, вы всегда не верите, все будет отлично». МИ, не обращая внимания на сына, повторила свою давнишнюю фразу: «писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, т.е. дышать».

МИ долго говорила о судьбе рукописей, которые она хотела оставить — помимо уже отосланных в Амстердам. «Лебединый стан», «Перекоп», вторую часть «Повести о Сонечке», и еще кое-что она собиралась отправить Елизавете Эдуардовне Малер, профессору русской литературы в Базеле,

и спросила может ли оставить один пакет для меня у Тукалевских, ее соседей по отелю.⁷

Мы засиделись допоздна. Услыхав двенадцать ударов на ближней колокольне, МИ поднялась и сказала с грустной улыбкой: «вот и полночь, но автомобиля не надо, тут не Вшеноры, до Пастера дойдем пешком». Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел как МИ с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся, и лица их уплыли вниз — навсегда.

МИ и Мур уехали из Парижа 15 июня 1939 года, через Гавр. Не знаю точно, когда они приехали в Москву, где МИ — по ее же словам — мечтала найти свои утраченные детство и юность. Все дальнейшее можно восстановить только по отрывочным свидетельствам, слухам и разрозненным сведениям лиц, предпочитающих скрыть свои имена по разным причинам.

Одно несомненно: в Москве ее ожидали страшные новости: сестра ее Анастасия — в ссылке, Аля в сибирском концлагере, Сергей Яковлевич — в тюрьме. Как будто установлено, что он был расстрелян позже, либо через год, либо сейчас же после начала войны, когда шло массовое и бессудное истребление политических заключенных.

Что делала МИ в Москве? За два года ее пребывания в СССР в печати появилось два ее перевода (в журналах «Знания» и «Интернациональная Литература») и одно стихотворение, «Старинная песня» (в журнале «30 дней», 1941), помещенное в пражских «Студенческих Годах» в 1924 году. Неизвестно, писала ли что-нибудь МИ в Москве — и что именно. Никаких ее произведений, помеченных 1940 или 1941, я до сих пор в советской печати не встречал.

⁷ Все эти рукописи хранятся в архивном отделе Базельской университетской библиотеки. Е. Э. Малер скончалась в Базеле в 1970 году, 88 лет от роду. Из-за моего отъезда из Парижа пакет с материалами я получил от Тамары Тукалевской (ныне покойной) уже после войны. Среди них была «История одного посвящения», поэма памяти Волошина и черновые тетради с вариантами и первоначальным текстом статьи о Маяковском и Пастернаке, напечатанной в «Новом Граде» (1933), и другими набросками и письмами.

Нет указаний, виделась ли она с Пастернаком (по всей вероятности встреча их не состоялась), а свидание с Эренбургом тотчас же после гитлеровского вторжения, как передают, принесло ей горечь и разочарование. Ее, вероятно, сторонились, как бывшей эмигрантки, матери ссыльной дочери и арестованного мужа, «врага народа». Немногие смельчаки все же поддерживали с ней связь: таким оказался Евгений Львович Лозман, специалист по англосаксонской литературе и переводчик, автор (под псевдонимом Ланна) романов и книг о Джозефе Конраде и Дикенсе. Он достал МИ работу — переводы иностранной поэзии. Лидия Либединская в своей книге «Зеленая Лампа» (Москва, 1966) упоминает, что вместе с поэтом Алексеем Крученых провожала МИ и сына на поезд при эвакуации их на Каму. Она же вспоминает о поездке летом 1941 года в Кусково, где МИ очень понравился шереметьевский дворец (она шутливо сказала: «хороший дом, хотела б жить я в нем»). Мур был очень высок, мать — «птенчика холит», все о нем беспокоилась.

Один мой знакомый, знавший МИ еще за границей и видевший ее в Москве перед войной, рассказывает, что она носила коричневый берет, у нее был прежний легкий, твердый шаг и крепкое рукопожатие, но она очень изменилась: поредевшие, наполовину седые волосы, от носа с горбинкой к уголкам сжатых губ две горькие продольные морщины, глаза точно выпланные. Ей было 48 лет.

Поражения на фронте, победы Гитлера, немецкое продвижение к Москве, а затем спешную эвакуацию на северо-восток МИ восприняла как апокалиптическую катастрофу, и пришла в совершенное отчаяние, добравшись с Муром 23 августа до Елабуги. Там они сняли в избе неких Бредельшиковых комнатку, отделенную от хозяев деревянной перегородкой. Вместе с убогими пожитками привезли они свое главное богатство: 400 граммов сахару, немного рису, манной и других круп. Мур все время требовал, чтобы мать разрешила ему записаться добровольцем в армию: ему было 16 лет, но по росту и обличью можно было дать и 18, и на него бросали косые взгляды: почему не мобилизован. На первое время он пошел на земляные работы, у Елабуги строили аэропорт. МИ предложили место судомойки в беженской столовке.

Известно, что МИ отправилась в соседний Чистополь, где

жили и многие эвакуированные писатели, просить помощи у поэта Асеева. Никаких данных об их встрече у нас нет, но, очевидно, она оказалась неудачной, и Мур потом рассказывал, что вернулась она в очень подавленном настроении. По словам некоего Сикорского, 18-летнего соседа по избе, она якобы вспоминала о самоубийстве Маяковского. 31 августа она повесилась в сених, затянув на своей шее веревку, прикрепленную к ручке двери. Она оставила два письма: одно Муру, другое Ланну. Эренбург в бытность в Америке упоминал также о письме к Асееву с просьбой позаботиться о Муре. Ее похоронили 3 сентября в безымянной общей могиле. Когда, вернувшись из ссылки, Анастасия, сестра МИ, в 1960 году приехала в Елабугу, она могилы не нашла и могла только написать на поставленном ею деревянном кресте: «в этой части кладбища похоронена...»

Сведения о судьбе Мура противоречивы. По словам Ахматовой он был очень несчастен после самоубийства матери, одно время жил в Алма-Ате в доме Алексея Голстого, который сперва его приютил, а потом попросту забыл о его существовании; Мур вскоре умер от инфекционной болезни. Но советские источники, включая Вл. Орлова в его вступительной статье к избранным произведениям Цветаевой (Москва, 1965), утверждают, что Мур, скрыв свой возраст, отправился добровольцем на фронт и был там убит. Эту же версию я слышал в 1965 году в Риме от Константина Паустовского.

Марк Слоним, Женева, 1971

ПЕРМЬ — МОСКВА — КИЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Как было уже сказано (см. «Новый Журнал», кн. 100), с октября 1917 года мы с Ниной обосновались в Перми — я был избран исполняющим должность профессора русской истории Пермского университета. В Перми нам с самого начала очень понравилось. В университете шла серьезная преподавательская и научная работа и с большинством профессоров и их семей мы сдружились.

Многие профессора были петербуржцы. Ректором был астроном Покровский. Из других петербуржцев был профессор средневековья Николай Петрович Отакар (ученик Гревса) и профессор древней истории литовец Вольдемар (ученик Ростовцева; впоследствии, когда образовалась самостоятельная Литовская республика, он стал ее первым президентом). Я читал курс новой русской истории (XVIII-XIX вв). Древнюю русскую историю читал москвич Б. Д. Греков. Древнюю русскую литературу читал бывший профессор Варшавского университета Арсений Петрович Кадлубовский, глубокий историк русских святых, сам искренно верующий православный. Ближайшими нашими с Ниной друзьями сделались профессор истории церкви Александр Петрович Дьяконов (кажется перед тем профессор Петербургской Духовной Академии) и его жена Вера Ивановна. Дьяконов был выдающийся историк древней церкви, знаток сирийского языка, верующий православный но противник чрезмерной власти архиереев в церковной жизни, считающий, что белое духовенство (священники) составляют основу церкви. У Веры Ивановны был хороший голос, они часто с Ниной пели дуэты у них дома (в наших маленьких комнатках нельзя было устраивать сборища) или на музыкальных профессорских вечерах в университете. Нина там и соло с успехом пела. В Перми тогда жила и сестра Веры Ивановны — Мария Ивановна Арнольд, необыкновенно талантливая ска-

зительница всяких житейских, былинных и таинственных историй, например, как узнавать ведьму (если женщина пройдет по комнате и пол не скрипнет — значит ведьма). Часто у нас бывал минералог Владимир Владимирович Ламанский, любитель-филолог, яростный защитник старого русского правописания, талантливый человек. Бывали специалисты филологи Буга и Бугаевский. Очень мы подружились с молодыми братом и сестрой Порецкими — Вадимом (кажется он был приват-доцентом или ассистентом по какой-то отрасли естествознания — не ботаники ли?) и Наташей (художественной натурой, любившей поэзию и искусство).

В Перми — на пороге Сибири — возобновился мой интерес к Сибири, хотя я научно ей не успевал заниматься. Но я начал заниматься татарским языком у местного муллы.

Пермь — преддверье Сибири и в смысле природы. В Сибирь нам с Ниной не удалось попасть, там по всем рассказам и описаниям природа еще величественнее, но и в Перми мы полюбили могучую северную русскую природу. Полноводная красавица Кама, девственные хвойные темные леса, на полях весной и летом яркие цветы, земляника, в лесах малина, черника, морошка, брусника, грибы — всё в изобилии

При университете образовалось «Общество исторических, философских и социальных знаний», в котором принимали участие, кроме профессоров и городская интеллигенция (учителя гимназий, судебные деятели, члены Пермской ученой архивной комиссии и др.). Общество устраивало заседания, на которых читались доклады. Некоторые из них были напечатаны в «Сборнике» Общества (при мне вышел первый такой сборник, в котором помещены были две мои статьи). Многие из профессоров были любители музыки и сами хорошие музыканты. Создали музыкальный кружок, устраивались вечера камерной музыки и пения (Нина иногда выступала и там). Местное пермское общество поразило нас своей культурностью, включая и музыкальной. Был превосходный городской симфонический оркестр. Программы были серьезные и интересные.

Мы с Ниной поселились в трех небольших, но уютных (и теплых зимой) комнатах, которые мы сняли в квартире Николая Александровича Вечтомова, служившего в Пермском отделении Волжско-Камского банка. Во дворе дома (как во мно-

гих домах в Перми) была баня, которой мы с удовольствием пользовались. Жена Вечтомова, сколько помню ее звали Мария Васильевна, — была учительницей в городской школе. У них же мы и столовались. В Перми еще было изобилие продуктов и все было сравнительно дешево. Николай Александрович держал в строгости и свою жену и свою собаку Неро — датского дога. Он иногда интересно рассказывал о прошлом. Отбывал он воинскую повинность во время убийства Александра II и был в составе караула, окружавшего место казни убийц Александра II. «Мы каждую минуту ждали, что нагрянут революционеры с бомбами, чтобы освободить преступников. Мы их и боялись и ненавидели. Если бы они сделали попытку напасть на нас, мы бы их всех сразу перебили».

В политическом отношении до середины зимы Пермь (и Пермская область) управлялась местным Советом Рабочих и Солдатских Депутатов и была автономна. Некоторые из декретов советского правительства принимались, другие отвергались. Большевики были в меньшинстве в Пермском совете, большинство были эс-эры и меньшевики. Так продолжалось до января 1918 года.

12 ноября состоялись выборы в Учредительное собрание. В Перми они прошли в полном порядке. Мы с Ниной конечно тоже голосовали (вообще же говоря я в Перми политической деятельностью не занимался) — голосовали за кандидатов партии Народной Свободы. От Пермской области было выбрано несколько депутатов к-д. Большинство получили эс-эры. Большевики получили гораздо меньше голосов, чем эс-эры, но, если не ошибаюсь, не меньше чем меньшевики. Такие же результаты дали выборы по всей России. Когда Учредительное собрание собралось, большевики его, как известно, разогнали.

Это был переломный момент, приведший к гражданской войне. Большевики тогда захватили власть и в Перми. Жизнь сразу резко переменялась. Продукты начали исчезать с рынка. Чека начала развивать свою деятельность.

В конце февраля был опубликован декрет о создании Красной Армии, первоначально из хорошо оплачиваемых добровольцев, обученных офицерами старой армии. Когда первый отряд дисциплинированной новой армии появился на улицах Перми, контраст с распущенной солдатней, выбиравшей до этого депутатов в Пермский совет, был разительный. Ни-

колай Александрович Вечтомов сразу проникся уважением к новой власти. «Ну, эти видно всё подтянут».

Я уже упомянул о моих коллегах — профессорах Пермского университета. Теперь о студентах. Поразительна была тяга молодежи к образованию, проявившаяся в России в это смутное время. Это я наблюдал и позже в Симферополе. Большинство студентов занималось с энтузиазмом. Я плохой лектор, но меня слушали очень внимательно. Семинар я вел лучше. Многие студенты оставались еще после лекции или семинара и задавали вопросы, беседовали.

Нина получила место библиотекарки в гимназии. Тогда в одном здании учились и мальчики и девочки. Многие, когда брали книги, любили разговаривать с Ниной, у нее установились дружеские отношения с детьми. При библиотеке открылся литературно-музыкальный кружок, устраивались вечера в память композиторов и писателей. Очень дружно и весело работали. К суровой пермской зиме мы не сразу приспособились. Старожилы нас предупреждали, что когда мороз с ветром, чтобы мы тепло одевались и мазали лицо, щеки и уши гусиным жиром. Когда бывал мороз градусов 25 по Реомюру, мы говорили — да это и в Москве бывало. — Не говорите, — отвечали нам, — это в городе, а на Каме с ветром наверно уж 40°. Пошли на набережную, вдруг вижу у Нины уши совсем побелели от мороза. Стал ей растирать уши варежками, но они у неё довольно долго еще пухли и болели. С тех пор в сильные морозы намазывали лицо гусиным жиром.

В Перми я, можно сказать, вернулся к церкви. Во время моего студенчества в Москве и позже до 1917 года я как то отошел от религии и церкви, хотя и не сделался атеистом и почти всегда ходил на 12 Евангелий и на Пасхальную заутреню. Нина же выросла в среде религиозных и церковных семей и от церкви не уходила, ходила на многие службы, особенно на страстной неделе и на Пасху. Но и ее религиозное чувство стало к 1917 году менее горячо.

Вероятно большевицкий переворот обратил меня к церкви и оживил Нинино религиозное чувство. Из наших московских друзей так было и с Наташей и Аней Шаховскими. У Миши Шика еще до революции началось тяготение от еврейства к православию, но он не хотел креститься пока еврейство было бесправно. Только после того как Временное Правительство

дало равноправие евреям, Миша считал для себя морально возможным креститься (позже он женился на Наташе Шаховской и стал священником). Мишины письма к нам в Пермь поддерживали и нас в возвращении к церкви.

Пермь была религиозным городом. Архиепископ Андроник (грузин) был верующим человеком и хорошо совершал церковные службы. Хорошо служили и в других церквях. Наш домохозяин Вечтомов был любителем и знатоком церковных служб и мы с ним часто ходили в церковь. Кажется в первый раз в жизни я был на страстной неделе на утрени Великой субботы, которая в Перми совершалась в два часа ночи. На Богоявление (6 января) совершался большой крестный ход из Перми в рабочее предместье — Егошиху, где на ручье устраивалось водосвятие; при нас, несмотря на большевицкий режим, был многолюдный и торжественный крестный ход на Егошиху, мы тоже ходили. Большевики не вмешивались.

Не помню точно когда это было — кажется еще в декабре 1917 года (а может быть уже в январе 1918 года) в Перми некоторое время в Королёвских номерах жил инкогнито великий князь Михаил Александрович. Раз мы с Ниной пришли на всюнощную в одну из пермских церквей и заметили (не сразу), что в стороне от других стоит Михаил Александрович и, очевидно, его адъютант (оба в штатском). В церкви было необычно много так называемых салопниц (богомольных купчих или богатых мещанок в салопах). Служба еще не кончилась, как несколько их подошли ко мне (не знаю почему они именно ко мне обратились) и сказали: «Видишь сколько нас здесь. Мы великого князя не выдадим. Веди нас на помощь ему». Я ответил: «Да что же мы можем сделать? Ему легче уехать и скрыться одному». Вскоре великий князь уехал в сопровождении офицера, который (как рассказывали потом) взялся его вывезти через Сибирь на Дальний Восток, но вместо того предал его и большевики его расстреляли.

Вероятно, вскоре по издании декрета об отделении церкви и государства и в связи с этим о конфискации церковного имущества и сдачи в наем церквей обществам верующих (прихожанам) архиепископ Андроник произнес в соборе резкую проповедь против Советского Правительства. О его намерении заранее сделалось известным. Верующие собрались на

службу в большем чем обычно количестве, чтобы предотвратить предполагавшийся арест владыки. Мы с Ниной были в церкви. Большевики не решились арестовать Андроника при выходе его из церкви, но арестовали по возвращении его в архиерейский дом. Владыка Андроник наложил интердикт на все церковные службы и требы в его епархии. Это распоряжение оказалось неосуществимым. Верующие не могли оставаться без церкви и обратились к викарному епископу. Тот своей властью отменил интердикт. Большевики посадили Андроника в тюрьму, а позже убили (убили, вероятно, уже после нашего отъезда из Перми, так как там мы об этом не слышали).

Кажется в мае 1918 года друзья меня предупредили, что ЧЕКА собирается меня арестовать. Большевицкий административный аппарат еще не был как следует налажен — всё делалось, так сказать, кустарным способом. Пермским интеллигентам удалось устроить своего человека под видом служащего ЧЕКА. Ему и удалось многих предупредить. Мы с Ниной решили на лето поехать в какую-нибудь глухую деревню в пермском уезде, чтобы там укрыться на некоторое время. По чьему то совету выбрали для этого деревушку Быковку, затерянную в лесах, но с небольшим пространством распаханной земли около деревушки. Там был посеян овес. В лесах росли в изобилии грибы и ягоды всякого рода. Протекала речка с ледяной водой. Только Вадим и Наташа Порецкие знали о том, где мы находились. Они помогли нам переехать. Взяли мы минимум вещей. Надо было ехать минут сорок по железной дороге, а потом идти пешком несколько верст.

Мы сняли на лето за гроши в стороне от деревни просторную избу какого-то древнего старика-вдовца. Он был три раза женат, пережил всех трех жен. «Я трех старух издержал», объяснил он нам. Старик согласился переехать на лето в деревню к одной из своих внучек. Деревня действительно была глухая. Мы сначала не привезли тарелок — спросили одну девушку в деревне, не может ли она одолжить две тарелки. Она ответила: «Я не знаю каки таки живут тарелки». Изба оказалась полна клопов. Мы на всякий случай привезли серы и решили прокурить избу прежде чем в ней поселиться. Старик пришел посмотреть, с ним несколько баб и детей. Все неодобрительно качали головами: «Ишь что выдумали». Вдруг из избы послышалось чье-то чиханье. Все заахали. Одна баба

закричала: «Да это кошка его (забыл имя старика) там осталась. Пропадет сердешная». Вдруг через некоторое время из какой-то дырки под полом избы вылезает красивая кошка (трехцветная — в Перми называют их «богатки»). Отчихалась и стала ко всем ластиться. Эта кошка сделалась нашим другом на всё лето.

Наташа Порецкая довольно часто приезжала нас проводить и ночевала у нас. Наслаждалась природой. Один раз Нина рискнула поехать в город привезти еще кое-каких вещей. Обратного Вадим ее провожал. Эта поездка чуть не кончилась трагично. В это время требовалось разрешение на поездку по железной дороге даже на маленькие расстояния. Но как раз в это утро в местной пермской большевицкой газете появилось сообщение, что на близкие расстояния разрешения не нужны. Нина уже взяла разрешение, а Вадим — прочтя газету — не взял. Нина рассказала об этом в своих воспоминаниях (рукопись).

«Влезли мы с вещами в невероятной давке в вагон. Оба стояли на площадке, вещи пропихали внутрь вагона. Вдруг большевицкий страж, мальчишка лет шестнадцати, спрашивает разрешение». Нина, не желая подвести Вадима, решила не показывать своего разрешения и стала спорить с мальчишкой, что разрешения отменены, что это она читала сегодня в газетах — как же он не знает своих законов. Он поспорил немного и сказал: «Выходите». — «Не выйду». — «Не выйдете?» И тогда я увидела в его руке револьвер, который он направил на меня. Вадим загородил меня. Мальчишка не выстрелил. Я испугалась за Вадима и поскорей достала свое разрешение. Пришлось бедному Вадиму остаться, а мне мучиться одной с вещами». В Быковке было скудно с продовольствием. Главной пищей нашей были грибы и ягоды. В деревне было всего вдоволь, но нам даже яйца и молоко бабы не соглашались продавать за бумажные деньги, а вещей в обмен у нас почти не было. Когда подошло время жать овес, бабы мне сказали — «Вот, помоги жать, дадим и яиц и молока». Я довольно хорошо косил в молодости, но жать не умел. Пришлось попробовать. Мне дали в руки серп, показали какие движения надо делать (левой рукой захватывать колосья в охапку, правой жать). Старуха — знаменитая жнея — меня поставила самым последним в ряду. Я старался глав-

ное не отстать от баб и в азарте очень скоро срезал кусок кожи с мясом с мизинца левой руки. Брызнула кровь, я бросил серп, побежал к речке и долго держал руку в ледяной воде. Когда вынул, кровь унялась, можно было перевязать палец. Шрам оставался на левом мизинце много лет и лишь постепенно затянулся. Так мы и остались без молока и яиц.

В конце июля сменился начальник пермской ЧЕКА и благожелатели сообщили мне, что я могу без риска вернуться на несколько дней в Пермь, а затем на остаток лета уехать куда-либо подальше, например, в Москву, а потом уже вернуться в Пермь к началу занятий в университете. В Перми, помнится в самом начале августа, мы быстро подготовились к поездке в Москву. Заплатили Вечтомову за комнаты до 1 октября. Вещи оставили в наших комнатах, кроме самого необходимого. Так оставили в Перми письма Бородина и других композиторов «Могучей кучки» к Нининому отцу, также Нинины альбомы с фотографиями институток ее класса (училище св. Елены в Петербурге). Ректор университета Покровский выдал мне свидетельство, что я командируюсь на шесть недель в Москву для научных занятий и еду с женой. Забыл раньше сказать, что когда мы приехали в Пермь, Покровский выдал нам новые паспорта взамен «царских». Паспорта эти мы конечно тоже взяли с собой. Благожелатели нам объяснили, что на вокзале агенты ЧЕКА проверяют отпускные свидетельства и паспорта. Нас предупредили, чтобы мы к нему не подходили, а предъявили бы свидетельство ректора университета коменданту станции (тоже большевику, но не ревностному). Так мы и сделали и благополучно сели в поезд.

МОСКВА

Проезд от Перми в Москву прошел без всяких приключений. Ехало не очень много пассажиров. В нашем вагоне сидело несколько матросов красного флота, довольно благодушных; на больших станциях я доставал кипяток для чаю, но насчет сахара было скудно. По приезде в Москву Нина поселилась на станции Москвско-Ярославской железной дороги — Хотьково (по дороге к Сергиеву Посаду), где жила ее мать и сестра Киса. Я кажется там провел только одну ночь (помещение было тесное), а сам поселился в Москве, где — не пом-

ню (вероятно, у Любошинских). Нина часто приезжала. Разыскиали некоторых старых друзей, в том числе Наташу и Аню Шаховских и Мишу Шика. Володя Фаворский пригласил нас к себе обедать. Хотя в Москве в это время было трудно доставать продукты, Володя накормил нас сытным обедом (вероятно, потом сам день или два ничего не ел).

Родители мои в это время были в Киеве. Украина была под немецкой оккупацией, но существовало и украинское правительство с гетманом Скоропадским во главе. Друг моего отца проф. Н. П. Василенко вызвал отца из Полтавы в Киев для организации Украинской Академии Наук. Отец был избран ее первым президентом (см. его воспоминания, английский перевод которых напечатан в XI книжке *Annals* Вольной Украинской Академии, в Нью Йорке, 1968). И вот, когда я пробыл уже некоторое время в Москве, я получил известие от матери, что отец серьезно болен. Я решил съездить его навестить. Граница между Советской Россией и Украиной была официально закрыта, но известно было, что люди на свой риск ездят из Москвы в Киев и переходят границу без всяких разрешений. Нужно было только найти предлог, чтобы выехать из Москвы в смежную с Украиной область. Один из моих знакомых Н. С. Родионов, заведывавший в этой время каким-то кооперативным институтом или союзом кооперативов, выдал мне свидетельство, что я командируюсь в смежную с Украиной область для выяснения возможности закупок продуктов для московских кооперативов, или что-то в этом роде. По этому свидетельству мне на вокзале в кассе продали билет до ближайшей к Украине станции. Всем получившим билеты писали химическим карандашом порядковый номер на правой руке. Без этого не пускали на поезд. Нина провожала меня, но на перрон ее не пустили. Поезд состоял из товарных вагонов, битком набитых людьми — мужчинами, женщинами и детьми. Все сидели или лежали прямо на полу. По утрам (иногда и в другое время) поезд останавливался, все выскакивали из вагона, отбегали несколько шагов и тут же испражнялись, мужчины и женщины в перемешку, на обращая друг на друга никакого внимания.

Когда мы наконец (дня через два) приехали на предпоследнюю станцию, все, кто хотел перебраться на Украину, вылезли из вагонов и стали осведомляться у местных людей

как направляться дальше. У кого было много вещей — нанимали телегу. У меня с собой был всего один небольшой мешок и я пошел пешком. Длинный хвост идущих и едущих растянулся по дороге. Последнюю станцию (где была большевистская заграда) обошли кружной тропой. Наконец дошли до украинской границы. Там стояло несколько немецких солдат. Им почти все совали бумажные деньги (большой частью советские — не понимаю, зачем они им могли быть нужны). Я тоже дал советские бумажные деньги (говорили, что немцы охотно брали царские деньги, дореволюционные, но у меня их не было). Иногда немец не хотел пропускать, украинский пограничник переводил разговор. Так как я заговорил по-немецки, меня без разговоров пропустили. Перейдя границу я пошел на ближайшую железнодорожную станцию (не помню какую, но помню, что там был буфет). Резкий переход в прошлое благополучие — чистота, порядок, в буфете изобилие вкусной еды, на которую я набросился. Сквозь все это — унижительное чувство, что находишься под немецкой оккупацией. Как тогда говорили «шкура радуется, а дух скорбит». Здесь уже, конечно, не принимали советские деньги. Очевидно у меня были немецкие марки или украинские карбованцы, купленные в Москве на черном рынке. Из этих денег я заплатил и за железнодорожный билет. В поезде тоже чистота и порядок. Через несколько часов я приехал в Киев.

КИЕВ

Добравшись до Киева, я, конечно, отправился прямо к родителям. Они снимали три комнаты у профессора гигиены Добровольского на Тарасовской улице дом 7 (уточняю это по воспоминаниям моей сестры). Ярко помню радостное чувство свидания с родителями и сестрой. Отец мой к этому времени уже поправился и почти выздоровел. Не могли наговориться — я рассказывал о нашей жизни в Перми, а они о своей жизни в Полтаве и потом в Киеве.

В Киев приехало много видных общественных деятелей из Петрограда и Москвы. Добрались они разными путями. Некоторых, как Милюкова, я знал раньше. Приехали и Родичевы — Федор Измайлович и Екатерина Александровна (сестра Ниной матери). Я в политике тогда уже никакого участия не

принимал. Я познакомился с некоторыми профессорами Киевского университета, главным образом историками — Довнар-Запольским (русская история), Кулаковским — (византинистом), не помню еще с кем. В это время шла речь об открытии Екатеринославского университета. В Симферополе предполагалось открыть филиал Киевского университета. Нужны были кандидаты в профессора. Мне предложили выставить мою кандидатуру. В России уже начиналась гражданская война, подымалось против большевиков донское казачество, образовалась Добровольческая армия во главе с Деникиным. При таких условиях нельзя было думать о возвращении в Пермь и я решил вызвать Нину в Киев и остаться на юге. Отец одобрил мое решение. Я предпочел Симферополь Екатеринославу. Историко-филологический факультет Киевского университета избрал меня профессором Симферопольского филиала. Затем этот филиал превратился в самостоятельный университет, названный Таврическим.

Я написал Нине письмо (послал с верной оказией в Москву), сообщил о моем плане и просил ее приехать в Киев как можно скорее (раньше, по моем приезде в Киев, я подробно написал Нине как я перебрался через границу, так что она знала, как это делается). И вот дней через десять Нина появилась — съела шесть котлет, повалилась на кровать и сразу же заснула. Потом рассказала о своем путешествии. Доехала благополучно до предпоследней станции, вылезла и страшно боялась, что делать дальше и куда идти. Но скоро успокоилась, какая-то милая женщина, тоже перебивавшаяся на Украину, сказала ей: «Да чего ты боишься? Видишь народ идет — вот и пойдем за ними». Нина перешла границу без затруднений, но когда подошла к поезду, не успела до его отхода сесть в пассажирский вагон и влезла на площадку вагона, в котором ехали немецкие солдаты — а оттуда перехода в пассажирские вагоны уже не было. Нина осталась на площадке. Один из солдат — добродетельный и благожелательный немец вышел к ней на площадку и оставался все время переезда до Киева, охраняя ее от других солдат.

После Нининого приезда мы с ней сразу начали собираться к отъезду в Крым (который, как и Киев, был под немецкой оккупацией, но местное «правительство» — бессильное — было татарско-турецкое). Выехали мы кажется в середине сентября.

Немецкие власти в Киеве еще держались, но ходили слухи о том, что они шатаются и что в немецкой армии началась деморализация. Внешне, однако, все было еще в порядке. Мы доехали благополучно до станции, где была пересадка, и сели в поезд, шедший в Крым. Только что мы и другие пассажиры расселись как вошел молодой немецкий офицер и закричал «Все — вон!» Пришлось всем вылезать и искать места в других вагонах, уже переполненных пассажирами. Кое-как устроились и доехали до Симферополя. Когда вылезли первое что бросилось в глаза — распущенные немецкие солдаты, шинели внакидку, ругаются и грызут семечки — то что случилось с русскими солдатами в Петрограде после февральской революции.

Г. В. Вернадский

ПРОФЕССОР Л. В. НИКОЛАЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

11 октября 1942 года, в Ташкенте, куда была эвакуирована Ленинградская Консерватория, скончался от брюшного тифа профессор этой Консерватории Леонид Владимирович Николаев.

Леонид Владимирович, сын известного академика архитектора, родился в Киеве в 1878 году. С пятилетнего возраста он начал учиться музыке. По окончании Киевского Музыкального Училища в 1897 году (по классу рояля — у В. В. Пухальского, по классу теории композиции — у Е. А. Рыб) Николаев поступил в Московскую Консерваторию, где по роялю занимался под руководством В. И. Сафонова, а по теории композиции у С. И. Танеева и М. М. Ипполитова-Иванова.

В 1902 году он окончил Консерваторию с большой золотой медалью, а годом позже и юридический факультет Московского Университета.

После нескольких лет концертной деятельности и занятий композицией Николаев получает в 1909 году от Александра Константиновича Глазунова, тогдашнего директора, приглашение в Петербургскую Консерваторию на должность старшего преподавателя по классу рояля, а с 1912 года и до самой смерти состоит профессором этой Консерватории, впоследствии, в разные периоды, совмещая эту деятельность с работой декана исполнительского факультета, председателя фортепианного отдела и заместителя директора по художественной части.

Как исполнитель Николаев был безупречен в смысле технического мастерства и отличался тщательностью художественной отделки исполняемых произведений и высокой культурой игры. Как композитор он примыкал к направлению позднего романтизма. Но обе эти деятельности были отнесены на второй план его педагогической работой, которой он отдался почти безраздельно.

В начале педагогической деятельности Николаева в Петербургской Консерватории там господствовало влияние знаменитой Анны Есиповой, ученицы Теодора Лешетицкого, представительницы так называемой школы пальцевой игры, школы в то время еще не потерявшей свой кредит. Николаев был убежденным противником принципов этой школы. Его художественные установки требовали совершенно иного подхода к инструменту. Ему пришлось бороться против царившей в то время моды, идти против течения.

История пианизма знает не так много педагогов, о которых можно сказать, что у них была своя школа. Николаев был безусловно одним из таких педагогов.

Обычно школа в фортепианной игре и преподавании понимается как точно разработанная система движений игрового аппарата, посредством которых пианист может исполнять в предписанном темпе и с известной ловкостью и легкостью разнообразные быстрые пассажи, встречающиеся в разучиваемых им пьесах — техника в узком смысле слова. В действительности же понятие школы охватывает нечто гораздо более широкое, а именно — развитие всей совокупности многообразных средств, какими пианист должен владеть: стилевые черты музыкального произведения, звучность, фразировка, динамика, педализация и прочее; короче — то, что мы называем техникой в широком смысле слова. Отсюда становится ясным, что совершенна та техника, которая дает пианисту возможность свободно воплощать на инструменте его художественные замыслы, т.е. что между эстетикой и техникой существует неразрывная связь. Очевидно, подобная формулировка применима и в любом другом искусстве.

Когда на смену эстетике изящного, несколько легковесного салонного стиля игры пришли другие идеи, требующие более глубокого проникновения в исполняемое произведение, часто более монументальной концепции, когда подход музыканта к старинной музыке изменился в сторону поисков адекватного стильного исполнения, когда композиторы конца 19-го и начала 20-го столетия своими произведениями поставили перед пианистом новые задачи, возникла проблема и иного подхода к приемам фортепианной игры, к самой трактовке инструмента.

Идеи Николаева в области отношения пианиста к инстру-

менту были досконально разработаны и приведены в стройную и законченную систему, логично обоснованную, убедительную и — конечно, связанную с его эстетическими взглядами.

Здесь не место излагать подробно принципы николаевской школы. Я только вкратце коснусь некоторых вопросов. Как в жизни человек обычно пользуется всей рукой, так и при игре на фортепиано в работу вовлекается вся рука. Всякое изолированное движение вызывает фиксацию, излишнее и вредное напряжение других частей руки. Но хотя в игре на рояле принимает участие вся рука, степень активности ее частей не одинакова, соотношения меняются в зависимости от художественных намерений исполнителя. В движениях пианиста не должно быть угловатости и «мертвых точек». Для школы Николаева характерна исключительная плавность и гибкость движений, закругленный поворот верхних частей руки в конце гамм и арпеджий к последующему движению вниз (для правой руки). Преодолевая известную степень *ударности* инструмента Николаев стремился к глубокому певучему звуку, к *легато* приближающемуся по своему эффекту к *легато*, достижимому только на струнных смычковых инструментах.

Еще в двадцатых годах Николаев объяснял сущность некоторых, тогда ложно понимаемых, процессов протекающих в игровом аппарате пианиста и давал соответствующие указания для работы. Десятилетием позже правильность его рассуждений была доказана научно с помощью записи движений пианиста хроноциклографическим способом и некоторыми данными тогда только начинавшего развиваться учения академика И. П. Павлова о высшей деятельности центральной нервной системы человека.

Хотя одним из первых педагогов Николаева, оказавшим влияние на его вкусы и заложившим основной технический фундамент, был Владимир Вячеславович Пухальский, сам ученик Теодора Лешетицкого, но со школой этого последнего у Николаева нельзя найти какую-либо связь. Наоборот — трудно встретить две более противоположные школы. Зато преемственность школы Николаева от школы немецкого педагога Людвиг Деппе (1828-1890) несомненна, хотя линия этой преемственности далеко не прямая. Деппе был первым, кто в последней четверти прошлого века, поняв ошибочность упора на одностороннее развитие изолированной пальцевой беглости,

сознательно разработал технику координации: вовлечение в работу всех частей руки от плечевого пояса до кончиков пальцев.

Григорий Михайлович Коган (в прошлом — сам один из учеников Пухальского, позже профессор Московской Консерватории, создатель курса «Теория и история пианизма», принятого как обязательный на фортепианных факультетах всех русских консерваторий) пишет, что «Пухальский постепенно эволюционировал от принципов Лешетицкого к принципам Деппе» и «выработал свою собственную школу, основанную на большой свободе движений». Пухальский личного контакта ни с Деппе и ни с кем из его учеников не имел. Недавно проф. Коган отвечая на мой вопрос, писал мне, что это он в бытность свою учеником Пухальского познакомил последнего с учением Деппе. Пухальский «заинтересовался и нашел много общего между своими педагогическими принципами и принципами Деппе».

Странным образом вопрос Николаев — Деппе нигде подробно не освещался. Только однажды, в статье к 25-ти летию музыкально-педагогической деятельности Николаева, В. Ю. Дельсон, недавно скончавшийся тонкой знаток фортепианного искусства, указал на то, что Николаев-педагог «несомненно близок школе знаменитого педагога Деппе». То, что у Деппе гениально намечалось, у Николаева завершено и дополнено. Интересно отметить, что Николаев основал свою школу на столь верно понятых идеях Деппе, в то время, как многие немецкие ученики последнего сузили и исказили его учение (об этом подробно — в моей книге «Искусство Фортепианной Игры — научный подход», на английском языке).

Николаев отнюдь не эпигонствовал, а пошел по своему пути, впитывая и творчески перерабатывая и многие позднейшие, как пианистические, так и научные достижения; на него оказал известное влияние Ферруччио Бузони и так называемая психо-техническая школа пианизма.

Всякая школа хороша постольку поскольку она способна развиваться. Стабилизация есть омертвление. Николаев менялся в течение своей многолетней педагогической деятельности. Позже, преемники Николаева, отбрасывая устаревшее или себя не оправдавшее, и принимая все ценное новое, как в области научной (физиология движения вообще, высшая нервная

деятельность человека, условные рефлексы), так и в практической области пианизма и фортепианной педагогики, обогащают и расширяют школу, в то же время сохраняя крепкую преемственную связь с учением Л. В. Николаева, а через него и с Людвигом Дeppe, который с полным правом может считаться отцом современной фортепианной педагогики.

Были у Николаева и спорные положения. Логически обоснованная система фундаментальных технических приемов, сперва сведенная к простейшим формулам, которые впоследствии несколько модифицируются в зависимости от каждого отдельного случая (рисунок пассажа, «топография» клавиатуры); особая забота об отшлифовке каждого движения — все это вооружало будущего пианиста определенным техническим мастерством. Он подходил к каждой технической проблеме с ясным пониманием ее разрешения. Но здесь кроется и большая опасность, (как и во всякой «системе»), которой не избегли многие ученики Николаева. Стремление втиснуть различные музыкальные намерения в основном неизменную систему пианистических приемов приводит к обеднению средств выразительности, сужает звуковые и стилистические рамки исполнителя. Стремление Николаева к достижению глубокого, певучего *legato* соответствует идеалу романтического направления в искусстве, но звуковой идеал, например, Моцарта значительно от него отличается и требует иной техники. Как я писал в своей упомянутой книге, пианист должен иметь не одну, а «несколько техник», и не только особую для каждого стиля, но и для разных по характеру произведений одного и того же автора. Ведь многие пассажи Листа, не имеющие в себе мелодической задачи, не должны исполняться глубоким певучим звуком, а скорее приемом близким к так называемой «*jeux perlés*».

Не всем ученикам Николаева удавалось сохранить свою индивидуальность. Я хорошо помню, когда в середине двадцатых годов к Леониду Владимировичу поступил очень талантливый ученик, который чудесно, с проникновенным лиризмом играл на первом экзамене. Через год его нельзя было узнать. Внешне его исполнение было безупречно отполировано, но исчезла вся очаровательная поэтичность предыдущего года. Для Николаева характерно было выражающее его удовлетворение замечание: «все в порядке». Имелась в виду внешняя

сторона исполнения. Что до остального — если оно есть — хорошо, нет — ничего не поделаешь. Николаев сам, быть-может даже несколько цинично, говорил: «Меня обвиняют в том, что я нивеллирую учеников. Ну что ж, если у ученика такая индивидуальность, что ее легко сломать, туда ей и дорога». Но эти слова относятся к 1924 году. Надо отметить, что в 1935 году Николаев говорил, что учитель должен считаться с индивидуальностью ученика, развивать ее и расширять.

Лучшие ученики Николаева, обладавшие значительной индивидуальностью, вырывались из положенных рамок, как бы хороши в отвлеченно-техническом отношении эти рамки не были. Каждое новое эстетическое понимание — стремление предопределяет и несколько иное приспособление человеческого организма, как физиологически, так и психически, к фортепиано. Но в качестве фундамента для дальнейшего технического развития трудно представить себе что-нибудь более основательное и законченное в себе, чем «школа» Николаева.

Я попал в класс Л. В. Николаева только за два года до окончания консерватории. Когда я поступал я был очень слабо подготовлен и меня приняли в консерваторию условно. Взяли меня к себе в класс профессор Екатерина Францевна Дауговет, друг нашей семьи. Через полгода я благополучно вторично сдал вступительный экзамен и был принят окончательно.

В течение четырех с половиной лет я оставался в классе Дауговет. Для исключительно высокого консерваторского уровня она была посредственным педагогом и мало что могла дать. К счастью, в начале двадцатых годов она занималась у Николаева, желая усвоить и передать своим ученикам его школу. Тогда было такое течение в консерватории: обновить свой метод, и многие педагоги старой школы шли или к Николаеву или к М. Н. Бариновой (увлекавшейся всякими новыми западными течениями, в частности, модными одно время идеями Рудольфа Брейтхаупта, которого в тот период она пропагандировала). Брейтхаупт — немецкий педагог использовавший основные идеи Деппе, но сильно их извративший, отрицавший необходимость развития пальцевой техники, провозглашавший полное расслабление мышц руки и принцип,

так называемой, «весовой игры». Кроме того, стремясь как почти все студенты-пианисты, посвятившие себя музыке профессионально, попасть в класс Николаева, я брал где что можно: слушал его лекции, посещал его уроки (в России господствовал принцип «открытых дверей»), общался с его учениками, от которых кое-что узнавал. После весеннего экзамена в 1926 году Николаев сказал Дауговет: «из всех ваших учеников только трое действительно усвоили мою школу». Я был в числе их.

В 1928 году Дауговет была переведена на композиторское отделение, где ей было поручено ведение класса обязательного фортепиано для студентов-композиторов. Это освободило меня и я пошел к Николаеву. Но я понимал, что он не захочет заниматься со мной теми основами (в самых разных смыслах), которых мне недоставало, тем более, что до окончания консерватории мне оставалось мало времени. И я принял решение, которое сам смог вполне оценить только позже. В том году в консерваторию в качестве ассистента профессора Николаева был приглашен молодой блестящий пианист Александр Каменский, в прошлом ученик Феликса Блюменфельда, а затем Николаева. Было ясно, что он захочет себя показать в свой первый год в консерватории, и я попросился работать с ним, имея периодически уроки у Николаева. Я оказался прав: Каменский дал мне очень много и с ним я наверстал свои полупотерянные годы в консерватории. По окончании я взял у Николаева еще несколько уроков. Позже, не живя в Ленинграде, приезжая я всегда навещал Леонида Владимировича, играл ему, показывал ему своих учеников.

Личное обаяние Леонида Владимировича было велико, обаяние большого художника и чрезвычайно деликатного, мягкого человека. Просто невозможно было услышать от него какое-либо резко выраженное замечание. Но ирония его бывала довольно ядовита, хотя всегда тонка и сдержанна.

Николаев был несколько суховат, академичен, но в лучшем смысле этого слова. Уроки его были чрезвычайно умны, но не вдохновенны. Замечания были обычно кратки, ясны, метили прямо в точку, были поистине афористичны. Их можно было бы назвать, перефразируя Шопенгауэра, афоризмами пианис-

тической мудрости. Помню как в начале занятий с ним я после урока, на свежую память, стал записывать его указания. Но вскоре стало ясно, что и без записи я крепко запоминал его слова на всю жизнь. «Ничего пальцами без руки, ничего рукой без пальцев», «всякие 'шумы' — на четких пальцах», «играйте не отдельные звуки, а мелодическую линию», «концепция музыкального произведения это не то над чем мы работаем по шесть часов в день. И постепенно в процессе ежедневной работы раскрывается, а иногда толчком сразу, возникает и трактовка». Конечно, это последнее положение несколько спорно: обычно работа над деталями музыкального произведения в известной степени определяется общей основной концепцией, хотя последняя в процессе работы может претерпевать даже и значительные изменения.

Метод Николаева был в большой мере направлен на образование педагога. Интересно, что он, бывало, говорил на уроках больше о том, что хорошо сделано, нежели о недостатках ученика. Я помню, играл я ему как-то седьмой Ноктюрн Шопена. В двутактном вступлении (широкая фигурация в левой руке) я сделал небольшое *крещендо* к середине этого вступления, затем *диминуэндо* перед началом мелодии. Леонид Владимирович пространно и, как всегда, обобщенно, говорил как это хорошо — придать вступлению таким образом некоторую значительность. Тут видно опасение, что ученик интуитивно что-то нашел, но, возможно, не осознал своей находки, а Николаев всегда апеллировал к интеллекту и, конечно, для будущего педагога такой подход был наиболее плодотворен.

Николаев говорил: «Механической зубрежки у нас не существует». Никакое упражнение не должно быть механистично, т.е. лишено контроля сознания и слуха. Если с помощью механистических упражнений и можно добиться технического успеха (многие добивались), то только после затраты бесконечно большего количества времени чем при концентрации внимания на данном упражнении. Если Рахманинов (и сколько еще пианистов) и занимались таким «бездумным» образом, то это показывает только, что они не понимали психической сущности упражнения. Николаев так же говорил: «Вы можете исполнять музыкальное произведение с 'чувством' или без 'чувства', в зависимости от вашего темперамента и художественных намерений, но упражнения непременно играйте 'с чув-

ством'». И приводил в пример знаменитую артистку Веру Комиссаржевскую, которая читала азбуку так, что «старушки плакали».

Здесь опять нужно вспомнить Деппе, который говорил, что пальцы пианиста должны быть «одушевленными», кончики их — чувствительными, что движение каждого пальца должно сознательно направляться волей. Он говорил о «сознательном пути от мозга до кончиков пальцев» и подчеркивал, что вместе с пальцами и рукой наш мозг так же упражняется. Мы говорим теперь (вместо мозга) — центральная нервная система.

Как декан факультета Николаев был обязан присутствовать на всех консерваторских весенних экзаменах (для пианистов). Это означало, что он в течение приблизительно одного месяца должен был прослушать несколько сот студентов, многих исполнявших длинные программы (оканчивающие). Когда я его спросил, как он это выдерживает, он ответил: «очень просто, я с начала игры слышу стбит ли слушать дальше, и очень часто не слушаю...»

Читая в недавно вышедшем сборнике «В фортепианных классах Ленинградской Консерватории» статьи о профессорах, бывших учениках Николаева, я отмечал с большим интересом, как многое совпадает с тем, что говорю я своим ученикам. Особенно это относится к Натану Ефимовичу Перельману — преемственность от Генриха Густавовича Нейгауза, (у которого Перельман занимался) и от Николаева. Николаев — создатель идеально обдуманной «школы пианизма» и Нейгауз — непревзойденный художник (в своей живой педагогике гораздо больше, чем в книге), вдохновенные уроки которого всегда открывали что-либо новое на большой артистической высоте. Только в моем случае влияние было обратным по времени: сперва Николаев, потом Нейгауз. Кроме того, как я упоминал выше, я многим обязан Александру Каменскому, в котором тоже сочетались два влияния: Феликса Блюменфельда, художественно столь близкого Нейгаузу, и умнейшей системы пианистических приемов Николаева.

В самом начале двадцатых годов Николаев решил оставить преподавание фортепиано и перейти на композиторский факультет, вести класс фуги и пр. Когда по его инициативе в консерваторию был приглашен его бывший ученик Самарий Ильич Савшинский, Николаев всех вновь поступающих уче-

ников, обращавшихся к нему, направлял к новому преподавателю. Это помогло последнему сделать сразу же головокружительный взлет и оказаться вторым после Николаева, почти равным ему, в консерватории (этим я вовсе не хочу унизить огромных достоинств Савшинского). Но вскоре Николаев свое решение переменял и, видимо, пожалел о потерянных для него чрезвычайно талантливых учениках: Черногоров, Карпачевская, Эйгенсон и другие. Он принимал в свой класс с большим разбором, только выдающихся учеников, говоря: «мне необходимо восстановить прежний блеск моего класса».

В последний раз я видел Леонида Владимировича в начале 1938 года. Он жаловался на усталость, говорил, что хотел бы уехать в провинцию, не давать никаких уроков, отдыхать и раскладывать пасьянсы — его излюбленное занятие. А ему было тогда только 60 лет! Он хлопотал о переводе в Киев, куда, как он считал, стекаются наиболее талантливые молодые пианисты со всей Украины, в то время как Ленинград начал отодвигаться на второе место, уступая первенство Москве. Но его не отпустили, не желая «обезкровливать» консерваторию.

Влияние Николаева на всю жизнь Ленинградской Консерватории было огромно. Он пользовался исключительным авторитетом и не было студента-пианиста, который бы не мечтал попасть в его класс.

Расцвет его деятельности пришелся на двадцатые-тридцатые годы, годы сложных отношений России с Западом, и это является причиной того, что имя его так мало известно вне России. Но там, наравне с Константином Николаевичем Игумновым и Генрихом Густавовичем Нейгаузом, Николаев был столпом развития русского пианизма. Благодаря им последний достиг такого блеска, когда пианисты, воспитанники этих профессоров, а позднее — их учеников, получали неизменно первые места на международных конкурсах.

Георгий Кочевецкий

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

Е. БРЕШКОВСКАЯ, Н. АВКСЕНТЬЕВ, А. АРГУНОВ,
В. ЗЕНЗИНОВ И Ф. РОГОВСКИЙ В НЬЮ-ИОРКЕ

Еще до приезда «бабушки» Брешковской, Н. Авксентьева, А. Аргунова, В. Зензинова и Ф. Роговского в Америку, на специальном собрании членов объединенных групп русских социал-демократов и социалистов-революционеров в Нью-Йорке было решено организовать для них большой митинг-встречу в Карнеги-Хол, где они расскажут нью-йоркской публике всё, что, начиная с 1917 г., произошло в России и всё, что теперь там происходит. С Екатериной Брешковской я познакомился еще в 1904 году, когда она приезжала в Америку вместе с Х. Житловским, как делегатка партии С.Р., для ознакомления американской общественности с программой и деятельностью ПСР и для сбора средств для партии в России. Я ее хорошо помнил и, разумеется, знал ее замечательную биографию. Она меня, конечно, не могла помнить, но все же очень дружелюбно встретила, когда я пришел в гостиницу, где она остановилась. Ее товарищей, с которыми она приехала, я раньше не встречал, но биография каждого из них мне была знакома. Я знал, что Н. Д. Авксентьев уже в 1905 году был одним из лучших ораторов ПСР — и что в октябре-ноябре 1905 года он был одним из товарищей-председателей петербургского Совета Рабочих Депутатов, (вторым был Троцкий, тогда еще меньшевик). В декабре 1905 года Авксентьев был арестован вместе с Троцким и большинством членов Исполнительного комитета Совета. Как и Троцкий, Авксентьев просидел несколько месяцев в Петропавловской крепости, потом их судили и сослали в Сибирь, откуда они вскоре все бежали. Авксентьев потом, в течение ряда лет, был соредактором разных эс-эровских журналов и сборников, которые ПСР издавала в Париже и в Петербурге. В годы войны Авксентьев был

оборонцем и вместе с Аргуновым, И. Фондаминским и другими эс-эрами оборонцами и с Г. В. Плехановым издавал в Париже оборонческий журнал «Призыв». Потом Авксентьев играл большую роль в революции 1917 года, был министром Временного Правительства, был первым видным лидером ПСР, которого большевики арестовали и держали несколько месяцев в Петропавловской крепости.

Андрей Аргунов был одним из основателей ПСР. Он первый начал в самой России издавать нелегальный журнал «Революционная Россия», который потом стал официальным органом партии. Аргунов сидел в разных царских тюрьмах, был сослан в Сибирь, откуда бежал. Позже он был тот, кто с большим риском для себя помог окончательно установить, что Евно Азеф, глава Боевой Организации партии, — агент-provokator царского Охранного отделения. В годы войны Аргунов был одним из редакторов «Призыва», а после революции главным редактором петроградской ежедневной газеты правых эс-эров «Воля народа». Его тоже большевики арестовали и он сидел вместе с Авксентьевым в Петропавловской крепости. Потом он принял активное участие в вооруженной борьбе против большевиков на Волжском фронте, на Урале и в Сибири.

Я хорошо знал и биографию В. М. Зензинова, который при царском режиме много раз был арестован, много лет провел в Сибири. В 1915 году он вернулся из сибирской ссылки в Москву. С января 1917 года до января 1918-го он жил в Петрограде, где принимал активное участие во всех бурных событиях 1917-1918 гг. На первом же заседании Совета Рабочих и Солдатских Депутатов в Петрограде Зензинов вошел в Исполком Совета как представитель партии с.р. Он был одним из первых редакторов «Известий», официального органа Совета, а потом одним из редакторов большой эс-эровской ежедневной газеты «Дело народа».

Я не был членом комитета, который был избран для организации массового митинга в Карнеги Хол, а также банкета, на который должны были быть приглашены только люди, стоящие идейно близко к нашим гостям. Члены комитета, однако, советовались со мной, кого пригласить на этот банкет и кого назначить председателями банкета и массового собрания в Карнеги Хол. Все согласились на том, что председателем банкета должен быть старый социал-демократ доктор Сер-

гей Михайлович Ингерман, но насчет председателя массового митинга в Карнеги Хол возникли разногласия. Большинство эс-эров настаивали, чтоб председателем митинга в Карнеги Хол был Х. Житловский. Житловский, говорили они, ведь был одним из основателей партии эс-эров, одним из ее теоретиков. Из нью-иоркских социал-демократов я был единственный, кто читал статьи Житловского в еврейской газете «Дер Тог» и я заметил, что он в последнее время в своих статьях о большевицкой России начал «вертеть языком», что мне очень не нравилось. Поэтому я был против того, чтобы он был председателем митинга в Карнеги Хол. Я предложил, чтобы С. М. Ингерман председательствовал и на банкете и на митинге. Большинство организационного комитета, однако, со мной не согласилось и председателем был назначен Житловский.

Как только стало известно, что в Нью-Йорк приезжает «бабушка русской революции» Брешковская и ее товарищи Авксентьев, Аргунов, Зензинов, Роговский, вся про-большевистская печать подняла дикую кампанию лжи и ругани против них. Их называли «контр-революционными предателями», «агентами англо-французских и американских империалистов», «злейшими врагами русского народа» и т.д. На митинг в Карнеги Хол пришло очень много народа, зал был переполнен. Огромнейшее большинство собравшихся были последователями анти-большевицких русских социалистических партий. Но на собрание также пришли и организованные группы большевиков и пробольшевиков и крайне-правые русские монархисты. Все они купили билеты на галерку и пришли не выслушивать то, что лидеры эс-эров хотят рассказать, а во что бы то ни стало не дать им говорить и сорвать собрание.

Председатель Житловский открыл собрание краткой дипломатической речью. Его почти не прерывали, но как только он представил первого оратора А. Аргунова, поднялся страшный шум в зале и Аргунов мог сказать только несколько слов. Тогда Житловский представил Зензинова. Ему тоже не давали говорить. На галерке произошли настоящие бои между анти-большевицкими социалистами и демократами с одной стороны и большевицкими и монархическими крикунами и скандалистами с другой. В зале было достаточное число полицейских, которые, по требованию председателя, могли бы потихоньку

вывести из зала всех скандалистов. Но Житловский вместо того, чтобы потребовать этого от полицейских, несмотря на то, что все мы, включая и всех эс-эров членов организационного комитета, требовали этого от него, начал апеллировать к «товарищам-большевикам», чтобы они выслушали и «другую сторону». И он представил «бабушку» Брешковскую, как следующего оратора. Когда престарелая Брешковская вышла перед залом, одетая в черное платье с белым платком на голове, на минуту в зале воцарилась гробовая тишина. Она же возмущенным голосом крикнула: «Для меня Россия, это — святыня и на таком собрании я говорить не стану!» и тотчас же сошла с трибуны. В зале опять начался невероятный шум и новая рукопашная. Председатель закрыл собрание.

С тех пор прошло почти столетия, а «бабушка» в своем черном платье и в белом платке до сих пор стоит как живая перед моими глазами и в моих ушах еще и теперь звучат ее слова: «Для меня Россия, это — святыня...» Страшный вечер в Карнеги Хол я не могу забыть. На банкете в честь «бабушки» и ее ближайших товарищей было человек 80-90 мужчин и женщин, анти-большевистские социалисты и либералы разных национальностей. Житловского там не было. Еще по дороге из Карнеги Хол в ее гостиницу «бабушка» заявила Житловскому, что она навсегда порывает с ним прежнюю дружбу. Житловский вскоре после этого стал все более «леветь» и в тридцатых годах открыто большевизанил и американские коммунисты его считали почти своим человеком.

СЕМЬЯ АЗЕФА В НЬЮ-ИОРКЕ

Еще в 1918 году, вскоре после того, как начала выходить в Нью-Йорке «Народная газета» (орган объединенных групп русских социал-демократов и социалистов-революционеров), был организован концерт и бал в пользу газеты. Там я встретил эс-эра Александра Гуревича (или Сашу, как называли его товарищи). Гуревича я знал еще в Вильне, когда мне было 14-15 лет. Он одно время даже был моим учителем математики и латинского языка. Он был на несколько лет старше меня и был тогда, кажется, в последнем классе Виленской гимназии. Я тогда заметил на его книжной этажерке несколько номеров нелегального социал-демократического журнала «Жизнь», вы-

ходившего в Лондоне под редакцией В. Поссе. Из этого я заключил, что он, по всей вероятности, член нелегальной с.-д. организации. Но года через четыре, когда я снова был в Вильне, мне рассказали, что Гуревича еще 3-4 года тому назад исключили из последнего класса гимназии, что он уехал в Париж и теперь он видный член партии эс-эров.

В 1916 году я встретил его в Нью-Йорке и узнал его. Он меня не узнал, но когда я ему рассказал, кто я такой, он вспомнил, что одно время был моим учителем. Я знал, что он женат. Я несколько раз видел его жену, которая выглядела гораздо старше его, хотя у нее еще было довольно миловидное лицо. На концерте и бале в пользу «Народной газеты» в 1918 году, по обыкновению, был буфет и гостям подавали чай с закусками. Гуревич был занят разливанием чая и около него все время вертелись два мальчика, которые ему помогали. Как раз за неделю до этого я прочитал в известном петербургском историческом журнале «Былое» тайные донесения знаменитого провокатора Азефа начальнику Охранного Отделения в Петербурге о деятельности разных организаций партии социалистов-революционеров. В одном из донесений Азефа были упомянуты Саша Гуревич и его старшая сестра. Я знал от одного из лидеров ПСР, что в 1903-м или в 1904-м году Саша Гуревич и его сестра получили наследство от своей бабушки в 20 с лишним тысяч рублей и эти 20 тысяч они отдали партии. Теперь, стоя у буфета, я громко спросил у Гуревича: «Вы читали донесение Азефа о вас, которое опубликовано в последнем номере «Былое»? Он мигнул мне, чтобы я не говорил об этом и когда позже я его спросил, почему он не хотел, чтобы я говорил об этом, он сказал, что эти два мальчика ведь дети Азефа. Он был уверен, что я знал, что жена Гуревича — бывшая жена Азефа и мальчики сыновья Азефа. Но я этого не знал и был чрезвычайно поражен. В Америке жена Азефа носила свою девичью фамилию и мальчики тоже носили ее фамилию. Они, между прочим, были чрезвычайно способные дети. Оба еще в ранней молодости стали учеными. Один из них, наиболее способный, которому предсказывали большую будущность в академическом мире, умер очень молодым. Другой, кажется, еще жив.

Гуревич женился на жене Азефа вскоре после того, как Азеф был объявлен провокатором и бежал. Потом Гуревич с

женой Азефа и ее детьми уехал в Америку. Она была очень деликатная, образованная женщина. В Америке в течение многих лет летом она имела небольшую гостиницу на берегу океана, недалеко от Нью-Йорка. Гуревич работал как экономист и статистик в разных правительственных и муниципальных учреждениях. Он был очень молчаливый человек и я с ним никогда не был близок. Мы только встречались на собраниях или в публичной библиотеке на 42-ой улице и обычно только «перебрасывались несколькими словами». В «Народной газете» Гуревич напечатал несколько статей. Он, конечно, был анти-большевик, но был последователем В. М. Чернова, который тогда возглавлял левое крыло ПСР, и мы все относились к нему критически.

В конце 1919 года, когда социалисты-революционеры в России приостановили свою вооруженную борьбу против большевиков, а «белые» армии генерала Деникина и адмирала Колчака занимали один город за другим, казалось, что они могут победить большевиков, свергнуть их диктатуру и восстановить конституционный правовой строй в России. Тогда мой друг, быв. полковник К. М. Оберучев напечатал в «Народной газете» статью под заглавием: «Ленин или Колчак?» В этой статье Оберучев доказывал, что для русских революционеров, социалистов и либералов теперь нет другого выхода как или помогать «белым» армиям победить в гражданской войне и освободить Россию от страшной большевицкой диктатуры, или помогать большевикам победить все анти-большевицкие армии, а это значит помочь укрепить на многие и многие годы большевицкий режим. Как русский патриот и как социалист и демократ он, Оберучев, был за победу анти-большевицких армий. Статья Оберучева вызвала большое недовольство среди некоторых социалистов-революционеров, членов ассоциации «Народной газеты». Саша Гуревич был их руководителем.

С. М. Ингерман, Я. М. Джемс и другие члены ассоциации «Народной газеты» также как и К. М. Оберучев желали победы анти-большевицких армий, но никто из нас не писал об этом. Несмотря на это, большевицкая и про-большевицкая печать сильно нападала на «Народную газету», как на «контр-революционную», которая работает на «восстановление монархии в России», и это имело влияние на некоторых радикально-настроенных евреев, которые раньше материально под-

держивали «Народную газету», а потом прекратили свою помощь. С другой стороны некоторые умеренные русские либералы, которые раньше охотно помогали «Народной газете», также прекратили помощь нам потому, что мы открыто не поддерживали Колчака и Деникина. Это вместе с внутренними трениями, которые происходили в ассоциации «Народной газеты», привели к тому, что в конце 1919 года мы вынуждены были газету закрыть.

За все годы моего знакомства с бывшей женой Азефа, я не переставал думать: неужели она никогда не знала, что Азеф провокатор и если она действительно не знала, то почему же она в ту ночь, когда Центральный комитет объявил его провокатором, помогла ему бежать из Парижа?

Я об этом неоднократно говорил с К. М. Оберучевым и его тоже постоянно мучил тот же вопрос, хотя он жену Азефа знал гораздо лучше, чем я. В начале 20-х годов Б. И. Николаевский в Берлине встретился с бывшей возлюбленной Азефа. Она до самой смерти Азефа была с ним. После бегства Азефа они жили в Германии. Она была немка, бывшая шансонетка, долго жившая в России. Когда Николаевский с ней встретился, Азеф уже давно умер. Николаевский с ней имел длительные беседы и получил даже от нее копии всех писем Азефа к ней. Тогда же Николаевский издал весь этот материал в брошюре под заглавием «Конец Азефа». Возлюбленная Азефа, между прочим, рассказывала Николаевскому, что Азеф страшно любил своих мальчиков и сильно тосковал по ним. Через год после своего побега из Парижа, он решил тайно приехать в Париж, остановился в гостинице, которая находилась далеко от района русской колонии и в первый же вечер отправился повидать детей, но через полчаса он вернулся сильно взволнованный, бледный как мертвец и едва мог выговорить слово. «Что с тобой?», спросила его любовница, и он рассказал, что когда он поднялся на верхний этаж, где жила его жена и постучался в дверь, она отворила, но, увидев его, бросилась к письменному столу и выхватила оттуда револьвер. Он бросился бежать. Когда я прочитал книжку Б. И. Николаевского у меня словно камень свалился с души. Я потом много раз встречался с бывшей женой Азефа, беседовал с ней на разные темы, но имя Азефа никогда не было упомянуто. Она уже

давно умерла в Нью-Йорке, а Гуревич умер еще за несколько лет раньше ее.

ЭММАНУИЛ АРОНСБЕРГ И ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

В начале 1919 года в редакцию «Народной газеты» однажды пришел молодой еврей, однорукый, и представился: «Эммануил Аронсберг, эмигрант из Советской России, в Нью-Йорке всего несколько дней. Я в одном киоске увидел вашу газету, купил ее, прочитал и она мне очень понравилась. Я решил пойти познакомиться с вами».

В течение нашей первой беседы он рассказал мне, что он в Америке уже второй раз. Первый раз он приехал в Нью-Йорк еще в 1904 году, когда был почти мальчиком. Родом он из Балтийского края, учился в Риге. Он и его старший брат в 1904 году были революционерами. В 1904 году он уехал в Америку, а старший брат в 1905 году был убит как революционер. В Нью-Йорке Аронсберг тогда днем работал на фабрике, а вечером учился, он превосходно владел английским языком. Когда в 1914 году вспыхнула война, Аронсберг всецело был за победу союзников и, недолго думая, уехал в Россию и поступил добровольцем в русскую армию. После того, как он получил необходимое военное обучение, его отправили на австрийский фронт. В Галиции он участвовал в ряде сражений и был тяжело ранен. Он лежал в разных военных госпиталях, недалеко от фронта. Потом его привезли в Петроград, и поместили в один из лучших военных госпиталей, где ему ампутировали левую руку. Аронсберг рассказывал мне много интересного о жизни в Советской России и у меня сразу мелькнула мысль поехать с ним в Русское Информационное Бюро и познакомиться его с моим другом А. И. Заком, который был начальником этого бюро.

«Вы пишете по-английски?» спросил я его. «Еще лучше, чем по-русски», ответил он с улыбкой и я его в тот же день повел к Заку. На Зака, как и на меня он произвел очень хорошее впечатление и Зак тут же заказал ему статью для «Строглинг Роша» о жизни в Советской России. Заку и мне статья его понравилась и он заказал ему целую серию статей. Все статьи его были напечатаны в «Строглинг Роша» и имели

большой успех. Зак получил ряд писем от редакторов американских газет и журналов и от видных американцев, и все они в один голос очень хвалили статьи Аронсберга.

Аронсберг потом стал переводчиком всех русских статей для «Строглинг Роша». Он хорошо владел и русским, и английским, и немецким, и латышским, и еврейским (идиш). Я с ним вскоре близко подружился. Он не был женат, жил в гостинице и мы часто встречались не только в конторе Русского Информационного Бюро. Он также часто приходил ко мне на дом и мы беседовали часами. Между прочим он рассказал мне, что после того, как ему в Петроградском госпитале ампутировали руку, и рана уже заживала, один из врачей сказал ему, что его скоро выпишут из больницы и пошлют в город, где евреям разрешено жить. В Петрограде такой еврей как он не имел права жительства. Аронсберг это, конечно, очень больно принял к сердцу. Госпиталь, в котором он лежал находился под покровительством греческой принцессы. Она была сестрой жены одного из русских великих князей. Она была образованная женщина и английский язык был почти ее родным. Вхожа она была и в царский дворец. Аронсберг был единственный пациент в этом госпитале, который свободно и хорошо говорил по-английски и когда она узнала об этом и, в особенности, когда узнала, что он десять лет прожил в Америке, она часто подходила к его койке и подолгу с ним беседовала. Он, между прочим, ей рассказал, что когда его выпишут из госпиталя, его, кажется, вышлют из Петрограда в «черту оседлости», где евреям разрешено жить. Она только пожала плечами и ничего не сказала.

Через 10-12 дней Аронсберга выписали из госпиталя и когда он в сопровождении сестры милосердия очутился на улице, там его уже ждала карета. Когда он спросил, куда его везут, ему ответили: «В министерство внутренних дел». Как только он приехал туда, его ввели в большую комнату и он увидел перед собой самого министра внутренних дел (Макарова, если не ошибаюсь). Аронсберг и удивился и испугался. Но к его великому изумлению министр внутренних дел без всяких предисловий прочел ему указ государя императора Николая II-го, что еврейскому солдату Эммануилу Аронсбергу за его исключительный патриотизм и за его отличия в войне не только разрешено остаться жить в Петрограде до окончания

войны, но что и после войны он всю свою жизнь имеет право жителя во всей России.

Аронсберг остался в Петрограде. Он поступил там на работу и ни в чем не нуждался. В феврале 1917 года он участвовал в демонстрациях, которые привели к победе революции. А в течение восьми месяцев, когда Временное Правительство было у власти, он чуть ли не ежедневно выступал на собраниях солдат, матросов и рабочих, призывая их к спасению родины и к защите Временного Правительства. Его политические симпатии были на стороне правых социалистов-революционеров. 7 ноября (25-го октября по старому стилю) 1917 года в темную ночь большевицкого восстания, Аронсберг был одним из инвалидов, которые вместе с юнкерами военных школ и женским батальоном, с оружием в руках, защищали Зимний дворец, где заседали министры Временного Правительства, от наступающих большевицких красногвардейцев и матросов. Аронсберг до последней минуты оставался на своем посту и сдался, когда большевики уже заняли Зимний дворец.

5 января 1918 года, в день открытия Всероссийского Учредительного Собрания, Аронсберг шел в первых рядах анти-большевицких социалистов и демократов по петроградским улицам с плакатами: «Да здравствует Всероссийское Учредительное Собрание», «Вся власть Учредительному собранию». Они шли к Таврическому дворцу, где должны были происходить заседания Учредительного собрания.

Как известно, Ленин боялся, что русские солдаты в последнюю минуту могут перейти на сторону социалистов-революционеров, которые имели большинство в Учредительном собрании. Поэтому он, распорядился, чтобы в Петроград были стянуты латышские стрелковые полки и чтобы они охраняли большевицкую власть и помогли подавить анти-большевицков. Таврический дворец поэтому, еще за день раньше, был окружен латышскими стрелками, большинство которых не понимали по-русски. Аронсберг, который говорил по-латышски также свободно как по-русски, несколько часов провел около Таврического дворца, стараясь разъяснить латышским стрелкам, в каком страшном преступлении они участвуют и призывал их перейти на сторону Учредительного собрания, в котором социалисты имели большинство. Но его увещания не привели ни к чему. С инвалидами большевики первое время

еще церемонились и поэтому Аронсберга не арестовали. Почти год он прожил в Петербурге, в Москве и других городах, работая в различных учреждениях до начала 1919-го года, когда ему удалось выехать из Сов. России и приехать в Америку.

Скромному идеалисту и герою Эммануилу Аронсбергу, ненавидевшему рекламу и не охотно говорившему о своих героических поступках, однако суждено было все-таки «остаться в истории». Среди писем бывшей императрицы Александры Федоровны к ее мужу Николаю II, которые были опубликованы в Берлине в 1922 году, есть одно письмо об Аронсберге. В нем Александра Федоровна пишет мужу, что греческая принцесса рассказала ей, что в «ее» госпитале находится еврейский солдат Эммануил Аронсберг, который специально приехал из Америки, как доброволец, чтобы помогать защищать Россию в войне. На войне он потерял руку, и теперь его хотят выселить из Петрограда. «Где же справедливость? — спрашивает царица, — мы ведь должны различать между хорошими евреями и плохими евреями. Аронсберг своими поступками показал, что он хороший еврей, так почему же с ним поступать так плохо?»

Царь немедленно из Ставки телеграфировал министру внутренних дел вышеприведенное распоряжение об Аронсберге.

С начала 20-ых годов Аронсберг был переводчиком в американском консульстве в Риге. Незадолго до второй мировой войны он приехал на короткое время в Нью-Йорк и провел у меня целый день. Он вернулся обратно в Ригу и вскоре умер там от разрыва сердца.

Д. Шуб

НОВАЯ ФАЗА В ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОЙ ЭКСПАНСИИ

Советская политика экспансии вступила после Хрущева в новую фазу развития. Эта фаза связана со структурной передвижкой власти наверху в сторону сталинизма и непомерным усилением закулисного влияния на общую политику Кремля со стороны советских милитаристов. Логическим следствием этого была не только реабилитация Сталина как великого полководца, но и ревизия «ревизионизма» XX съезда по вопросам ленинского учения о политической стратегии и тактике в международных делах. На этой основе вновь сформулированы старые цели и новые задачи. Мы хотим попытаться рассмотреть их, не претендуя ни на полноту анализа, ни на безапелляционность наших выводов.

1

Когда мы анализируем исходные позиции идеологии большевизма, то нас не может не поразить одно парадоксальное явление: глобальная идеология, основанная на застывших догмах, и глобальная политическая стратегия по ее осуществлению, основанная на эластичных доктринах. Довольно распространенное мнение, что большевицкая партия есть партия догматическая, основано на этом кажущемся доминировании идеологии в действиях партии. Насколько ее идеологическая вера антинаучна и бескомпромиссна, настолько же ее политическая стратегия прагматична и динамична. Да, марксистская вера — первична, но ее назначение утилитарно: она должна служить практике. Ленин был прав, когда констатировал, что идеология марксизма служит большевикам для обоснования их политических доктрин в борьбе за власть. Поэтому через все доктрины о партии и революции Ленина и его преемников

красной нитью проходит одна руководящая идея: примат интересов власти над интересами чистоты догм. Вот почему власть — константная величина, а идеология — ее служанка. Неукратимое стремление к тотальному господству, — это и есть, пользуясь терминологией Фрейда, социальное «либидо» большевизма. Поскольку большевизм поставил перед собой цель — любой ценой и при любых условиях захватить политическую власть в России, объявив свою революцию социалистической, а власть — «диктатурой пролетариата», то Ленину пришлось поступить с Марксом так, как Маркс в свое время поступил с Гегелем — перевернуть Маркса с головы на ноги. Место всеопределяющей «материи» Маркса занял новый тип идеализма — разум человека с неограниченной «волей к власти», которым определяется и сама материя, место имманентных марксистских законов революции — «субъективный фактор» (партия), который перескакивая через исторические этапы, может и должен перевернуть весь мир. Не объективная материя, а субъективная воля, — вот что определяет по Ленину направление и судьбы всемирно-исторического процесса. Так родился волюнтаристский большевизм, который подверг марксизм коренной ревизии слева в вопросах революции, но которым он предпочел прикрываться как своим фиговым листком.

Для соблюдения внешней преемственности с марксизмом Ленин сочинил теорию о новой эпохе империализма, при котором торжествует та же самая пролетарская революция, но марширует она не по Марксу, а против Маркса — с Востока на Запад. Так была обоснована доктрина о победе революции сначала в «слабом звене» империализма с тем, чтобы страна победившего социализма стала базой для прорыва и уничтожения всей цепи империализма. Вот почему Ленин с первых же дней захвата власти заявил, что исторической миссией советской России является создание «Мировой советской республики» по образу и подобию самой советской России (т. XXIV, стр. 150, 3-е изд.).

Истинной веры в коммунизм, как в социальное гармоничное общежитие человечества, при котором отмирает насилие, у советских коммунистов не было при Ленине-Сталине, как нет ее и после них. Поэтому большевики легко и без какой бы то ни было внутренней борьбы жертвовали чистотой своих идеологических риз, если этого требовали интересы власти.

В истории советской диктатуры бывали кризисы, когда на карту ставилась судьба режима и его можно было спасти только путем идеологической капитуляции перед империализмом. Ленин, ни на минуту не колеблясь, шёл на это (Брестский мир). Бывали такие соблазнительные международные ситуации, которыми можно было воспользоваться в интересах расширения зоны своего господства, но ценой идеологической капитуляции, — Сталин, не задумываясь, шел на это (пакт Риббентропа-Молотова). Точно так же поступил и Хрущев, когда ему показалось, что переворот, произведенный термоядерным оружием в военной технике, требует пересмотра не только военной, но и политической стратегии большевизма. Отсюда ревизия ленинизма на XX съезде. В интересах сохранения власти и расширения ее господства за пределы стран коммунизма, не рискуя самоубийственной атомной войной, Хрущев пожертвовал некоторыми компонентами ленинизма, которые до сих пор признавались священными.

Таким образом, доктрина мировой политической стратегии большевизма и ее инструмент — советская дипломатия — допускают и даже предписывают самые невероятные метаморфозы, если этого требуют интересы дела, но они никогда не упускают из виду своей властной цели.

Если Запад, собственно США, только за послевоенное время знают периоды *пересмотра* мировой политической стратегии от «сдерживания», через «конфронтацию» до нынешней «кооперации» с советским коммунизмом, то Советский Союз знал и всегда знает лишь одну генеральную линию: конфронтацию. Конечно, советская конфронтация, как и до войны, знает разные формы и разные фазы: периоды вынужденных компромиссов, отступлений, «передышек», но все это происходит в целях набирания новых и перегруппировки старых сил для подготовки нового наступления. Даже обороняющийся коммунизм насквозь агрессивен. «Миролюбивый коммунизм» — это такое же противоестественное понятие, как жареный лёд или сухая вода. Дело здесь не в характере или иррациональном мышлении меняющихся лидеров Кремля, а в природе неменяющегося идеократического режима: историческая миссия этого режима по Ленину глобальна, а метод ее осуществления исключительно — насилие.

Насилие по Ленину уже не «повивальная бабка», как у

Маркса, которая лишь помогает во время родов, когда старое общество уже беременно революцией, насилие у него единственное и ультимативное средство для организации самой революции. Поэтому Ленин глубоко убежден не только в закономерности перманентной идеологической конфронтации СССР против остального мира, но и в необходимости организации, в конечном счете, военного решения вопроса «кто кого». Бесчисленны высказывания Ленина на этот счет. В связи с моей темой нелишне будет привести некоторые из них. В 1915 году в статье «О лозунге соединенных штатов Европы», обосновывая свое знаменитое положение о возможности победы «социализма в одной стране», Ленин тут же добавлял, что «социализм в одной стране» не самоцель, а средство к созданию коммунистических «Соединенных штатов мира». Он писал: «Соединенные штаты мира (а не Европы) являются той государственной формой объединения, которую мы связываем с социализмом, пока полная победа коммунизма не приведет к исчезновению всякого, в том числе и демократического государства» (т. XVIII, стр. 232, 3-е изд.).

Однако в силу закона неравномерного экономического и политического развития разных стран при империализме, социализм первоначально может победить и в одной стране, но Ленин убежден, что «победивший пролетариат этой страны, ... организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального капиталистического мира... поднимая восстания... выступая в случае необходимости даже с военной силой против их эксплуататорских классов и их государств» (т. XVIII, стр. 233, 3-е изд.).

Это было до захвата власти большевиками. После создания коммунистического государства в России, в докладе на VII съезде партии (1918) Ленин обнародовал как законы, во-первых, невозможность длительного модус вивенди между коммунистической Россией и Западом (тогда модного слова «сосуществование» еще не было), во-вторых, императивную задачу советских большевиков распространить и утвердить свой коммунизм во всем мире. Вот его слова: «Международный империализм... ни в коем случае, ни при каких условиях не мог ужиться рядом с Советской республикой. Тут конфликт является неизбежным. Здесь величайшая историческая проблема: необходимость решить задачи международные, необхо-

димось вызвать международную революцию, проделать этот переход от нашей революции, как узко национальной, к мировой» (т. XXII, стр. 17, 3-е изд.).

Когда же советская Россия приступит к выполнению этой своей исторической миссии? На собрании партийных секретарей Москвы в ноябре 1920 года Ленин дал ответ, ясность которого не уступает его циничности: «Как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот» (т. XXV, стр. 500, 3-е изд.).

Ленин до конца своих дней остался верным своему новому «марксистскому открытию» о том, что: 1) войны при империализме фатально неизбежны, 2) войны — источник революции, 3) историческая миссия СССР — организация мировой революции. Поэтому Ленин строил свою политическую стратегию не только на подготовке СССР к новой войне, но и на разжигании войн между чужими государствами. Ленин учил своих последователей: «Надо уметь поставить свои силы так, чтобы они (иностранные государства — А. А.) передрались между собою, так как всегда, когда два вора дерутся, честный человек от этого выигрывает», короче: «практическая задача коммунистической политики есть задача использования этой вражды, стравливая их друг с другом» (т. XXV, стр. 500, 502, 3-е изд.). Поэтому стратегия Ленина абсолютно не допускает возможности заключения договора о разоружении между советской Россией и Западными странами, ибо с одной стороны, разоруженная Россия была бы лишена возможности оказать военную поддержку революциям в других странах, с другой — войны между этими разоруженными странами, как источник революций, автоматически отпали бы из-за разоружения. Вот почему Ленин внес специальный пункт на этот счет в Программу партии 1919 г., в котором сказано, что «Лозунги пацифизма, международного разоружения являются не только реакционной утопией, но и прямым обманом трудящихся» (КПСС в резолюциях, ч. 1, стр. 412, 1954). Когда Ленину указывали на скользкость и политическую уязвимость теории «война, как источник революции», то он ссылался на Энгельса: «В отличие от людей, которые искажают марксизм... что на почве разрухи социализма не может быть, Энгельс понимал превосходно, что война всякая, даже во всяком передовом обществе, создает не только разруху, одичание, муче-

ния, бедствия в массах», но именно в силу таких условий «он говорил, что это будет: «либо победа рабочего класса, либо создание условий, делающих эту победу возможной и необходимой» (VII съезд РКП(б), Стенографический отчет, стр. 140, 1962). Ленин, обращаясь к другим странам, особенно настойчиво подчеркивает, что «большевизм годится как образец тактики для всех» (т. XXIII, стр. 386) и что советский опыт диктатуры пролетариата «показывает *всем* странам... весьма существенное, *из их неизбежного и недалекого будущего*... Отсюда международное значение советской власти, а также основ большевицкой теории и тактики» (т. XXV, стр. 171-172).

2

Изложенная концепция ленинизма в делах международных являлась одновременно и идеологическим «кредо» и программой действия Кремля, пока Хрущев не внес сюда своего собственного вклада на XX съезде (1956). Этот вклад Хрущева, как известно, Пекин оценил как самую злокачественную «ревизию» ленинизма. Однако в основе «ревизионизма» Хрущева лежали весьма трезвые мотивы: появление термоядерного оружия повелительно диктует пересмотр ленинской доктрины о войне, как источнике революции. Новая термоядерная война не может быть «продолжением политики другими средствами», в ее конце будет не мировая революция, а мировая катастрофа. Даже локальные войны с обычным оружием, в которых задеты интересы атомных держав, превратятся в одну общую войну. Поэтому XX съезд партии записал, что «фатальной неизбежности войн нет», война не источник революции (XXII съезд) и что альтернативой войне является «мирное сосуществование». Отсюда были сделаны выводы и в отношении ряда ведущих основ доктрины Ленина о мировой пролетарской революции, о диктатуре пролетариата, о путях к власти и формах социализма (коммунисты к власти могут прийти не только через восстание, но и через завоевание парламентского большинства, советская модель социализма необязательна для других стран и т.д.).

Послехрущевское руководство стало на путь ревизии «ревизионизма» XX съезда, не отказываясь от выгод психологического климата в мире, созданного ревизией Хрущева. К

ревизии XX съезда коллективное руководство пришло не сразу, далеко не добровольно, и, по всей вероятности, не единодушно. Решающее влияние здесь оказал советский генералитет. В той же мере, в какой росли центробежные силы в коммунистическом лагере, обязанном своим возникновением либо прямой военной помощи Красной армии, либо военно-материальной помощи советского правительства, советская военная клика усилила свое давление на партийное руководство с целью легализации права Советской армии на вооруженную интервенцию в тех случаях, когда тот или иной сателлит проявляет нелояльность к «пролетарскому интернационализму» (то-есть советской гегемонии) или становится на «другой путь социализма», чем советский.

Аргументов в пользу этого требования у генералитета было более чем достаточно. Антисоветская революция в Венгрии осенью 1956 года, неудавшийся, но угрожающий польский «октябрь» того же года, открытый идеологический и политический разрыв Пекина с Москвой с апелляцией к Ленину (внешним поводом которого послужил ревизионизм того же XX съезда), «нейтралитет» коммунистической Кореи и Вьетнама в конфликте между Москвой и Пекином, несмотря на превосходящую по сравнению с китайской, материальную и военно-техническую помощь им со стороны СССР, измена Албании в пользу Китая, вызывающая демонстрация своей самостоятельности Румынии, подчеркивание своей полной независимости от СССР Кубой, хотя своим существованием она обязана экономической помощи и военно-политическому покровительству СССР, невозвращение Югославии в советский блок, несмотря на официальное признание правомерности ее формы социализма и неправоты Сталина в конфликте с Тито, наконец, переворот Дубчека в Чехословакии с его выбором другого пути социализма — с объявленным «человеческим лицом» и антисталинским духом, — вот все эти события доказали, что легализация на XX съезде иных путей к социализму, кроме ленинского, советского, была катастрофическим просчётом в «союзнической» стратегии Кремля.

Правда, этот курс был рассчитан на установление гармонии внутри коммунистического лагеря, но он достиг прямо противоположных результатов. Руководство СССР потеряло свой морально-политический авторитет в Азии и чувствитель-

но поколебало основы советской империи в Европе. Контуры образовавшейся опасности раньше политического руководства заметило военное руководство СССР, которое Сталин учил думать не формулами догматической болтовни, а материальными категориями военной стратегии. Чашу терпения советского генералитета переполнила Чехословакия. Под прямым давлением этого военного руководства Политбюро после вероятного колебания и безуспешных попыток заключить компромисс с Дубчекем, оккупировало Чехословакию и одновременно провозгласило: выход из советского блока любого восточноевропейского государства автоматически вызовет военную интервенцию СССР. Это заявление Кремля было сформулировано языком коммунистического жаргона о «помощи братьям» по долгу «пролетарского интернационализма». На Западе это заявление было названо «доктриной Брежнева», хотя ничего нового, ничего специфически брежневского в нем нет. Военная клика и Политбюро просто восстановили в своих правах ленинскую доктрину об обязательности советского пути для всех стран, столь опрометчиво пересмотренную XX съездом. Но самое главное и самое опасное для дела мира не в этой «доктрине Брежнева» (как бы бесчеловечны не были ее выводы для народов Восточной Европы), а в другом факте, который удивительным образом ускользнул от внимания даже всезнающих «кремленологов», а именно: *Кремль реабилитировал учение Ленина и о неизбежности войн и что войны — источник революции*. Даже в атомную эпоху возможны войны без применения стратегического атомного оружия, как ограниченные локальные войны.

На XXII съезде партии (1961) советский министр обороны маршал Малиновский в полном согласии с тогдашней политической стратегией Кремля отвергал концепцию «ограниченных войн» на том основании, что «в современных условиях любой вооруженный конфликт неизбежно перерастет во всеобщую ракетно-ядерную войну» (XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, стр. 112-113, 1961). Теперь советские военные и политические лидеры так не думают. Правда, советские военные теоретики из генералов и маршалов во главе с Соколовским еще во время Хрущева не разделяли этой официальной точки зрения о неизбежном перерастании любого конфликта во всеобщую войну. Они говорили только бо «опас-

ности такого перерастания», если в ограниченной войне будет применено тактическое ядерное оружие (Военная стратегия, под редакцией маршала Соколовского, стр. 96, 1963). Однако и они продолжали говорить, что американская концепция «ограниченных войн» представляет собою «авантюристический расчет американских империалистов», но в издании «Советской стратегии» 1968 г. этот пассаж начисто вычеркнули. Какой же тут «авантюризм», если сам СССР безнаказанно, без развязки мировой войны участвовал или участвует прямо или косвенно, с огнем или без применения огня в ряде «ограниченных войн» или «вооруженных конфликтов» (вторая оккупация Венгрии, вторая оккупация Чехословакии, вооруженный конфликт на советско-китайской границе, косвенное участие в войнах во Вьетнаме и на Ближнем Востоке).

Что же касается Запада, то маршал Гречко констатирует, что «уже после окончания второй мировой войны империалисты развязали более трех десятков «малых» войн (кавычки Гречко — А. А.), осуществили сотни вооруженных акций во многих районах земного шара» без того, чтобы они переросли в мировую атомную войну (Правда, 23. 2. 71). Мораль отсюда ясна — то, что позволяют себе «империалисты», то нам сам ленинский бог велел. Отсюда и ревизия XXII съезда, на котором было записано, что «любой вооруженный конфликт неизбежно перерастет во всеобщую ракетно-ядерную войну». Таким образом, доктрины американских военных мыслителей об «ограниченных войнах», против которых так решительно выступало хрущевское руководство, нынешнее военное и политическое руководство признало правомерными. Американские военные ученые (Тэйлор, Кисинджер, Броди), по иронии судьбы, внесли свой вклад в дело реабилитации учения Ленина о возможности или неизбежности войн, хотя бы ограниченных (даже с применением тактического атомного оружия) без того, чтобы была развязана мировая атомная война.

3

Для формулировки целей и задач новой фазы советской политической стратегии эти факты имели выдающееся значение. Стало очевидным, что невозможно анализировать советскую политическую стратегию, без учета советской военной

стратегии и военной доктрины. Теперь все яснее становится, что направления, темпы, приоритеты и география советской политической стратегии диктуются интересами советской военной стратегии. Что самое поразительное и беспрецедентное в истории коммунистической диктатуры в СССР — это то, что военная стратегия отныне разрабатывается не политиками, как это было при Ленине, Сталине и Хрущеве, а генералами. Мы имеем на этот счет свидетельство из первых рук. Видный советский военный теоретик профессор М. Скирдо, в книге изданной в 1970 г., как учебник, издательством Министерства обороны СССР, пишет: «Важнейшей функцией военного руководства, его органов является разработка и осуществление *стратегических планов войны*, умелое руководство вооруженными силами и *деятельностью всего народа*, использование всех возможностей для достижения политических целей войны» (М. П. Скирдо, «Народ, армия, полководец», стр. 150, 1970 г., Военное издательство Министерства обороны СССР). Автор только теоретически признает, что директивная роль принадлежит политическому руководству, делая несвойственное большевизму противопоставление политического руководства стратегическому: «Политическое руководство указывает стратегическому руководству, где и как должны быть использованы вооруженные силы, чтобы добиться намеченных военно-политических целей. Но при этом и в современных условиях сохраняется *определенная самостоятельность высшего военного руководства...*» (там же, стр. 104).

Это уже совершенно ново. Это результат веяния нового времени. Еще до войны, когда Начальника Генерального штаба Красной Армии маршала Шапошникова попросили прочесть в Академии курс лекций по стратегии, он благоразумно отказался от этого ссылкой на то, что вопросы стратегии входят в прерогативы тогда еще не «генералиссимуса» Сталина. Сейчас пошли видно другие времена. Поэтому обозначилась и другая тенденция: военная стратегия становится не только компетенцией высшего военного руководства, но она еще имеет все шансы превратиться из бывлой служанки в повелительницу советской политической стратегии.

Советский генералитет не так далёк от того, чтобы вернуть известную формулу Пуанкарэ: мировая политическая стратегия слишком серьезная вещь, чтобы ее можно было

доверять «замполитам» из Политбюро. Свой курс на милитаризацию советской внешней политики руководители и теоретики советского высшего военного руководства оправдывают одним тезисом, который присутствует во всех их писаниях и который они считают аксиомой: Америка думает начать атомную войну против СССР. Военное руководство выдвинуло теорию, согласно которой между успехами коммунизма в СССР и ростом опасности нападения на СССР существует прямая органическая связь — чем больше преуспевает коммунизм, тем яростнее наступает враг. Чтобы придать этой теории больше веса, маршал Гречко призвал на помощь Ленина: «Ильич прозорливо предупредил: «Чем мы больше побеждаем, тем больше капиталистические эксплуататоры учатся объединяться и переходить в более решительные наступления» (Правда, 23. 2. 1971, статья маршала Гречко). То же самое, почти в таких же выражениях Сталин говорил на февральско-мартовском пленуме ЦК в 1937 г. о связи между успехами социализма в СССР и активизацией его внутренних врагов. Чем больше успехов социализма, тем яростнее контрнаступление внутренних врагов, — говорил Сталин. Какой он отсюда сделал вывод, хорошо известно: СССР погрузился в беспримерную в истории инквизицию, названную народом «ежовщиной».

Какой же вывод сделал Гречко из своей теории в международном масштабе, мы не знаем, но вывод, который сделали в Кремле может быть сформулирован так: советская политическая стратегия должна опираться на принцип *превосходства* советских вооруженных сил над силами США. Если вообще существует какая-либо «доктрина Брежнева», то именно «доктрина превосходства советских сил». Сам Брежнев сформулировал эту доктрину довольно осторожно, заявив, что «на любые попытки с чьей-либо стороны обеспечить себе военное *превосходство над СССР* мы ответим должным увеличением военной мощи» (Правда, 23. 2. 1971). Но вышецитированный советский военный теоретик выражается на этот счёт яснее. Он пишет, что «решающее значение ныне приобретают не потенциальные экономические возможности государств, которые можно привести в действие в ходе войны, а соотношение тех сил и средств, которыми вступившие в борьбу стороны располагали еще до начала военных действий» (М. Скирдо, цит. соч., стр. 97) и что: «Главное, решающее состоит в том,

какая сторона сумеет добиться *перевеса* своих сил над силами противника» (там же, стр. 99) и добавляет, что политическое руководство должно «учитывать соотношение своих сил и сил противника и *добиваться его изменения* в свою пользу» (там же, стр. 113), «обеспечения *военно-технического превосходства* над противником» (там же, стр. 126). Маршал Гречко на XXIV съезде уже официально провозгласил «доктрину превосходства советских сил» в следующих словах: «Советский Союз способен на силу ответить *превосходящей силой*» (Правда, 3. 4. 1971, стр. 5).

Если советская военная доктрина такова, то вывод не вызывает сомнения: советская военная стратегия основана на принципе «превосходства сил».

Интересы и задачи этой военно-политической стратегии потребовали пересмотра идеологических и тактических установок XX съезда. Начали с интерпретации пресловутого «сосуществования». Вспомним, что говорилось в решении XX съезда о «сосуществовании», а потом интерпретацию, данную Брежневым этому тезису на XXIII съезде (1966). В резолюции XX съезда сказано: «*Генеральной линией* внешней политики Советского Союза был и остается ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем» (XX съезд КПСС. Стенографический отчёт. Ч. II, стр. 413, 1961). Этой формулы теперь вы нигде не встретите в советской печати. Она молчаливо признана антиленинской (не без влияния Пекина). «Генеральная линия» отныне не «сосуществование», а борьба за интересы коммунизма в национальном, континентальном и интерконтинентальном масштабе. «Сосуществование» из лексикона советских генералов исчезло и перекочевало в ведомство Громыко. Но и там его толкуют уже по-новому, по-брежневски. Вот интерпретация «генсека»: «Советский Союз рассматривает сосуществование государств как форму *классовой борьбы* между социализмом и капитализмом» (Материалы XXIII съезда КПСС, доклад Брежнева, стр. 29, 1966).

Вывод XX съезда, что «войны не неизбежны» отпадает по самой простой причине, о которой ясным военным языком сказано в книге Министерства обороны СССР: «Коммунисты поддерживали и будут поддерживать войны в защиту социалистических завоеваний, справедливые национально-освободи-

тельные войны, восстания народов против империалистического гнета... В своей справедливой войне против внутренней и международной реакции... народы всегда встречают поддержку Советского Союза» (М. Скирдо, цит. соч., стр. 27).

Кремль восстановил в своих правах не только учение Ленина о войнах, как источнике революции, но и всю доктрину Ленина, как о путях и методах осуществления революции, так и о формах и методах строительства социализма, которые подверглись ревизии на XX съезде.

Если на XX съезде было решено, что могут быть «разные формы» социализма и что коммунистические партии в капиталистических странах могут взять власть не только через вооруженное восстание, но и через парламент, перетянув на свою сторону большинство избирателей, а некоторые влиятельные компартии на Западе даже говорят о сохранении парламента и многопартийной системы вместо «диктатуры пролетариата» (итальянская, французская), то нынешнее руководство от всего этого отказывается. Оно и в этих вопросах вернулось к исходным позициям ленинизма. Выступая с докладом о столетии со дня рождения Ленина Л. Брежнев сказал: «Исторический опыт со всей ясностью подтвердил (т.е. опыт Венгрии и Чехословакии — А. А.) мысль Ленина о том, что особенности в развитии стран социализма «могут касаться только не самого главного» и что такие «особенности», как социалистическая революция, диктатура пролетариата и монополия власти коммунистов обязательны для всех» (Правда, 22. 4. 1970). В докладе «О столетии Парижской коммуны» от 17 марта 1971 г. Политбюро ЦК устами секретаря ЦК Б. Пономарева повторило это заявление Брежнева: «Ленинские оценки роли Коммуны сохранили свою свежесть и актуальность в наше время», а именно: (1) «необходимость диктатуры пролетариата для победы социалистической революции», (2) «необходимость слома буржуазной государственной машины, замены ее новым пролетарским государством», (3) «факты вновь и вновь подтверждают ленинскую мысль, что правящий класс... никогда добровольно не уйдет со сцены и не откажется от власти» (Правда, 18. 3. 1971, стр. 2). То-есть — парламентский путь к власти для коммунистов отпадает.

Политбюро убеждено, что мир находится накануне неизбежной мировой революции. Она неизбежна, по мнению Крем-

ля, потому, что: 1) для нее уже созрели условия и сложились объективные предпосылки в западных странах, 2) СССР будет оказывать ей максимальную помощь.

Секретарь ЦК Б. Пономарев, который считается главным экспертом ЦК по международному коммунизму, по поводу первого пункта сказал: «Объективные предпосылки для перехода к социализму в основных центрах капиталистической системы давно сложились... В ряде стран несоциалистической зоны обстановка такова, что накопленного годами и десятилетиями горючего материала достаточно, чтобы прорвать оболочку капиталистического господства», и предупреждающе добавил: «Всё зависит от умения использовать имеющиеся возможности» (Правда, 18. 3. 1971). В отношении второго пункта мы имеем не менее авторитетные заявления секретарей ЦК: а) выступая по поручению Политбюро с докладом о Ленине секретарь ЦК И. Капитонов сказал: «Наша партия была и остается верной завету Ленина — делать «максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции *во всех странах*» (Правда, 23. 4. 1969). б) это же повторил сам Генеральный секретарь ЦК Л. Брежнев, выступая на торжествах посвященных столетию рождения Ленина в апреле 1970 г.: «Да, Ленин родился в России, но российскую революцию он никогда не представлял себе иначе, как *составную часть и фактор революции мировой*» (Правда, 22. 4. 1970); в) Пономарев, как бы комментируя обоих своих коллег, дополнил: «Международные условия для борьбы за социализм во всемирном масштабе сейчас более благоприятны, поскольку интернациональный пролетариат теперь располагает такой могучей силой, как мировое социалистическое содружество» (Правда, 18. 3. 1971).

Таким образом, новая фаза в советской политической стратегии характеризуется полнейшей ревизией решений XX съезда, возвратом к доктринам революционной экспансии ленинизма, констатацией наличия сегодня созревших предпосылок для мировой революции и подчеркиванием готовности СССР сделать «максимум возможного» для ее поддержки.

Мы сейчас проходим через тот этап в мировой политике, когда явно обозначались две тенденции двух сверхдержав, но тенденции, идущие в противоположном направлении — в то время, когда Америка склонна к *сужению* своей активности в

глобальном масштабе, СССР стремится к *расширению* сфер своего присутствия во всех частях мира; в то время, как Америка предлагает «кооперацию вместо конфронтации», СССР проповедует «справедливые войны» и восстания в тылу Запада и в третьем мире; в то время, как Америка начала в военной стратегии переход от «превосходства сил» к «балансу сил», от «массированного ответного удара», потом «гибкого реагирования» к теперешней стратегии «достаточной термоядерной мощи» для «реалистического устрашения», СССР держит курс на «превосходство сил».

Министр обороны США Лэйрд сказал, что Америка не хочет играть роль «мирового полицейского», однако политическая природа тоже не терпит пустоты — откуда будет уходить Америка, туда будут приходить СССР и Китай. Они, конечно, будут приходить и туда, где Америка вообще не была. На то коммунистическая стратегия и глобальна.

4

Без старческого упрямства Сталина, без авантюристической импровизации Хрущева, без показной саморекламы своей истинной мощи Кремль ведет двойную игру — в пропаганде и открытой дипломатии он проповедует мир на земле, а в своей мировой революционной политике и закулисной дипломатии он плетет сеть конспирации в тылу свободного мира и интриги в лагере его оборонительной коалиции. При этом он не играет ва-банк, а действует наверняка, не выступает одновременно против всех врагов, а назначает им очереди с таким расчетом, чтобы действовать против врага № 1 в союзе с врагом № 2, против врага № 2 в союзе с врагом № 3. Таково одно из требований ленинского тактического искусства. Успешность такой тактики Сталин блестяще демонстрировал внутри страны против разных партийных оппозиций, вне страны — во время второй мировой войны. Кремль имеет точно разработанную концепцию того, чего он хочет во всех странах вместе и в каждой стране в отдельности. Он имеет и обоснованную доктрину, как это осуществить.

В основе доктрины лежат две идеи Ленина: идея о «слабом звене» и идея об «особом звене». Для Ленина мировой капитализм эпохи империализма — это единая цепь, состоя-

шая из ряда национальных звеньев. Сразу разорвать всю цепь невозможно никакой революцией, поэтому надо сначала взорвать «слабое звено», чтобы потом разложить всю цепь звено за звеном. Идея «особого звена» возникла после захвата власти и она сводится к тому, что «надо уметь найти в каждый особый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену» (Ленин, Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 205). Идеи «слабого звена» и «особого звена» Кремль применяет не только в революции, но и для разложения коалиции своих потенциальных врагов.

Проиллюстрируем сказанное на двух показательных примерах.

«Слабым звеном» в НАТО Кремль считал Францию не только из-за большой антиамериканской французской компартии, но и из-за живучести старомодного национализма французов и своеволия генерала де Голля. Хрущев в свое время, подогревая французский национализм и честолюбие генерала де Голля, говорил, что Франция великая нация, но чтобы стать великой мировой державой, ей надо перестать быть сателлитом Америки. Конечно, Франция не вышла из атлантического военного союза, чтобы угодить Москве, но в политике важны не мотивы, а последствия. Однако Франция будучи «слабым звеном», все же не являлась «особым звеном», которое может разложить всю цепь атлантической коалиции в Европе. «Особым звеном» в глазах Кремля — в силу экономического потенциала, технического уровня, людского резервуара и стратегического положения в сердце Европы — является Федеральная Республика Германии. Смена правительства в Германии с ее переориентацией немецкой и восточной политики сделала из этого важнейшего европейского союзника НАТО объект самых далеко идущих вождедений Кремля. Только эта Германия, покинувшая военный союз, по примеру Франции, открыла бы шлюзы коммунистическому наводнению вплоть до Ламанша. В Кремле хорошо знают, что такая перспектива в нынешних условиях почти невероятна, но ее не считают безнадежной в будущем. Потому что в Кремле также хорошо учитывают, что почти нет такой цены (конечно, кроме потери свободы), которую немцы не заплатили бы за нормализацию внутригерманских отношений в настоящем (открытие границ,

снятие стены) и за создание условий воссоединения обеих Германий в будущем. А всё это зависит исключительно от Москвы.

Отсюда переориентация боннской восточной политики при новом социал-либеральном правительстве. Как бы спорна ни была такая переориентация даже среди самих немцев, но для ее беспристрастной оценки нам не достаёт знания, во-первых, ее «внутренней концепции» (если, конечно, таковая есть), во-вторых, тех границ, до которых она рассчитана. Она таит в себе и преимущества и опасности для обеих сторон, но опасности меньше для СССР, больше для Германии, весь вопрос в том, кто наилучшим образом воспользуется своими преимуществами для достижения поставленной цели. Намерение Кремля более чем очевидно — шаг за шагом вести свою германскую политику в том направлении, в конце которого европейское «особое звено» НАТО окажется оторванным от него, если не юридически, то фактически. Нельзя говорить об иррационализме такой политики Кремля, ибо платежеспособность Москвы почти не ограничена, вплоть до обещания воссоединения Германии.

Тесно с немецкой политикой связана и общеевропейская политика Москвы. За последние годы созыв общеевропейского совещания по вопросам «безопасности и сотрудничества» стал как бы идей-фикс Кремля. В противовес чувству «атлантического сообщества» народов, культивируя чувство «общеевропейского сообщества», апеллируя к некому «общеевропейскому патриотизму», Москва как бы воскресила лозунг де Голля: за Европу от Атлантики до Урала. Но ее цели другие, чем у де Голля: вбить клин между Европой и Америкой, создать ложное чувство зависимости безопасности Европы от самих европейских народов, ввести через черный вход в семью европейских народов своего незаконнорожденного ребенка — Германскую Демократическую Республику, предупредить дальнейшую экономическую и политическую интеграцию стран «Европейского экономического сообщества», создать даже какой-то вид общеевропейской «унии», чтобы найти организационную форму для легализации своей роли гегемона над Европой. Для осуществления этих целей Кремль выдвигает странный в его устах лозунг: «Нет — расколу, да — единству Европы» (Правда, 23. 3. 1971, статья Ю. Жукова). Стран-

ным я называю этот лозунг Кремля потому, что как теория о непримиримом антагонистическом расколе Европы на два лагеря (на лагерь социализма и лагерь капитализма), так и практика возведения против свободной Европы «железного занавеса» принадлежат именно Кремлю.

Из внеевропейских объектов советской экспансии надо указать на два района, где СССР применяя один и тот же метод, преследует разные цели — Индокитай и Ближний Восток. Там и здесь главный метод экспансии — поставка советского оружия, но советская цель в Индокитае — это недопущение гегемонии Китая и максимальное обеспечение собственного влияния. Цель на Ближнем Востоке далеко идущая — это превращение военно-конъюнктурной зависимости Египта, Сирии, Ирака от СССР в длительную и прочную государственно-политическую зависимость. Для достижения как первой, так и второй цели нужно, чтобы в этих районах продолжалась война или состояние, близкое к ней. Поэтому, например, Кремль предпочитает присутствие американцев во Вьетнаме, чем победу Северного Вьетнама при помощи Китая. То же самое и в отношении Ближнего Востока. Едва ли СССР заинтересован в данных условиях в развязке новой израильско-арабской войны, но он еще менее заинтересован в длительном и прочном мире в данном районе. Кажется, что не заинтересован он и в уничтожении государства Израиль (ведь тогда отпадает причина присутствия здесь СССР). Интересам советской политической стратегии больше отвечает ситуация «ни войны, ни мира», между Израилем и арабами. Кремлевские стратеги хорошо и до сих пор успешно пользуются и другим фактором — ограниченностью возможностей Белого дома для свободного маневрирования в израильско-арабском конфликте. Трагедия создавшейся ситуации заключается в том, что ни арабы, ни израильтяне не хотят «видеть за лесом деревьев». Наследственные черты юго-восточного темперамента — взрывчатая эмоция и злопамятная месть делают их близорукими перед чудовищной опасностью, которая одинаково нависла над обоими народами — перед советским коммунистическим империализмом. Смертельно опасными для Израиля окружающие арабские страны будут лишь тогда, когда они станут сателлитами СССР. Кремль держит курс на это. Если Советскому Союзу это удастся, тогда вообще отпадает израильско-арабская пробле-

ма — на большевизированном Ближнем Востоке водворится такой же «международный мир», как в самом Советском Союзе.

Важное место в советской политической стратегии занимает вопрос разоружения или ограничения ракетно-ядерного вооружения. Оставим в стороне сложный комплекс специальных технических проблем, связанных с разными видами оружия или дефиницией наступательного и оборонительного, стратегического и тактического атомного оружия, значение американских баз в Европе и т.д.

Лучше поставить другой вопрос — есть ли единый ключ к пониманию советской тактики на конференциях по разоружению и ограничению вооружения? Ответить на это трудно, ибо советская политика в данном вопросе находится как бы в заколдованном кругу из-за ряда противоборствующих факторов. Есть факторы, убедительно говорящие за разоружение и ограничение вооружения с внутренней точки зрения, но есть факторы столь же убедительно говорящие против с международной точки зрения. Руководство Кремля находится между молотом и наковальней — между продолжающимся кризисом недопроизводства сельского хозяйства, низкой рентабельностью промышленности (кроме всего прочего из-за недостатка капиталовложения для ускорения и расширения научно-технической революции), малой производительностью труда, с одной стороны, между растущим требованием народа о поднятии его скандально низкого уровня жизни, между максимальной нагрузкой рабочего дня и минимальным его вознаграждением, между изобилием товаров в сводках Госплана и все еще длинными очередями у магазинов ширпотреба, с другой. В этих условиях партийное руководство нуждается в переброске части огромных средств из военной индустрии в гражданское хозяйство. Поэтому СССР нуждается, казалось бы, больше чем Америка, в успехе разговоров, хотя бы об ограничении фантастически дорогостоящих стратегических оружий (Салт.)

Но тут у СССР есть две проблемы, которые в менее острой форме существуют и у США. Одна проблема — коммунистический Китай. Если война между коммунистическим СССР и капиталистическими США исключительно зависит только от самого СССР, то между коммунистическим СССР и

коммунистическим Китаем она зависит от Китая и в перспективе более чем вероятна. Но перспективный Китай — это грозный ракетно-ядерный Китай с его бездонным человеческим резервуаром. Другая проблема — неподатливый советский генералитет с доктриной «превосходство советских сил». СССР может выйти из этого заколдованного круга и начать действительные переговоры при двух условиях: при полном «разоружении» советских милитаристов и при привлечении Китая к переговорам о разоружении и ограничении вооружения. То и другое невозможно в нынешних условиях. Чтобы взять под контроль советских милитаристов, нужно сильное и амбициозное политическое руководство — его сейчас нет; чтобы привлечь Китай — предварительно нужно примирение между СССР и Китаем, что сейчас тоже исключено.

Есть еще одно препятствие к успешному завершению переговоров и по разоружению и по ограничению ракетно-ядерного оружия — это фактор времени. Эти переговоры должны продолжаться вообще до того времени, пока СССР не добьётся окончательного решения задачи «превосходства советских сил». В этом вопросе между партийным руководством и военным руководством, по всей видимости нет особых разногласий. Чем раньше Кремль решит эту задачу, тем больше шансов на заключение соглашения.

5

Существенных успехов добились пропагандисты советской идеологической экспансии, правда, не среди мирового пролетариата, а среди мировой буржуазии. Несмотря на периодически повторяющиеся доказательства агрессивности советского империализма вовне и все возрастающее свирепство тиранической системы внутри страны, западные либералы все еще питают иллюзию о «либерализации», «перерождении», «конвергенции» и «де-идеологизации» советского коммунизма, а левым либералам этот коммунизм нравится и в данном его виде, но жить они предпочитают в странах капитализма.

Антикоммунисты периода «холодной войны» (ее теперь Брежнев переименовал в «идеологическую войну» — смотри дальше) отрешиваются от своих прежних убеждений. Европейские супер-капиталисты со своими миллиардами и «know-

how» лезут наперебой в Кремль, чтобы помочь большевикам строить более эффективно их злополучный коммунизм (недаром Ленин говорил, что мы будем выезжать на глупостях, которые делает буржуазия). В университетах орудуют сотни новых прокоммунистических лжепророков всех модернизированных «измов» — от марксизма и ленинизма до маоизма и анархизма, а дезориентированная ими часть студенчества небезуспешно подрубает сук, на котором сидят и эти лжепророки и они сами.

Политические младенцы Запада за аттестатом зрелости для карьеры паломничают в Москву и приходят в неопишное умиление, побывав на задворках у Брежневых и Косыгиных. В довершение всего этого ООН торжественно отмечает столетие со дня рождения Ленина в специальной резолюции, в которой этот изобретатель беспримерного учреждения в истории инквизиции — Чека, духовный и физический учитель Сталина объявлен «великим гуманистом XX века» при отсутствии хоть бы одного голоса против этой резолюции.

Пока вся эта «советомания» происходит в сферах, в которых не решается судьба человечества, она носит лишь платонический характер. Но опасность станет реальной, если государственные деятели Запада сами окажутся в плену иллюзий, навеянных этой атмосферой. Опасность станет угрожающей, если они и всерьез подумают, что в Кремле сидят лишь ученики «великого гуманиста». Опасность станет катастрофической, если они, подписав серию бумаг с Кремлем, решат, что они отныне оградили свободный мир от коммунизма.

Конечно, термоядерной войне другой альтернативы нет, кроме сосуществования. Поэтому нужны международные соглашения, способствующие поддержанию мира. Но весь вопрос в том, каковы неписанные концепции у сторон, подписывающих такие соглашения. Мы только знаем концепцию большевиков: «договор есть средство собирания сил» (Ленин, т. XXII, стр. 334).

Когда мы говорим о тактике и стратегии советской политики экспансии и об одном из инструментов ее осуществления — о советской дипломатии, мы не должны упускать из виду *своеобразие* советского отношения к международному праву, к международным договорам, *своеобразие* советского метода интерпретации прав и обязательств, вытекающих из

заключенных договоров. Из практики советской дипломатии известно, что большевики не очень мелочны, когда интерпретируют свои права, не очень щедры, когда нужно выполнять обязательства, не очень щепетильны, когда нарушают или порывают ставшие невыгодными им договоры. Когда сотрудники западногерманского журнала «Шпигель» спросили одного из лидеров христианско-демократической партии д-ра Альфреда Дреггера, разве это полезно нашей политике исходить из «фикции», что большевики безусловно хотели бы добраться до Рейна, то д-р Дреггер в полном согласии и с идеологией большевизма и с историческими фактами ответил: «Это не фикция, наоборот, это притязания социализма на весь мир. Я констатирую, что СССР порывал до сих пор все договоры ненападения и дружбы, кроме одного договора, заключенного между Сталиным и Гитлером. Его порвал Гитлер» («Шпигель», 8. 1971, стр. 41).

По своему политико-интеллектуальному уровню нынешнее советское руководство не стоит выше западного. Однако, у него есть, по сравнению с западным руководством, три преимущества, которые делают его исключительно опасным и высоко мобильным: 1) советское руководство постоянно; 2) советское руководство никому неподотчётно, 3) советское руководство абсолютно свободно от каких-либо норм морального кодекса. Два первых положения не требуют комментариев, их преимущества совершенно очевидны. Остановимся на последнем положении. Руководящие принципы советской моральной философии в политике изложены в работе Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920). Л. Брежнев назвал эту работу Ленина «подлинной энциклопедией стратегии и тактики и *поныне*» (Правда, 22. 4. 1970). Поэтому рассмотрим, что предписывает эта «энциклопедия» и примыкающие к ней ленинские труды советским лидерам и дипломатам в их международной политике.

Принципы этой ленинской стратегии и тактики многочисленны и разнообразны. Я ограничусь указанием на ведущие принципы:

1) советская политическая стратегия основана на свободе от моральных обязательств (Ленин: «Всякую нравственность, взятую из внеклассового понятия, мы отрицаем», т. 31, стр. 266, 4-ое изд.);

2) советская политическая тактика основана не только на макиавеллиевском рецепте, что цель оправдывает средства, но и на ленинском предписании: для достижения цели можно пользоваться всеми видами нелегальных приемов вплоть до лжи и обмана (Ленин: «Надо уметь пойти на все и всякие жертвы, даже — в случае необходимости — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытия правды», т. XXV, стр. 119, 3-е изд.);

3) советская политическая стратегия основана на неизменности целей, на изменчивости тактики, допускающей лавирования и зигзаги в генеральной линии (Ленин: «Надо соединять строжайшую преданность идеям коммунизма с умением пойти на все необходимые практические компромиссы, лавирования, соглашательства, зигзаги, отступления», т. XXV, стр. 231, 3-е изд.);

4) советская политика есть не столько «искусство возможного», сколько «искусство должного», а для этого надо владеть искусством приспособления к условиям внешней обстановки даже ценою самоунижения (Ленин: «Если ты не сумеешь приспособиться, не расположен идти ползком на брюхе, в грязи, тогда ты не революционер, а болтун», т. XXIII, стр. 324, 3-е изд.);

5) советская дипломатия основана на использовании противоречий во вражеском лагере, на натравливании одних держав на других (Ленин: «Мы будем пропагандировать коммунизм внутри этих стран. Это правильно, но это не все. Практическая задача коммунистической политики есть задача использования этой вражды, стравливая их друг с другом», т. XXV, стр. 502, 3-е изд.);

6) советская политическая стратегия основана на умении резко менять формы и методы борьбы, на умении действовать сапой, если сорвалось прямое наступление (Ленин: «Не удалась лобовая атака, перейдем в обход, будем действовать осадой и сапой», т. XXXIII, стр. 47, 4-ое изд.);

7) советская политическая стратегия основана на умении развязать войну между двумя своими главными врагами, являющимися в то же самое время врагами между собою (например, сейчас — США и Китай) (Ленин: «В настоящее время мы находимся между двумя врагами (речь шла тогда, в 1920 г.,

о Японии и США — А. А.). Если их обоих нельзя победить, надо уметь поставить свои силы так, чтобы они передрались между собою», (т. XXV, стр. 500, 3-е изд.);

8) международный договор не фетиш, а легальное средство к достижению нелегальных коммунистических целей, поэтому его обязательства — относительны, но его права — абсолютны. Но договор, исчерпавший свои выгоды для коммунизма, подлежит систематическому нарушению или аннулированию даже с объявлением войны. Чтобы в этом никто на Западе не сомневался, ЦК КПСС переиздал в 1970 г. кодификацию действующих законов КПСС, «КПСС в резолюциях», где имеется следующее постановление VII съезда партии: «Съезд особо подчеркивает, что Центральному Комитету дается полномочие во всякий момент разорвать все мирные договоры с империалистскими и буржуазными государствами, а равно объявлять им войну» (КПСС в резолюциях, ч. 1, стр. 27, 1970, Москва).

Таков «моральный кодекс» советских политических стратегов.

В связи с празднованием столетия со дня провозглашения Парижской коммуны коммунистическое руководство Китая опубликовало большую критическую статью, посвященную не так Коммуне, как Кремлю. Китайские идеологи обвиняют лидеров СССР в измене коммунизму, в продолжении ревизионистского курса XX съезда.

Если коммунизм понимать так, как его практиковал Сталин, то это обвинение бездоказательно. Что же касается «ревизионизма» XX съезда, то мы видели, что новое руководство Кремля пересмотрело его, вернувшись к ортодоксальному ленинизму-сталинизму по всем вопросам стратегии и тактики. Если бы в основе разногласий между Москвой и Пекином лежала лишь одна коммунистическая идеология, то теперь у них не было бы никаких оснований спорить (только по мелкому вопросу простого переименования «диктатуры пролетариата» в «общенародное государство» Кремль еще держится терминологии XXII съезда, это как раз единственный пункт, по которому критика Пекина фактически обоснована).

В пекинском анализе политики Кремля есть и аргументы, правда, сформулированные не совсем академическим языком, но которым нельзя отказать в логичности и обоснованности. Центральный орган КПК пишет: «Советские ревизионистские

ренегаты превратили Советский Союз в рай для кучки бюрократически-монополистических капиталистов нового типа, в тюрьму для миллионов трудящихся... Безразличные к жизни или смерти советских людей, Брежнев и его банда вовсю раздувают *милитаризм* и гонку вооружения, расходуя все больше рублей для производства все большего и большего количества самолетов, пушек, военных судов, управляемых ракет и атомного оружия. Средствами этого чудовищного аппарата насилия эти новые цари угнетают широкие массы внутри страны, поддерживают свое колониальное господство за границей, пытаются установить свой контроль над другими странами» (Peking Review, Nr. 12, March 19, 1971, p. 10-11).

В таких случаях говорят: рыбак рыбака видит издалека. Можно не сомневаться, что пекинские коммунистические лидеры лучше кого бы то ни было знают природу, средства, намерения политики глобальной экспансии московских коммунистических лидеров, знают хотя бы потому, что эта политика была когда-то совместно разработана Москвой и Пекином.

Советский коммунизм находится в наступлении во всех сферах и на всех участках мировой арены. На XXIV съезде Л. Брежнев охарактеризовал это наступление как «неутихающую идеологическую войну» («Правда», 31. 3. 1971, стр. 9). С особым удовлетворением советские лидеры зафиксировали на XXIV съезде свои успехи в этой «идеологической войне» на трех участках: в Европе с заключением советско-германского и польско-германского договоров не только полностью восторжествовала советская политика безусловного признания продиктованных СССР послевоенных европейских границ, в том числе и увековечение политики двух Германий, но и создано некое психологическое предместное укрепление, с которого начнется новое наступление, во-первых, по вытеснению Америки из Европы, во-вторых, по идеологическому минированию самой Европы; — в странах «третьего мира» СССР в тесном сотрудничестве с националистическими и «социалистическими» партиями успешно ослабляет позиции Запада столь же успешно подготавливает почву для победы коммунизма (Брежнев: «Сегодня в Азии и Африке уже немало стран, взявших курс на строительство в перспективе социалистического общества» («Правда», 31. 3. 1971, стр. 3); — в мировом коммунистическом движении Москва окончательно решила вопрос о геге-

монии в свою пользу против Пекина. Н. Подгорный, открывая XXIV съезд, сказал об этих успехах, что они «значительны и внушительны».

Внешней иллюстрацией успехов Кремля на международной арене явилось и рекордное число присутствовавших на XXIV съезде делегаций коммунистических, «национально-демократических» и левых социалистических партий — всего от 102 партий из 91 страны. Л. Брежнев назвал эти партии воплощением «великого союза трех основных революционных сил современности», добавив: *«Полное торжество дела социализма во всем мире неизбежно. И за это торжество мы будем бороться, не жалея сил (Бурные, продолжительные аплодисменты)»* («Правда», 31. 3. 1971, стр. 1, 2, 3).

Однако какая всё-таки странная логика у большевиков: торжественно заявив, что Кремль не пожалеет никаких сил для торжества социализма (коммунизма) во всем мире, Брежнев тут же пожаловался на «империалистов», которые, видите ли, «пытаются воскресить миф о «советской угрозе»... (там же, стр. 4).

Открытую идеологическую, материальную и организационную поддержку антизападных войн и коммунистических революций в чужих странах Кремль считает таким своим бесспорным легитимным правом, что людей, которые оспаривают это право, он иначе не называет, как лакеями империализма и поджигателями «холодной войны».

Единственное сенсационное заявление, которое Л. Брежнев сделал на XXIV съезде, касается причины идеологических раздоров между Пекином и Москвой. Но тут, как выражаются немцы, Брежнев «из нужды сделал добродетель». Брежнев заявил: «Китайские руководители от нас требовали отказа от линии XX съезда» («Правда», 31. 3. 1971, стр. 2). В таком требовании Пекина сомневаться, конечно, не приходится, но также нет никакого сомнения и в том, что Кремль это требование, как мы показали выше, выполнил *на деле, фактически*. Однако Пекин требовал документальной капитуляции Кремля, восстанавливающей Сталина новым официальным решением партии во всех правах классика марксизма рядом с Марксом, Энгельсом, Лениным. Сами члены нынешнего Политбюро на XXII съезде по всем пунктам и с новыми архивными документами повторили против Сталина все обвинения Хрущева на

XX съезде. Это зафиксировано в изданных протоколах XXII съезда. К тому же эти члены Политбюро, а не Хрущев, предложили выбросить труп Сталина из Мавзолея Ленина, как «преступника» (Н. Подгорный). Поэтому новое решение ЦК или съезда КПСС об официальной ревизии решений XX и XXII съездов как о «новшествах» в ленинизме, так и о преступлениях Сталина означало бы для Политбюро публично совершить политическое харакири над собою. Члены Политбюро способны на все, но только не на самоубийство.

А. Авторханов

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВИЗИТУ В КНР ПРЕЗИДЕНТА США

Быстрая «оттепель» в отношениях между США и КНР, несомненно, одно из важнейших событий 70-х годов. Только в апреле нынешнего года премьер КНР Чжоу Энь-лай характеризовал первый визит в континентальный Китай американских спортсменов и журналистов (после более чем двадцатилетнего перерыва) как «новую страницу» в истории китайско-американских отношений. Этот визит, положивший начало «пинпонговой дипломатии», показал президенту Никсону и американскому правительству, что сигналы, которые они на протяжении последних лет посылали Пекину и которые говорили о желании США нормализовать отношения с континентальным Китаем, в Пекине, наконец, приняты доброжелательно. «Мы... сломали лед. Теперь мы должны попробовать воду, посмотреть, насколько она глубока», — так президент США суммировал на пресс-конференции 29 апреля с. г. результаты его усилий к сближению с КНР. Поездку Генри Киссинджера в Пекин, где он вел с 9 по 11 июля переговоры с Чжоу Энь-лаем, и надо рассматривать, прежде всего, как начало «пробы воды». Настоящее же испытание «глубины воды» выпадет на долю президента США, когда он приедет в Пекин в конце этого или в первой половине будущего года.

Сегодня, конечно, было бы рано гадать о результатах, к которым может привести встреча президента Никсона с пекинскими руководителями, и о последствиях ее для взаимоотношений США и КНР с другой тихоокеанской державой — СССР. Беспредметно также спорить о том, кто первый выразил желание встретиться — Мао Цзэ-дун или Никсон. Можно безошибочно утверждать, что это желание было обоюдным, иначе ни о каком визите президента США в Пекин не могло бы быть речи. Гораздо важнее установить причины, которые способствовали отказу коммунистического Китая от долголетней антиамериканской политики и дали толчок к из-

вестному сближению между этими странами. Мы попытаемся также определить какую реакцию может встретить изменение политического курса пекинского правительства в других странах и в первую очередь в СССР.

Наш анализ лучше всего начать с коммунистического Китая, так как Пекин, безусловно, исполняет главную роль в развертывающихся перед нами первых актах сложной политической и дипломатической игры. От того, какие цели преследует Пекин в своей игре, насколько далеко он может пойти по пути сближения с США, во многом будет зависеть и положение в Азии и во всем мире в ближайшие годы.

Многие обозреватели полагают, что главная причина, почему континентальный Китай сделал крутой и быстрый поворот в своей американской политике — это страх перед военной мощью СССР, страх перед внезапной атакой советских вооруженных сил. Пекинские руководители не скрывают слабости и отсталости континентального Китая по сравнению с СССР. Элемент военной опасности во внешнеполитических расчетах Пекина был всегда. И было бы неправильным начисто отрицать этот страх перед военным нападением Советского Союза, как фактор в нынешних внешне-политических зигзагах пекинского правительства. Ведь несколько десятков советских дивизий попрежнему стоят вдоль советско-китайской и китайско-монгольской границ, представляя собой достаточно веский аргумент в споре между СССР и КНР. И тем не менее, нам кажется, что мотивировать нынешние изменения в американской политике Пекина преимущественно страхом перед военной мощью СССР было бы чересчур односторонне. Ведь сегодня возможность военного столкновения между СССР и коммунистическим Китаем кажется более отдаленной, чем, скажем, в 1969 году, когда на советско-китайской границе происходили уже крупные столкновения. С тех пор обе страны, очевидно, пришли к молчаливому соглашению, что война была бы не в интересах ни одной из них. Итогом стала нормализация дипломатических отношений, возобновление торговых контактов. В Пекине продолжают переговоры по наиболее взрывчатому и опасному вопросу советско-китайских отношений — о пограничной проблеме.

Хотя эти переговоры, по всей видимости, больших положительных результатов не дали, но одно уже продолжение их

само по себе ведет к разрядке напряженности в отношениях между Москвой и Пекином. XXIV съезд КПСС, в апреле нынешнего года, принял, по существу, умеренную линию политики по отношению к континентальному Китаю. Советское руководство все еще не исключает возможности восстановления прежних дружественных отношений между обеими странами. Н. Чаушеску, глава румынских коммунистов, нейтральная позиция которого в споре между КПСС и КПК позволила ему установить близкие отношения с пекинскими руководителями, явно действовал не по своему только почину, когда во время визита в Пекин в июне нынешнего года настойчиво выдвигал идею восстановления единства социалистических стран и мирового коммунистического движения. Предложение Чаушеску, — вернее предложение КПСС, направленное через генерального секретаря Румынской компартии, — давало китайским коммунистам, если в их внешней политике действительно был страх перед военным нападением со стороны СССР, еще одну возможность отвести от себя эту угрозу. Даже какое-то компромиссное решение по этому вопросу, несомненно, способствовало бы далеко идущим сдвигам в советско-китайских отношениях. Между тем, Пекин еще раз категорически отказался от всяких единых действий с КПСС. Больше того, через месяц после визита в Пекин Чаушеску туда приехал для переговоров с Чжоу Энь-лаем советник президента США Генри Киссинджер: Пекин явно направлял свою политику по руслу сближения с США. А такое сближение не только не снимает возможности военного столкновения с СССР, но потенциально сулит континентальному Китаю еще большее обострение отношений с Москвой. В чем же тогда дело?

Нам кажется, что в основе внешней политики КНР в настоящее время лежат более сложные мотивы, чем одна только опасность войны с Советским Союзом. Мао Цзэ-дун и его единомышленники уже несколько лет как пришли к убеждению, что идеологическая борьба КПК с КПСС будет продолжаться долгое время — «десять тысяч лет», по образному выражению Мао Цзэ-дуна. Советские руководители в этом отношении как будто более оптимистичны: они видят перспективы окончания советско-китайской распри со сменой руководства КПК, то-есть с уходом с политической сцены Мао Цзэ-дуна и его ближайших соратников. Однако и советские

руководители понимают, что путь к примирению с КПК сегодня для них закрыт. Отсюда молчаливое согласие Пекина и Москвы «оставаться в перманентной ссоре», которое, как это ни парадоксально, способствовало даже некоторому улучшению государственных отношений между СССР и КНР.

Затяжной характер советско-китайского конфликта заставляет Пекин постоянно менять формы борьбы с руководством КПСС. На первых этапах разногласий как КПК, так и КПСС делали ставку на подрыв друг друга изнутри, на поиски возможных союзников в лагере противника. Это была стадия глухой и молчаливой закулисной борьбы. Затем разногласия вылились в ожесточенную борьбу в масштабах мирового коммунистического движения, полемика приняла открытую и резкую форму. В этой борьбе Пекин достиг немногого: твердо на его стороне оставалась только Албания да группы «истинных марксистов-ленинцев» в ряде стран — малочисленные и политически маловлиятельные, но зато довольно шумливые. На пленуме ЦК КПК в августе 1966 г., разработавшем программу «культурной революции», была принята новая внешнеполитическая формула: «Чтобы покончить с американским империализмом, надо сначала покончить с советским ревизионизмом».

Тем самым Пекин ясно указывал, что силы континентального Китая в первую очередь должны быть направлены на борьбу с КПСС и СССР. «Хунвэйбиновская дипломатия» времен «культурной революции» ставила целью распространение этой «культурной революции» на весь мир. Три года «культурной революции», однако, не помогли Пекину уничтожить советский ревизионизм и американский империализм ни идеологически, ни физически. Наоборот, «культурная революция» привела континентальный Китай почти к полной политической изоляции в мире, к утрате старых контактов и связей. Отношения же Пекина с Москвой оказались в 1969 г. на грани войны. Надо было спешно отступить и снова менять тактику и формы борьбы. Так родилась «дипломатия улыбок».

Но «дипломатия улыбок» вовсе не означала отказа Пекина от прежнего курса. Формула: «Чтобы покончить с американским империализмом, надо сначала покончить с советским ревизионизмом», продолжает действовать. Но приемы борьбы, применяемые теперь пекинским руководством, стали более

эластичны и скрыты. КПК вынеся теперь идейно-политическую борьбу за пределы коммунистического движения на широкую международную арену, пытается найти новых сторонников и союзников не только среди коммунистических стран и партий, но и среди всех государств мира. Пекин сегодня провозгласил себя «чемпионом» малых и средних стран вне зависимости от их социально-политической структуры и пытается сплотить их на борьбу с «мировым господством двух сверхдержав» — СССР и США.

Изменение форм внешнеполитической борьбы КПК, требующее всемерного усиления международного авторитета и престижа КНР, неизбежно должно было поставить перед пекинскими руководителями вопрос и о пересмотре их политики по отношению к США. В Пекине не могли не понимать, что путь к решению ряда проблем, важных для внешнеполитических целей пекинского правительства, лежит через взаимопонимание и даже сотрудничество с США. КНР в настоящее время откровенно стремится играть самостоятельную политическую роль в мире. Для этого ей необходимо войти в международное сообщество стран, в Объединенные Нации. Пекин не скрывает своего желания занять место в ООН. Та или иная позиция США может оказать существенное влияние на реализацию этого желания. Без взаимопонимания с США континентальный Китай не может решить также проблему Тайваня. Не лишне напомнить, что пекинские руководители в прошлом не раз выражали желание установить дипломатические отношения с США на определенных условиях, в числе которых неизменно фигурировал вопрос о Тайване. С таким предложением выступал, например, тот же Чжоу Энь-лай в 1955 г., в период Бандунгской конференции. Взаимопонимание с США служило бы Пекину и определенным противовесом давлению на него военно-политической и экономической мощи Советского Союза.

Континентальный Китай приступил в этом году к выполнению своей четвертой индустриальной пятилетки. Экономические проблемы занимают все более доминирующее место во внутренней политике пекинского правительства. Советская печать совершенно правильно отмечает, что пекинский режим наибольших успехов в развитии народного хозяйства КНР достиг за первые две его индустриальных пятилетки, когда

промышленному строительству страны усиленно помогал Советский Союз. За последние годы темпы развития экономики КНР значительно спали. А между тем, внешнеполитический курс пекинского правительства требует ускоренных темпов развития народного хозяйства, особенно тяжелой промышленности. Иначе претензии Пекина на ведущую роль в Азии и на мировую роль будут строиться на зыбкой почве. При существующих отношениях с СССР пекинские руководители не могут да и не хотят снова рассчитывать на советскую помощь. К тому же опыт научил их по мере возможности избегать экономической и технической зависимости от одной страны, если такая зависимость влечет за собой и политический контроль. Вот почему сегодня КНР старается торговать с разными странами, торговать на основе бартерской системы: ограниченные ресурсы страны не позволяют ей развернуть внешнюю торговлю в масштабах, требующих широкого индустриального строительства.

Чжоу Энь-лай совсем недавно объяснял иностранным гостям, что ликвидация отсталости континентального Китая в области экономики потребует от 20 до 30 лет, то-есть 4-6 пятилеток. Для реализации этих пятилетних планов у Китая нет собственных средств. Между тем, Мао Цзэ-дун, как недавно сообщил Аллен Уайтинг, бывший руководящий работник Государственного департамента США, еще в марте 1945 г. выделил США как единственную страну, которая могла бы оказать финансовую и техническую помощь экономическому строительству континентального Китая без ущерба для его политической самостоятельности. Немало признаков (хотя бы содержание беседы Мао Цзэ-дуна с Эдгаром Сноу), указывают, что пекинское руководство попрежнему серьезно рассматривает американскую технику и американские инвестиции как фактор, могущий неизмеримо ускорить индустриализацию Китая. Надо признать, что в своих расчетах на американскую помощь Мао Цзэ-дун только следует советскому примеру. Американская техника, американские инженеры и американские капиталы сыграли большую роль в начальный период индустриализации СССР, особенно в первую пятилетку. В помощи американских капиталистов Сталин увидел достаточно мощный стимул, чтобы дать начальный разбег промышленному строительству СССР. Но Сталин не был оригинален в этом

обращении к капиталистам за помощью. До него еще Ленин старался предоставить иностранцам концессии и другие экономические выгоды за участие их капитала в экономическом развитии СССР.

Я не ставил себе задачей перечислять все причины, которые могут толкать Пекин на путь сближения с Вашингтоном. Тем не менее, еще на один мотив, который может скрываться за нынешним поворотом политики КПК в сторону взаимопонимания с США, указать необходимо. Этот мотив — давнишняя и традиционная дружба между американским и китайским народами. Действительно, на протяжении почти двухсотлетней истории китайско-американских отношений в них неизменно господствовали доброжелательство и взаимное доверие. Политика «открытых дверей», которую провозгласили и которую настойчиво проводили в Китае США, имела целью защитить эту страну поскольку возможно от посягновений со стороны других государств. Да и современная тайваньская проблема возникла потому, что США считали своим долгом выполнить обязательства, взятые ими по отношению к китайскому народу договорами с правительством Китайской Республики. Корни прежней дружбы, по всей очевидности, продолжают быть крепки в толщах китайского народа. Иначе Мао Цзэ-дун не говорил бы в прошлом году с таким уважением об американском народе в беседе со Сноу.

Как бы, однако, ни мотивировать нынешний поворот в американской политике Пекина, необходимо помнить одно: пекинские руководители были и остаются коммунистами, они не отказываются от своих целей, и своего мировоззрения. А это требует тщательной оценки и осторожного подхода ко всем контактам с пекинским режимом. Ведь было бы страшной катастрофой для всего мира, если бы американская помощь континентальному Китаю, экономическая и техническая, создала бы в конечном счете, Китай, вооруженный до зубов и готовый к осуществлению ленинской мировой революции.

Уже первые отклики на сообщение о поездке в Пекин доктора Киссинджера и о предстоящем визите в КНР президента США свидетельствовали, что реакция на эти события оказалась самая смешанная. Некоторые из друзей США не скрывают, что они скорее за то, чтобы поездка президента не состоялась, так как, по их мнению, положительных результатов

она не даст. Однако в целом мировое общественное мнение одобрило смелый шаг Никсона, как вклад в дело мира. Принимая меры к установлению взаимопонимания с континентальным Китаем, правительство США особенно настойчиво разъясняло и продолжает разъяснять, что сближение между Вашингтоном и Пекином ни в коем случае не будет направлено против СССР и его интересов. В послании президента Конгрессу США в феврале с.г. Никсон заявил: «Столкновение между этими двумя великими державами несовместимо с тем устойчивым положением в Азии, которого мы добиваемся. Мы, поэтому, не видим преимущества для себя во враждебности между Советским Союзом и коммунистическим Китаем. Мы и не ищем никаких преимуществ. Мы не сделаем ничего такого, что могло бы обострить или поощрить этот конфликт. Нелепо верить, что мы могли бы тайно сговориться с одной из сторон против другой. И мы прилагаем огромные усилия, чтобы ясно показать, что мы и не пытаемся делать это». И в заявлении от 15 июля о своем предстоящем визите в КНР президент счел необходимым снова подчеркнуть, что поиски США новых отношений с КНР «не направлены против какой-либо другой нации».

Такие разъяснения не случайны. Уже на первых этапах «диалога» между Пекином и Вашингтоном советская печать дала ясно понять, что в принципе Советский Союз не против нормализации отношений между США и КНР, если таковая не будет направлена против Москвы. Но в СССР, видимо, утвердилось подозрение, что, по крайней мере, Пекин целит в Советский Союз, когда добивается взаимопонимания с США. Вот типичное высказывание советской точки зрения неким Л. Кириченко в журнале «Новое время», № 17 за нынешний год: «Западные обозреватели считают, что Пекин начал сложную дипломатическую игру. Однако сложного в этой игре ничего нет. Как гласит вьетнамская поговорка, нельзя накрыть корзинкой слона. Политическая практика маоистов показывает, что они легко предают друзей, быстро сходятся с теми, кого только что называли врагами, отказываются от декларированных ими же принципов, если считают, что этого требуют великодержавные националистические интересы Пекина. Что же касается империалистических государств, то они в свою очередь хотели бы спровоцировать осложнение советско-ки-

тайских отношений, использовать Пекин для подрыва социалистического содружества и национально-освободительного движения».

Ко времени, когда пишется эта статья, со дня опубликования сообщения о предстоящем визите президента США в КНР прошло две недели. Но до сих пор со стороны советского правительства не последовало никаких официальных комментариев по поводу предстоящего визита американского президента в Пекин, если не считать статьи в газете «Правда» от 25 июля. Статья в «Правде» в целом повторяет прежние позиции советского правительства по вопросу об американско-китайском сближении. Она не порицает такое сближение, но предупреждает против союза КНР и США, направленного против Советского Союза. Очевидно, советские правительственные круги предпочитают выжидать, чем кончится поездка Никсона в Пекин, и в соответствии с этим определять свою политическую линию.

Теоретически советское руководство может избрать один из следующих трех курсов политики по отношению к КНР. Во-первых, советское правительство может продолжать нынешнюю умеренную линию. Используя контакты между Пекином и Вашингтоном в пропагандистских целях и время от времени нападая на пекинское руководство, СССР, в то же время, может воздерживаться от дальнейшего обострения отношений с КНР. Во-вторых, не исключена возможность, что пекинское правительство, чтобы рассеять подозрения СССР, сделает со своей стороны какие-нибудь примирительные жесты, например — пойдет на уступки в пограничном вопросе. Такие уступки могут повести к некоторому улучшению нынешних отношений между Москвой и Пекином. И в-третьих, СССР, если он найдет, что сближение между КНР и США серьезно угрожает его интересам, может, как крайнее средство, пойти на новое нагнетение напряженности в отношениях с КНР вплоть до превентивных военных действий, ограниченных или тотальных, смотря по обстоятельствам.

Бывший государственный секретарь США Дин Ачесон в своей статье в «Нью Йорк Таймс» от 22 июля с.г. заметил по поводу предстоящей поездки президента Никсона в Пекин: «Дух Джона Фостера Даллеса стоит на его пути, размахивая договором с Чан Кай-ши». Этими словами Дин Ачесон хотел

подчеркнуть, что прошлая политика США не может быть перечеркнута одним росчерком пера. Такой же «дух прошлого» будет стоять и за спиной Чжоу Энь-лая и Мао Цзэ-дуна, когда они будут вести переговоры с президентом США. В 1969-70 г.г. Пекину удалось сколотить в Азии некое подобие «китайского блока» стран, так называемый, «единый фронт» КНР, Северной Кореи, Северного Вьетнама, Патет Лао, НФОЮВ и прокоммунистических сил Камбоджи. Этот «единый фронт» был образован на платформе совместной борьбы против США. Но Пекин вполне резонно мог рассматривать его, и как победу над Советским Союзом за влияние на коммунистические страны Азии и как залог будущего господства КНР на континенте Азии.

Пекинские руководители все это время тщательно оберегали достигнутое ими единство с азиатскими коммунистами, особенно с северовьетнамцами и северокорейцами. Премьер Чжоу Энь-лай, когда он в марте с. г. выступал в Ханое как глава партийно-правительственной делегации КНР, счел необходимым привести следующие слова Мао Цзэ-дуна в доказательство решимости Пекина до конца поддерживать Северный Вьетнам: «Если кто-либо среди нас скажет, что не надо помогать борьбе вьетнамского народа против Америки за спасение своей родины, то это будет изменой, будет предательством революции». Понятно, как должны чувствовать себя северовьетнамские руководители, когда теперь, ровно через четыре месяца после заявления Чжоу Энь-лая, он сам вел в Пекине секретные переговоры с президентским советником Киссинджером, судя по всему, не поставив предварительно в известность об этом ни Ханой, ни Пхеньян. Коммунисты умеют хранить свои внутренние тайны и сдерживать страсти. И мы не знаем, как объяснили пекинские руководители Ханую и Пхеньяну свой поворот в американской политике. Но Ханой уже высказал косвенно свое неодобрение Пекину, когда ханойская газета «Нан Дан», не называя КНР, обрисовала контакты Пекина с Вашингтоном как намерение пожертвовать интересами малых стран ради выгоды «великих держав», то-есть обвинила китайских руководителей как раз в том, в чем они постоянно обвиняют «сверхдержавы» — СССР и США. Пхеньян официально тоже не высказался по поводу будущего визита президента Никсона и по вопросу о сближении между КНР

и США. Но Ким Ир Сену вряд ли придется по душе тот факт, что в дни, когда в Пекине и в Пхеньяне пышно праздновали десятилетие корейско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, когда в китайской столице — зять Мао Цзэ-дуна, член Политбюро ЦК КПК Яо Вэнь-юань, а в корейской столице — заместитель премьера КНР, член Политбюро ЦК КПК Ли Сянь-нянь, громили «американский империализм», — Чжоу Энь-лай и Киссинджер в это время завершали их трехдневную встречу. Все это говорит о том, что пекинские руководители будут теперь тщательно соразмерять свои слова и шаги в связи с предстоящими переговорами с президентом Никсоном, чтобы не повредить «китайскому блоку» в Азии и не отбросить снова Ханой и Пхеньян полностью на сторону Советского Союза.

Конечно, мы не можем знать, каковы будут результаты визита Никсона в Пекин. Но мы знаем, что отношения между США и КНР уже никогда не будут такими, какими были еще полгода тому назад. Даже если визит президента не приведет к полной нормализации отношений между КНР и США и к установлению дипломатических отношений, то начавшиеся контакты, вероятно, не прекратятся. Политика «отношений между народами», о которой говорил недавно премьер Чжоу Энь-лай, по его же заверению будет проводиться Пекином и дальше, независимо от результатов визита американского президента. Это решение продолжать контакты между народами, если Пекин его не изменит, вселяет надежду, что процесс сближения между США и Китаем, не взирая на все препятствия, будет продолжаться. Важно, чтобы американская общественность и американское правительство нашли средства к тому, чтобы выбить из сознания китайского народа все искаженные представления об «американском империализме», «американских капиталистах-акулах» и пр., вбитые в головы многолетней коммунистической пропагандой. Я приведу здесь, может быть не совсем уместно, перефразированные слова Сталина: «Мао Цзэ-дуны приходят и уходят, а китайский народ остается». США одержат большую победу, если сквозь всю ложь компропаганды сумеют воскресить в китайском народе образ справедливой, доброй и быстрой на помощь Америки, какой знали ее многие китайцы до 1949 года.

К. Павлов

ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ В БОРЬБЕ ЗА ЛЕНИНСКУЮ ВЛАСТЬ В 1917 — 1918 гг.

В 1967 г. в Риге была издана весьма интересная книга: А. И. Спреслис: «Латышские стрелки на страже завоеваний Октября, 1917-1918 гг.» (тираж 1500 экз.) На обороте заглавной страницы сообщается: «Печатается по решению Редакционно-издательского Совета Академии Наук Латвийской ССР.»

Книга составлена главным образом на основании документов, хранящихся в «партархиве» ЦК Латвийской коммунистической партии, а также на основании дневников, записей и воспоминаний непосредственных участников описываемых событий.

Автор во введении жалуется, что в сочинениях советских историков гражданской войны (особенно в эпоху «культы личности») «вопреки фактам исторической действительности, латышские стрелки — эта славная ленинская гвардия — по существу были забыты» (стр. 13); их огромная (я не боюсь сказать: решающая. *С.П.*) роль в борьбе за сохранение ленинской власти в 1918 году (когда власть эта была весьма шаткой. *С.П.*) или затушевывалась или вовсе замалчивалась.

Основанная на обширном документальном материале книга Спреслиса дает подробное описание боевой и политической работы латышских стрелков в течение первого года ленинской революции. Конечно, все слышали о роли латышей в большевицкой революции, но едва ли кто из «широкой публики» представляет себе, как велика и многообразна была эта роль. В дальнейшем изложении я приведу существенное фактическое содержание книги Спреслиса в точных цитатах, с указанием страниц.

Национальные латышские стрелковые батальоны, развернутые скоро в полки, были сформированы царским правительством во время войны, в 1915 г. В составе многонациональной российской армии только латышские полки (и несколько конных полков на Кавказе) были организованы по национальному

принципу. Во время войны с немцами царское правительство, организуя латышские национальные полки, учитывало анти-немецкие настроения рабочего люда Латвии, порожденные господствующим положением немецких баронов в Прибалтике, а также близость Латвии к театру военных действий, создававшую угрозу ее оккупации немецкими войсками; и действительно, латышские полки на фронте стойко сражались с немцами.

Осенью 1916 года лат.*) полки были сведены в две особые бригады, в которые входило всего 8 полков, численностью 24378 стрелков и 507 офицеров; в латышском запасном полку числилось 11000 чел. (с. 6).

А. Спреслис подчеркивает «пролетарский классовый состав» латышских полков, — они рекрутировались, главным образом, из промышленных и сельско-хозяйственных рабочих Латвии.

Среди рабочего класса Латвии большим влиянием пользовалась ортодоксально-марксистская социал-демократическая партия. Вместе с грузинскими социал-демократами и еврейским «Бундом» латышские социал-демократы входили в «объединенную» РСДРП, но в то время как грузины и бундовцы в тактических спорах между большевиками и меньшевиками обычно примыкали к меньшевикам, латыши, в большинстве, были сторонниками ленинского большевизма.

После февральской революции в латышских полках, как и в других частях армии, образовались выборные органы солдатского самоуправления. Высшим представительным органом латышских войск стал «Исколатстрел», что значит «исполнительный комитет латышских стрелков». Состоявшийся в мае 1917 г. съезд представителей лат. стрелковых полков «принял ленинские решения по всем основным тактическим вопросам социалистической революции» (с. 8). «Значение этого события для судеб революции, — справедливо замечает Спреслис, — выходило далеко за рамки района XII армии (к которой принадлежали латышские полки) и Северного фронта. Именно так и расценивал переход 40 тысяч латышских стрелков на сторону большевиков В. И. Ленин. С этого момента социали-

*) Чтобы не утомлять внимание читателя бесконечным повторением слов «латышский» и «советский», я часто заменяю их короткими формами: «лат.» и «сов.».

стическая революция выдвигает латышских стрелков на передовые участки борьбы. Ленин целиком доверял этому вооруженному отряду пролетариата Латвии, известного своим интернационализмом и замечательными революционными качествами. Поэтому не случайно, что именно латышским стрелкам поручили охрану Смольного и Кремля, их неизменно направляли на те участки гражданской войны, где молодой Республике Советов было трудно, и они целиком оправдали высокое доверие» (с. 8).

28-го октября 1917 г. (т.е. через два дня после захвата власти большевиками в Петрограде) «Петроградский военно-революционный комитет по предложению В. И. Ленина признал необходимым вызвать в столицу части латышских стрелков для усиления революционного гарнизона» (с. 32). В момент октябрьского переворота лат. полки находились на (Северном) фронте. «Исколатстрел должен был сформировать из 250 человек сводную роту латышских стрелков для охраны Смольного, резиденции Советского правительства. Эту роту должны были составить наиболее преданные делу революции стрелки и офицеры» (с. 32).

Здесь для многих западных и некоторых русских эмигрантских «историософов» и социологов возникает трудный вопрос: если ленинская власть действительно была «народной», и большевизм был «принят русским народом», как созвучный свойствам и стремлениям пресловутой «русской души», то как же так случилось, что большевики не могли (или и не пытались) найти среди 100-тысячного петроградского гарнизона вполне надежную группу числом в 250 солдат для охраны ленинского «рабоче-крестьянского» правительства, а должны были обратиться к «Исколатстрел» с просьбой прислать роту латышей.

22 ноября в Петроград прибыл с фронта 6-й лат. стрелковый полк в составе 2500 стрелков и офицеров, а 26-го явилась желанная «сводная рота» и «поступила в распоряжение коменданта Смольного П. Д. Малькова» (с. 33).

«Ранее Смольный охраняли красногвардейцы, но им было трудно справиться со своей задачей из-за текучести состава, отсутствия военного опыта и дисциплины. Необходима была регулярная воинская часть, преданная революции, имеющая боевой опыт и знания кадровых военных. Среди войск петроградского гарнизона трудно было найти часть с преобладаю-

шим пролетарским составом. Большинство солдатской массы составляли крестьяне, не имевшие пролетарской и революционной закалки. Именно поэтому выбор Советского правительства пал на латышских стрелков» (с. 33, интересное признание коммунистического автора. С.П.).

«Смольненская» латышская рота, составившая «надежную охрану» ленинской резиденции, постоянно пополнялась из латышских полков; в дек. 1917 г. в роте было 350, а в февр. 1918 г. 509 стрелков; впоследствии (уже в Москве) этот отряд ленинских охранников превратился в 9-ый латышский полк.

«После октябрьского переворота, — пишет Спреслис, — на красную гвардию легла основная тяжесть подавления первых контрреволюционных мятежей. Однако численность красногвардейских формирований была недостаточной, они были разбросаны по всей стране, слабо вооружены и обучены. Добиться решающего успеха в борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией они не могли» (с. 31). Для достижения этого успеха им была необходима помощь латышских стрелковых полков (при фактическом «нейтралитете» русской солдатской массы).

Прибывший в ноябре 1917 г. в Петроград 6-ой Тукумский лат. полк «нес напряженную гарнизонную службу в столице. Он охранял Зимний, Аничков и Таврический дворцы, военные склады, центральную телефонную станцию и другие важные объекты» (с. 37).

Латышские стрелки, помимо несения караульной службы, «постоянно привлекались для выполнения различных боевых задач в борьбе с контрреволюционерами, саботажниками, мародерами и другими врагами советской власти» (с. 42).

Частные и «неорганизованные» грабежи, «процветавшие» зимой 1917-18 гг. в Петрограде, должны были, по планам ленинского правительства, смениться государственно-организованными грабежами широкого масштаба (под именем «национализаций» и «конфискаций»). В этих государственно-организованных грабежах отряды латышских стрелков принимали активное участие, действуя рука-об-руку с отрядами ленинских чекистов. Так латыши участвовали в закрытии «буржуазных» газет, которое, конечно, сопровождалось «конфискацией» типографского имущества. Далее, в декабре 1917 года они

помогали «национализации», т.е. захвату частных банков, директорá которых при этом были арестованы. «В операции по занятию частных банков столицы активно участвовали латышские стрелки, действовавшие с обычной решительностью и высоким сознанием своего революционного долга» (с. 44).

Служба латышских стрелков ленинскому правительству в эту зиму носила поистине универсальный характер. «Латышские стрелки участвовали в разоружении деморализованных солдат и матросов старой армии», которые массами разъезжались по домам, стараясь захватить с собой оружие; «Обуздать их было довольно трудно, так как они нередко прибегали к оружию» (с. 45). Кроме того, латыши должны были «обуздывать» в Петрограде «вооруженные отряды анархистов», среди которых было много матросов (с. 45).

Существенную услугу Ленину оказали лат. стрелки в его борьбе с Учредительным Собранием и его сторонниками. «В начале января 1918 года 6-й латышский полк принял непосредственное участие в разгоне Учредительного Собрания и (в) ликвидации попытки контрреволюционного мятежа в Петрограде» (с. 37).

5 января «большая толпа контрреволюционно настроенных демонстрантов с лозунгами «Вся власть Учредительному Собранию» пыталась приблизиться к Таврическому дворцу. На углу Кировной и Литейного проспекта она была остановлена и рассеяна стрелками пулеметной команды 6-го латышского полка» (с. 39).

В январе 1918 года, когда старая армия, как боеспособная сила, совершенно развалилась, ленинский «совнарком» издал декрет о создании Красной армии на добровольных началах. Если бы ленинское правительство действительно было рабоче-крестьянским, то можно было бы ожидать, что если не миллионы, то сотни тысяч «рабоче-крестьян» добровольно пойдут под знамена Красной армии, однако в действительности ничего подобного не случилось, и очень скоро «советское» правительство должно было перейти к организации новой армии на основе принудительного набора рекрутов.**)

**) В то время как русские «рабоче-крестьяне» не спешили добровольно вступать в ряды ленинской красной армии, армия эта получила значительное пополнение в лице многих тысяч иностранных «интернационалистов». Во время войны русская армия взяла в плен

Не так как русская народная масса отнеслись к делу защиты «социалистического отечества» (РСФСР) полки латышских стрелков; лишь незначительное количество «буржуазных» элементов «отсеялось» из них, огромное большинство решило добровольно продолжать свою службу ленинскому правительству. Во 2-м латышском полку при голосовании вопроса о присоединении к «рабоче-крестьянской» армии из 2600 стрелков только 12 голосовали против и 30 «воздержались» (с. 77).

Во время наступления немцев в феврале 1918 г., когда для лат. стрелков «возникла альтернатива — оставаться в Латвии или отступить вглубь Советской России, чтобы защищать завоевания Октября, латышские стрелки без колебания выбрали последнее. В хаосе развалившейся старой армии они сохранили свои воинские формирования и дисциплину» (с. 90).

«После заключения Брестского мира в различных районах Советской России находилось ок. 21.000 латышских стрелков» (с. 90). При формировании Красной армии «советское правительство сочло нужным сохранить латышские национальные воинские формирования и влить их в состав Красной Армии. Этим оно еще раз выразило им свое полное доверие» (с. 96).

В апреле 1918 г. лат. полки составили «латышскую советскую стрелковую дивизию», состоявшую из 3-х бригад, в каждой по три полка; начальником дивизии был назначен «товарищ И. И. Вацетис» (бывший полковник царской армии. С.П.). «К маю 1918 г. латышская стрелковая советская дивизия была наиболее боеспособным воинским соединением Красной Армии» (с. 100). Кроме 9-ти пехотных лат. полков были сформированы особые лат. кавалерийские и артиллерийские части, инженерный батальон и авиационная группа (с. 99).

Можно сказать, что латышский корпус был костяком и

свыше 2-х милл. чел. из состава австро-венгерской и германской армий. После октябрьской революции ленинское правительство развивало энергичную агитацию среди военно-пленных, призывая их вступить в ряды красной («социалистической») армии, и призывы эти имели значительный успех. По данным, приводимым в книге: John Bradley, *Allied Intervention in Russia, 1917-1920* (N.Y., 1968, p. 62.) число таких «интернационалистов» (из 12 разных наций) достигало 182.000 чел. Однако они, в отличие от латышей, не образовали крупных воинских соединений по национальному принципу, а были «распылены» малыми группами в массе красноармейских частей.

стержнем рождавшейся Красной армии. «В течение 1918 г. латышская дивизия пополнялась прежде всего латышскими фабрично-заводскими рабочими, которые еще в 1915 году были эвакуированы из Латвии в различные города России (свыше 100 тыс. человек). Это был надежный пролетарский резерв латышской стрелковой советской дивизии» (с. 100).

В феврале 1918 г., когда наступавшие германские войска взяли Псков и стали приближаться к Нарве, ленинское правительство решило «перенести свою резиденцию» или, говоря проще, бежать из Петрограда в Москву. В этом поспешном «переселении» ему, конечно, понадобилась помощь верных и преданных лат. стрелков. «Советское правительство и лично В. И. Ленин, как всегда, целиком полагались на латышских стрелков» (с. 88).

«Подготовка к переезду правительства проходила в большой тайне, что было совершенно необходимо, учитывая напряженную обстановку в городе. На латышских стрелков была возложена охрана правительственного поезда... 10 марта около 5 часов утра было выделено 100 стрелков с пулеметами под командованием Петериса, и они к 7-ми часам прибыли на Николаевский вокзал, где стоял подготовленный правительственный поезд»; днем на вокзал прибыли остальные стрелки латышского «Смольненского отряда» и вечером поезд «Совнаркома», под надежной охраной, вышел в Москву. «На одной из станций стрелки разоружили большой эшелон с анархистски настроенными матросами и солдатами, которые не хотели пропускать состав Совнаркома» (с. 89, интересный факт! если бы не латышские стрелки, то ленинское правительство могло бы оказаться под арестом).

«Вечером 11 марта правительственный поезд прибыл в Москву. Стрелки бывшей Смольненской роты направились в Кремль, где по личному распоряжению В. И. Ленина им теперь предстояло охранять Советское правительство» (с. 89).

В высшей степени интересна глава 2-я книги А. Спреслиса: «Участие латышских стрелков в подавлении контрреволюционных заговоров и мятежей» (стр. 91-156). Подробному описанию вооруженной борьбы лат. стрелков с «контрреволюцией», т.е. с восстаниями русского населения против коммунистической диктатуры, Спреслис предпосылает общие замечания, интересные в устах автора-коммуниста.

«Весной и летом 1918 г. особенно обострилась классовая борьба в деревне»; борьбу эту автор сначала определяет, согласно большевицкому трафарету, как «резкий раскол между беднотой и кулачеством», но затем продолжает: «Возникшие трудности вызвали колебания среди середняков, которые еще не верили в прочность молодой рабоче-крестьянской республики. Значительная часть середняков (так! *С.П.*), недовольных хлебной монополией, введенной советским правительством весной 1918 г., склонялась в сторону кулачества. В этих условиях зимой и летом по всей стране прокатилась волна кулацких и других контрреволюционных заговоров и мятежей. Это были уже не одиночные очаги контрреволюции а массовые выступления классового врага против рабоче-крестьянской власти» (с. 109). Значит, «массовые выступления» русских крестьян против «крестьянской» власти?

«Трудность борьбы на внутреннем фронте заключалась в том, что Советская страна весной и летом 1918 г. не располагала еще достаточными вооруженными силами». Лучшие части Красной армии находились в пограничных районах. «Внутри страны оставались немногочисленные и разбросанные по разным городам и губерниям вооруженные силы». И конечно, «в борьбе на внутреннем фронте Советское правительство широко использовало части и подразделения латышской стрелковой советской дивизии» (с. 109).

«Стрелкам 9-го латышского полка была поручена охрана резиденции Совета Народных Комиссаров в Кремле», где «между латышскими стрелками и Ильичем установился тесный контакт» (с. 110).

«В Москве гарнизонную службу несли стрелки 1, 2, 3 и 4-го латышских полков» (с. 112). Здесь в апреле 1918 г. отряды латышей и чекистов «ликвидировали 25 опорных пунктов анархистов» (с. 113).

«Начиная с весны 1918 г. латышские стрелки выполняли многочисленные задания Советского правительства по поддержанию революционного порядка и подавлению контрреволюционных мятежей во многих местах страны» (с. 117), в том числе в Нижнем Новгороде, Рыбинске, Саратове, Калуге.

Особенно серьезным в мае 1918 г. было восстание в Калуге. «14 мая 1918 г. начальник Латышской дивизии И. Вациетис на основании предписания Наркомвоена приказал 3-му

латышскому полку срочно направиться в Калугу для подавления вспыхнувшего там контрреволюционного мятежа... В деревнях, расположенных близ Калуги, контрреволюционные офицеры подняли кулацкие мятежи... По прибытии (латышского полка) было установлено, что в Калуге власть захватили белогвардейцы, которых поддерживает гарнизон» (с. 118). Латыши сначала разоружили «мятежный гарнизон», потом «захватили штаб мятежников». «Латышские стрелки в течение 5-6 дней наводили порядок в Калуге» (легко себе представить, как они «наводили порядок»...). «Были арестованы явные контрреволюционеры, проведены обыски в домах купцов и торговцев... Затем батальон 3-го латышского полка принял участие в подавлении кулацких мятежей в окрестных городах и селениях — Жиздре, Перемышле, Медыни и др. (с. 119-120).

«В мае-июне 1918 г. стрелкам 3-го латышского полка было поручено выполнить ответственное задание: перевезти золотой запас страны из Москвы в Казань» (с. 120).

«Активное участие в борьбе с контрреволюцией на внутреннем фронте принимали латышские советские полки, стоявшие в Бологом, Новгороде, Торошине, Великих Луках и Петрограде» (с. 120). В апреле стрелки 5-го полка подавили «кулацкий» мятеж в Демьянске, в мае — в Боровичах; в июне они подавили «белогвардейский» мятеж в Осташкове, Тверской губ.; «пришлось также выслать отряды для подавления кулацких выступлений в окрестных волостях» (с. 121). «Находившийся в Бологом 8-ой латышский полк участвовал в подавлении контрреволюционных выступлений в Новгороде, Кириллове и других местах» (с. 121).

Исключительно важную роль сыграли латышские стрелки в деле подавления левоэсэровского мятежа в Москве в июле 1918 г. «Левые эсэры представляли серьезную опасность для советской власти, так как опираясь на кулачество, имели значительное влияние и среди середняков. Кроме того, они занимали ряд ответственных постов во ВЦИК'е, в Советах, ВЧК, Красной армии, милиции» (с. 125).

4 июля в Москве открылся V Всероссийский съезд советов; на нем присутствовали 1164 делегата с решающим голосом, из них большевиков 773 и левых эсеров 353. После убийства эсэровским террористом германского посла гр. Мирбаха

(6-го июля) левые эсэры арестовали председателя ВЧК Дзержинского и председателя Моссовета Смидовича и начали военные действия против ленинского правительства. «Их основной вооруженной силой был отряд Попова, имевший ок. 1800 штыков, до 48 пулеметов, 6 орудий, 4 бронемашин и 80 кавалеристов. В военном отношении этот отряд представлял серьезную угрозу Советскому правительству, тем более, что мятеж начался внезапно и гарнизон столицы не был подготовлен к его подавлению» (с. 127-8). 6 июля восставшим удалось овладеть зданием ВЧК на Лубянке и занять центральную телефонную станцию и главный телеграф.

«Большинство частей московского гарнизона переживало стадию формирования. Основу их составляли призывники, преимущественно крестьяне окрестных губерний. Новые полки еще не были достаточно укреплены командирскими и политическими кадрами... В этих обстоятельствах московский гарнизон в целом еще не был подготовлен для борьбы с мятежниками. К началу мятежа среди частей московского гарнизона наиболее организованной, дисциплинированной и вполне надежной силой были латышские полки. Их можно было немедленно бросить на подавление мятежа» (с. 128-9).

Картина совершенно ясная: русские солдатские полки, набранные из крестьянской молодежи, не имели никакой охоты сражаться за ленинскую власть; московский гарнизон, в массе своей, в июльские дни 1918 г. соблюдал такой же нейтралитет, как петроградский гарнизон в дни октябрьской революции; и если бы в Москве не случился Вацетис с 4-мя полками латышей, то лево-эсэровской «армии» оказалось бы достаточно, чтобы опрокинуть «рабоче-крестьянскую» власть.

В этот день Ленин, при встрече с наркомом юстиции П. Стучкой и двумя латышскими военными командирами сообщил им, «что левые эсэры восстали и что единственной, по его мнению, вполне преданной революции воинской частью является латышская стрелковая дивизия». Латышские командиры «единодушно согласились с ним и заверили, что в этой силе сомневаться не приходится» (с. 129).

Для охраны Кремля от возможного нападения мятежников был «приведен в боевую готовность» 9-й латышский полк. «Пулеметная команда полка выставила пулеметы у кремлевских ворот, а также на стенах и башнях Кремля» (с. 130). Ла-

тышским стрелкам была поручена охрана Большого театра, в котором в это время заседал V Всероссийский съезд советов. При этом «стрелки без колебаний выполнили приказ Советского правительства об аресте фракции левых эсеров» (с. 130). Ленинское правительство поручило лат. стрелкам подавить мятеж. «Вацietису предложили разработать план разгрома мятежников и собрать латышские полки к центру города, а затем его назначили руководителем операции по ликвидации левозероковского мятежа» (с. 131). «Советское командование решило непосредственно использовать для подавления мятежа 1, 2, 3 и 9-ый латышские полки», 3 батареи артиллерии, «образцовый полк», роту инструкторских курсов и «отряд интернационалистов под командованием Бела Куна» (с. 131; регулярные полки московского гарнизона в этом списке отсутствуют С.П.).

В своих воспоминаниях латышский «начдив» И. Вацietис рассказывает о своей встрече с Лениным в Кремле, в 2 часа ночи 7 июля: «Я ждал стоя... Ленин быстро подошел ко мне. Я сделал несколько шагов ему навстречу и отрапортовал: «Не позднее 12-ти часов дня 7 июля мы будем в Москве полными победителями». Ленин обеими руками схватил мою руку, очень крепко пожал и произнес: «Благодарю, товарищ, вы меня очень обрадовали» (с. 132).

После «высочайшего приема» в Кремле Вацietис отправился к своим полкам и повел их в бой. «Во время боев с мятежниками в Москве латышские полки с честью оправдали возложенное на них Советским правительством и лично В. И. Лениным высокое доверие» (с. 140). «Решительные действия стрелков латышской дивизии помогли быстро ликвидировать опасное контрреволюционное выступление в сердце республики» (с. 142). «Рухнули надежды левых эсеров на вовлечение в мятеж московского гарнизона. На их сторону перешла лишь небольшая часть наиболее отсталых, недавно мобилизованных красноармейцев» (с. 142).

В июле 1918 г. произошли анти-большевицкие восстания в нескольких городах центральной России, и всюду на подавление их спешно посылались латышская ленинская гвардия.

5-7 июля лат. стрелки подавили анти-большевицкое восстание в Рыбинске. «После разгрома анти-советского выступления латышские стрелки и местные чекисты произвели мно-

гочисленные аресты контрреволюционеров» (с. 145). «Рыбинский военный комиссар Феропонтов и Военно-революционный комитет высоко оценили заслуги стрелков 2-го полка в разгроме контрреволюционного выступления в городе. Они настаивали на том, чтобы латышские стрелки впредь оставались в Рыбинске для поддержки местного Совета (так! С.Л.). Их просьба была выполнена, и по предписанию Наркомвоена латышские стрелки (батальон 2-го лат. полка с пулеметной командой, 211 стрелков и 8 пулеметов) оставались в Рыбинске до осени 1918 года» (с. 145-6).

8 июля вспыхнуло восстание в Муроме; туда был послан 2-ой батальон 1-го лат. полка; «латышские стрелки, прибыв в Муром, при поддержке рабочих отрядов, быстро покончили с мятежниками... Батальон 1-го полка оставался в Муроме до 19 июля, проводя аресты контрреволюционеров и оказывая поддержку местному Совету» (с. 146).

«Наиболее крупным контрреволюционным выступлением организованным «Союзом защиты родины и свободы» было восстание в Ярославле» (с. 147), где «мятежники» продержались с 6-го до 21-го июля. На подавление его были посланы лат. стрелки 2-го, 6-го и 8-го полков. 11-го июля 6-ой полк, перейдя в наступление, ворвался в пригород Ярославля Тверицы, «на улицах которого разгорелся упорный бой. Мятежники, узнав, что против них дерутся славные красные латышские стрелки, спешно перебросили в Тверицы подкрепление... Однако сдержать наступление латышских стрелков белогвардейцы были не в силах» (с. 149). Бои продолжались еще несколько дней и, наконец, красные войска, разгромив Ярославль бомбардировкой тяжелой артиллерии, подавили восстание. «Советское командование высоко оценило вклад латышских стрелков в дело разгрома белогвардейцев в Ярославле» (с. 150).

Во 2-ой главе книги А. Спреслиса, после страницы 128-ой, находится весьма интересная карта: «Латышские стрелки на фронтах гражданской войны (ноябрь 1917 — ноябрь 1918 г.)». На карте отмечены черными флажками больше 50-ти городов и районов (от Белоруссии до Урала и от Белого моря до Кавказа) — те места, где штыки и пулеметы латышских стрелков понуждали русское население «признать» свою родную «советскую» власть.

3-я глава книги А. Спреслиса: «Латышские стрелки на Восточном и Северном фронтах» описывает события гражданской войны гл. обр. в Поволжье, где успехи чехословацких «легионеров» и русских белых отрядов создали летом и осенью 1918 г. серьезную угрозу для «советской» власти. На борьбу с этой угрозой были, конечно, брошены латышские полки. 12 июля 1918 г. командующим Восточным фронтом был назначен начальник лат. стрелковой дивизии И. Вацетис, а 6-го сент. он был назначен главнокомандующим вооруженными силами РСФСР, — «первый советский главком», с гордостью отмечает А. Спреслис. Командующим 3-й сов. армией Восточного фронта был латыш Р. Берзинь.

«Советское правительство высоко оценило заслуги латышских стрелков в боях на Восточном фронте. 20-го авг. Президиум ВЦИК'а наградил 5-ый Земгальский полк почетным красным знаменем за героическую защиту Казани. Это было первое почетное знамя в истории Красной армии, полученное красноармейской частью за отличие в борьбе против врагов рабоче-крестьянской власти» (с. 187). «На Восточном фронте латышские стрелки действовали на важнейших участках борьбы против белочехов и белогвардейцев. Своим опытом, дисциплинированностью и стойкостью они служили примером для соседних частей. Части латышской дивизии в составе 1, 2, 3 и 5-ой армий явились цементирующим ядром, вокруг которого складывались боеспособные полки и дивизии Красной армии» (с. 188).

4-ая (последняя) глава книги А. Спреслиса: «Латышские стрелки на Южном фронте» описывает борьбу лат. стрелков (осенью 1918 г.) против казаков и добровольцев. И здесь латыши дрались не так, как красноармейские полки, составленные из мобилизованных крестьян: «многие части 8, 9 и 10-й армий состояли из мобилизованных крестьян, которые зачастую проявляли неустойчивость, покидали поле боя и ставили соседей в тяжелое положение» (с. 217).

На заключительных страницах книги автор резюмирует приведенное им описание боевой работы и политической роли латышских стрелков: — «Этот вооруженный отряд латышского пролетариата, отличавшийся высокими боевыми качествами и революционной дисциплиной, стал верной опорой социалистической революции. Латышские стрелки сыграли выдающуюся

роль в защите молодой республики еще до того, как была организована «Красная армия»... (с. 227).

«На фронтах гражданской войны погибли тысячи верных сынов латышского пролетариата. Они оставили о себе добрую память как о железных бойцах пролетарской революции, до конца преданных великим идеям Ленина. Большинство бойцов и командиров Латышской дивизии после окончания гражданской войны остались в Советской России, чтобы внести свой вклад в дело построения первого в мире государства рабочих и крестьян» (с. 230).

И западные писатели и некоторые русские «историсофы» потратили немало умственных усилий и печатной бумаги, чтобы «объяснить», почему и как «русский народный дух» сделал возможным торжество большевицкой власти в России в 1917-18 гг. В действительности же русский народный дух в то время был или апатично-нейтральным или активно-враждебным в отношении ленинской власти, и держалась она вначале на очень тонкой нитке, ибо имела весьма ограниченный круг сторонников. Удержаться же ей помогли вовсе не «таинственные глубины русского народного духа», а силы гораздо более реальные и прозаические: штыки латышских батальонов и многомиллионные субсидии германского правительства о чем непреложно свидетельствуют бывшие долгое время «секретными» документы архива германского министерства иностранных дел и «партархива» ЦК Латвийской коммунистической партии.

С. Пушкарев

НОВОЕ О КАТЫНИ

О расстреле 11-12 тысяч военнопленных польских офицеров в Катыни написано много, но далеко не всё. Основные версии этого «Катынского злодеяния» — немецкая и советская — прямо противоположны. Немцы обвиняют в преступлении советчиков, коммунисты — немцев. Не разбирая в подробностях результаты следствия, проведенного обеими сторонами, напомним только основные его выводы и присоединим к ним данные, полученные польскими эмигрантами и автором. Тогда картина зловещих событий в Катыни станет яснее...

Немецкие данные

В апреле 1943 г., на лесном участке, называемом «Козьи Горы», между селом Катынь и ж.д. станцией Гнездово, вблизи шоссе на дороге Смоленск-Витебск, в 15 км. западнее Смоленска, на основании показаний местных жителей, немцами были обнаружены братские могилы с 4500 трупами расстрелянных польских офицеров. Письма и другие документы, найденные на трупах, доказывали, что убийство было произведено позднее апреля 1940 г. Возраст деревьев, выросших на могилах, а также и состояние трупов, хорошо сохранившихся в песчанной почве, указывали на то, что расстрелы были проведены в середине 1940 г. Установив эти факты, немецкая комиссия дала заключение о расстреле польских офицеров большевиками.

Гитлеровское правительство, виновное в массовых убийствах евреев и в кровавых репрессиях против заключенных, пленных и местного населения оккупированных немцами областей, имело все основания рассчитывать на недоверие. Поэтому оно предприняло всё возможное, чтобы обеспечить ши-

рокому общественному мнению проверку этого заключения немецкой комиссии. Комиссия эта была составлена не только из авторитетных представителей науки и общественности Германии, но и из представителей других стран и, в частности, — Польши. В Катынь были доставлены родственники и близкие знакомые тех убитых офицеров, по сохранившимся на трупах документам которых можно было установить их имена и местожительство. К осмотру могил и трупов были допущены и другие иностранцы, а также многие из русских, проживавших в Смоленской области, которые даже неприязненно относились к оккупантам-немцам.

Польские данные

В основном они подтверждают германские, а кроме того уточняют следующее: а) Военнопленные поляки, содержащиеся в лагере Козельск в 1940 г., были перевезены советскими в направлении Смоленска. б) Количество военнопленных в Козельском лагере было несколько больше 4000 человек и это число соответствует количеству трупов, найденных немцами в Катынском лесу. Кроме того, обнаруженные на трупах документы тоже свидетельствуют, что хотя бы часть расстрелянных поляков была из Козельского лагеря. в) Не удалось установить, куда были переведены поляки из лагерей Старобельского и Осташковского. По слухам, они частично были расстреляны на месте в 1940 г., а частично перевезены в Архангельск и там утоплены в море. Но свидетелей этому нет. Количество поляков в этих лагерях достигало пяти-шести тысяч. г) Никто из польских офицеров, находившихся в лагерях Старобельска, Осташково и Козельска в польскую армию генерала Андерса не попал.

Советские данные

По официальным советским источникам («Сообщение Специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров», напечатанном в газете «Известия» 26 января 1944 г.), свыше 11000 поляков были расстреляны немцами.

«Сообщение Специальной Комиссии» устанавливает, что

весной 1941 г. в Смоленской и Минской областях существовали лагеря особого назначения, в которых содержались польские военнопленные. Например, лагерь ОН № 2 был расположен в 7-8 км. от Козьих Гор (февраль 1941 г.). Польский офицерский лагерь в районе г. Смоленска существовал в марте 1941 г. Это же «Сообщение» констатирует, что лагеря польских военнопленных в начале войны 1941 г. на восток эвакуированы не были.

Обращает на себя внимание тот факт, что расследование событий в Катыни членом «Чрезвычайной Государственной Комиссии» академиком Н. Н. Бурденко было проведено в сентябре 1943 г., а акт «Специальной Комиссии» опубликован только в конце января 1944 года.

Данные автора, полученные от разных лиц

После заключения пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом, никого из военнослужащих Красной армии не удивило сообщение Информбюро осенью 1939 г. о том, что советское правительство решило подать «руку братской помощи» западным украинцам и белоруссам, и таким образом принять участие в разделе Польши между Германией и СССР. Более удивительными казались сводки, поступавшие в Генеральный штаб, о сопротивлении польской армии советским войскам, в боях в Пинских болотах, о выстрелах из-за угла и о «коварных выступлениях» против советских солдат и офицеров польских женщин.

После короткой борьбы, сопротивление польской армии, зажатой между наступающими немецкими и советскими войсками, было сломлено. Территориальные органы НКВД, двигавшиеся непосредственно за советскими войсками, осели на своих местах и начали расправу с польскими патриотами. Чиновников, чинов полиции, «реакционную» интеллигенцию, крупных торговцев и вообще буржуазию, членов политических партий (в особенности — ППС), в зависимости от их опасности для советской власти, арестовывали или просто «эвакуировали» железнодорожными транспортом вглубь Советского Союза — на принудительное поселение и работы. Они официально считались всё же «свободными», так как никаких сроков наказания «эвакуированным» не давали. Их направляли

на самые тяжелые физические работы: в шахты, на лесозаготовки и пр. Кроме этих категорий населения оккупированных польских областей, были вывезены и все 60000 так называемых «осадников» — демобилизованных в свое время солдат польской армии, оставшихся жить вдоль польско-советской границы.

Крестный путь поляков

Следует отметить, что на основании данной в то время директивы Политбюро ВКБ(б), органы НКВД переводили, в массовом порядке, этих поляков из категории «свободных» в категорию «заключенных» по различным предложениям: за саботаж на работе, фашистские настроения (национальные), за антисоветскую агитацию, вообще — за «разложение» окружающего населения и т.п. В это время большая часть сотрудников органов НКВД была брошена на уничтожение национальных сил польского народа.

Кроме того, органы НКВД проводили среди так называемого (на языке чекистов) «польского контингента» и другую «работу». Они старались развернуть массовую вербовку поляков в агентуру НКВД для работы «один под другого», для засылок на заграничную «работу» (под видом бежавших) в западную Польшу и в особенности для проникновения в Англию — в среду польских эмигрантов.

Начиналось всё с опроса и заполнения анкет, а кончалось вербовками под шантажом, угрозами расправы с близкими людьми и т.п. Не соглашавшихся стать агентами НКВД отправляли по постановлениям «Особых совещаний НКВД» в концентрационные лагеря СССР с различными сроками наказания.

Особая судьба польских офицеров

Польские офицеры, попавшие в плен к Красной армии или позже арестованные органами НКВД среди местного населения оккупированных областей Польши, в случае, если на них не было достаточных данных для немедленного суда и расстрела, поголовно причислялись к категории «К-Р», т.е. контрреволюционеров. В своей массе, польские офицеры были национально

настроены, с антисоветскими взглядами и, следовательно, подлежали уничтожению.

Польские офицеры содержались в специально организованных для них лагерях особого назначения (лагеря ОН № 1, 2, 3 и т.д.), расположенных в окрестностях Смоленска, в нескольких «особых командах» Минской области, считавшихся рабочими и в др. местах. Эти лагеря военнопленных поляков были подчинены ГУЛАГ НКВД (Главному управлению лагерями НКВД) и администрация в них была не из числа военнослужащих Красной армии, а чекистская. То же касается охраны лагерей и конвоя.

Во всех этих пунктах концентрации офицеров-поляков «работали» органы КРО (контрразведывательный отдел) НКВД и ИНО (иностранный отдел) НКВД, занимавшиеся как следствием, так и вербовками. Некоторые офицеры «обрабатывались» и в самой Москве в НКВД СССР, куда они доставлялись, если давали особо важные показания или имели широкие возможности для будущего использования уже в качестве агентов НКВД.

Конечно, особый интерес вызвали поляки, которые могли быть направлены в качестве агентов НКВД против немцев, оккупировавших западную Польшу. Для вербовки использовалась ненависть поляков к захватчикам их родины, патристические настроения, а также, конечно, шантаж разных видов. Потому то среди «польского контингента» и действовали не только польские отделения КРО, но и германские отделения как КРО, так и ИНО, а также и 4-го разведывательного управления генштаба (Разведупр РККА).

Общее количество пленных офицеров все время медленно уменьшалось за счет увозимых НКВД для расстрелов «выявленных контрреволюционеров» и завербованных. Расстрелы, главным образом, производились близ Смоленска — как центра размещения военнопленных офицеров. Туда, например, весной 1941 г. был отправлен — после «расчистки» — и весь состав Козельского лагеря. Сколько было расстреляно в 1940 г. точно установить не представляется возможным, но несомненно, что это число было не менее 5000. Немцы раскопали 4500 трупов, а советская комиссия вскрыла все могилы и насчитала 11000 трупов!

Начало германо-советской войны

Вскоре же после начала германо-советской войны, в июле 1941 г., советским правительством и правительством Польши (в изгнании) было подписано соглашение об организации польской освободительной армии. Этот вопрос в Лондоне готовял посол СССР Майский, но непосредственно руководил всем делом начальник ПУРККА Щербаков (Политическое управление РККА).

Сначала имелось в виду, что из поляков, которых было вывезено в СССР несколько сотен тысяч, будут организованы диверсионные группы и партизанские отряды для засылки в Польшу. Позже решили, что выгоднее сформировать армию. «Польский контингент», разосланный на работу в Сибирь и Донбасс, с советской точки зрения, был весьма ненадежным: поляки являлись не только яркими националистами, но и анти-советчиками. Когда выяснилось, что этих людей придется освободить, аресты, расстрелы и вербовки их органами НКВД стали проводиться в еще большем масштабе.

Для НКВД и речи не могло быть о посылке польских офицеров-военнопленных в армию или об использовании их для партизанской и диверсионной работы в самой Польше. Началось «горячее» для НКВД время... Каких-либо цифр репрессированных привести невозможно, но в польскую армию генерала Андерса из 12-15 тысяч военнопленных офицеров попали только единицы. В партизанские же и диверсионные группы — из этих офицеров — не пустили вообще никого.

Нужно отметить, что помимо «польской армии», советскими властями был сформирован и так называемый «польский корпус» генерал-майора Зигмунда Берлинга, действовавший в составе советской армии. В него входила и дивизия имени Тадеуша Костюшко, командиром которой был полковник Бевзюк, а комиссаром небезызвестная Ванда Василевская. В этой дивизии не было и десятой доли поляков из Польши! В нее «вербовались» солдаты и офицеры Красной армии — уроженцы Белоруссии и западных областей СССР. По приказу ПУРККА, говорящие мало-мальски по-польски, офицеры Красной армии отчислялись в это соединение безоговорочно.

Правительственное задание

Военнопленные офицеры-поляки, как националисты, в «польском корпусе» Берлинга были не только не нужны, но и опасны. Нельзя было пустить их в польскую армию генерала Андерса. Оставить их немцам также невыгодно — ведь немцы могли бы использовать их против советчиков, сыграв на их национализме. Оставалось одно — их надо было уничтожить.

Немецкое наступление на западных границах СССР развивалось стремительно. Всякая дальнейшая «обработка» военнопленных офицеров-поляков была уже невозможной. Личный состав лагерей и команд военнопленных поляков, маршевым порядком, отправлялся на восток к Москве, через Смоленск, в котором они и задерживались, так как и советскому правительству эти поляки были тоже не нужны. Все более или менее ценные для органов НКВД и Разведупра уже были отобраны. Тогда и было дано специальное правительственное задание органам НКВД — уничтожить военнопленных польских офицеров, а заодно и солдат, скопившихся в районе Смоленска. Вот почему никто из них не попал в польскую армию.

Алексей Синеньков — палач польских офицеров

В начале июля 1941 г. заместитель народного комиссара внутренних дел СССР Круглов (по кадрам) вызвал к себе майора государственной безопасности Алексея Федоровича Синенькова и сообщил ему о назначении его на должность начальника Управления НКВД по Смоленской области (УНКВД СО). Затем Синеньков был на приеме и у другого заместителя Берии — начальника ГУГБ НКВД СССР Меркулова (Главное управление государственной безопасности). Помимо приказа о срочном выезде к новому месту службы, Синеньков получил «специальное правительственное задание» и, в связи с этим, право взять с собой, по собственному выбору, нужных ему сотрудников из Московского управления НКВД. Личный состав Управления НКВД по г. Москве был Синенькову хорошо знаком — он являлся начальником КРО этого управления, сменив Горгонова, переведенного в УНКВД МО (Московской области).

Синеньков родился в Смоленской области в 1908-1910 гг., по национальности великоросс, член ВКП(б), конечно. Женат, трехлетняя дочь (в 1941 г.), жил в Москве в доме «ЗИС» (автозавод имени Сталина) на Рогожском валу. В прошлом, оперуполномоченный ОГПУ Пролетарского района г. Москвы («обслуживал» ЗИС), в 1938-1939 гг. был начальником НКВД этого района, а с 1940 г. — начальник КРО УНКВД г. Москвы.

У Синенькова было своеобразное прозвище — «Ша!», данное ему бывшим начальником отделения СПО (секретно-политический отдел) Лапшиным, с которым Синеньков начал свою работу в Москве. Прозвище это взято из «блатной» песни: «Алеша, ша!... Возьми полтоном ниже, Алеша, брось арапа заправлять...» В отношении Синенькова это прозвище обозначало: «Потише, молчок!». Однако, оно не полностью соответствовало характеру Синенькова. Знакомые сотрудники НКВД считали его большим трусом, необразованным (менее 7 классов средней школы), грубым человеком, недоверчивым и в то же время пробалтывающим многое друзьям, желая воспользоваться их советами в трудных случаях.

Этому человеку и была поручена расправа над поляками, когда немцы стремительно двигались на Смоленск-Москву.

Сопровождавшие Синенькова

Синеньков взял с собой 8-10 сотрудников своего отдела, из которых известна фамилия только одного — его секретарши Карины, затем несколько сотрудников НКВД из районных отделов г. Москвы и Комендантской группы НКВД города. Все немедленно выехали в Смоленск.

Между прочим, Карина — невысокая, худенькая брюнетка, примерно 1918 г. рождения, замужняя, кандидат в члены ВКП(б). Она окончила институт иностранных языков и, зная немецкий язык, работала в КРО переводчицей немецких материалов.

Вместе с Синеньковым выехал некий Рыбак, имевший какое-то отношение к транспортировке польских офицеров в Смоленск. Вероятно, он был из Минской группы УНКВД Белорусской республики. Человек этот, как стало известно от самого Синенькова, по возвращении в Москву, был сразу же арестован и расстрелян.

Прибыв в Смоленское управление НКВД, Синеньков дел не принял — «из-за этого же спецзадания», а ограничился только отдачей приказа о вступлении в должность начальника управления и, в связи с этим, о подготовке к приему дел и точных статистических данных по отделам управления.

Он сразу же выяснил, что местом расстрелов, производимых УНКВД СО (Смоленской области), как в мрачную эпоху ежовщины, так и военнопленных поляков был Катинский лес, специально для этой цели оборудованный.

Лес этот расположен в 15 км. от Смоленска по Витебскому шоссе. В нем, УНКВД СО построило для себя дачу и заняло большую территорию, с громадным, спускающимся к Днепру, парком, где потом немцы и обнаружили трупы военнопленных поляков. Расстрелянные несколькими годами раньше тысячи русских людей были погребены на лесной территории, за парком, а не у дачи. Между прочим, эта дача в после-ежовское время использовалась как дом отдыха сотрудников НКВД. Там даже были оборудованы и детские площадки.

Синеньков организовал в лесу особую комендантскую службу (охрану) и занял дачу своим штабом и комендантской группой УНКВД СО, превратив её в свою резиденцию по выполнению правительственного задания.

Расстрелы новых осужденных из советских граждан, а также и польских националистов, содержащихся в лагерях особого назначения, т.е. главным образом офицеров, происходили именно здесь — рядом с дачей, а не за парком в лесу.

Выполнение задания

Пешим порядком и на грузовиках, в УНКВД СО прибывали поляки из лагерей особого назначения и тут же «ликвидировались», т.е. расстреливались комендантской группой и всем составом прибывшего штаба Синенькова. Для пресечения всяких слухов — обслуживающий дачу персонал Синеньков сразу же отправил в Управление.

В целях маскировки проводившегося «мероприятия», Синеньков использовал нехитрый трюк. Один из начальников польских лагерей, по приказу Синенькова бегал «по властям» и упрашивал дать ему транспорт для отправки пленных поляков на восток по железной дороге. Естественно, что граж-

данские власти ничего сделать не могли, так как дороги были забиты военными транспортами, но шум по этому вопросу был поднят... Это обстоятельство — требование транспорта — отмечает и «Сообщение Специальной Комиссии», опубликованное в «Известиях». Синеньков приказал начальнику лагеря, не добившись транспорта, к нему не являться и тот, вероятно, «добивался» его и тогда, когда сам Синеньков уже выехал в Москву, после выполнения задания.

По словам Синенькова, когда пошли слухи, что Смоленск якобы отрезан от Москвы, он приказал «пропускать поляков через пулеметы», чтобы успеть закончить расправу до прихода немцев. Стреляли из ручных пулеметов Дегтярева и автоматов уже по группам пленных — прицеливаться было некогда. Ночью расстрелы продолжались при свете фар автомашины Синенькова, применяемых в таких случаях навесных электроламп и проводов не было. Поляки сами копали себе могилы. Раненых наскоро сбрасывали вместе с убитыми и закапывали уже чины комендантской группы. Сколько тогда было расстреляно польских офицеров неизвестно, но во всяком случае это были тысячи.

Позже, в 1943 г. немцы обнаружили и вскрыли главным образом могилы расстрелянных поляков в 1939-1940 гг. и только несколько могил убитых командой Синенькова. Им было невыгодно вскрывать могилы 1941 г. и потому они нашли только 4500 трупов.

Судьба Синенькова

Еле успев справиться с правительственным заданием, Синеньков, бросив УНКВД СО со всеми его сотрудниками и архивом на произвол судьбы, удрал в Москву «для доклада о выполнении задания» и потому что «Смоленск горел и там уже были немцы». В пути, он хотел застрелить свою секретаршу Карину, но ограничился тем что жестоко избил ее, в результате чего она помешалась... Свой поступок, Синеньков объяснял тем, что Карина якобы его неправильно информировала. Она, дескать, сказала, что стреляют минометы и немецкая артиллерия уже из Смоленска, а это были советские части.

Нужно заметить, что спешным бегством Синенькова объ-

ясняется и тот факт, что многие архивные документы УНКВД СО не были эвакуированы и захвачены немцами. Часть их была опубликована и автору приходилось читать эти документы.

Приехав в Москву, Синеньков явился для доклада к Круглову. За выполнение задания ордена он не получил, но оно спасло ему жизнь. Катынское убийство пленных сгладило впечатление от, по существу, дезертирства Синенькова и он вышел из кабинета Круглова с назначением на должность начальника какого-то отдела одного из Управлений НКВД Сибири или Урала. Это было крупное снижение по службе, но Синеньков и этому был рад.

Кому рассказывал Синеньков?

Изложенные здесь подробности Катынского злодеяния, Синеньков доверительно сообщил своему самому близкому другу — Федору Ивановичу Карпухину, который в 1941 г. занимал должность помощника начальника УНКВД МО по АХО (административно-хозяйственный отдел). Карпухин — старый чекист, бывший рабочий завода ГКЖОН на Рагожской заставе. Он сменил знаменитого своими зверствами Семенова — в УНКВД МО. Кроме того, Синеньков передал эти сведения и другому своему другу по старой работе — Сергею Пильщикову, который в то время был заместителем начальника СПО УНКВД МО.

От этих людей они распространились и среди других сотрудников НКВД.

Главный советский свидетель — академик Бурденко

Едва советская армия отвоевала у немцев Смоленск, советское правительство послало в Смоленскую область академика Н. Н. Бурденко, члена «Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников». Академик, вместе со своими сотрудниками и судебно-медицинскими экспертами, прибыл в Смоленск уже 26 сентября 1943 г. Он провел предварительное изучение и расследование обстоятельств Катынского дела. Затем, уже постановлением Чрезвычайной Комиссии была создана «Специальная Комиссия по

установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров». Сообщение этой Комиссии было опубликовано только 26 января 1944 г. в газете «Известия» № 21. Его подписали: Председатель Специальной Комиссии академик Н. Н. Бурденко, члены — академик Алексей Толстой, митрополит Николай, Председатель Всеславянского Комитета генерал-лейтенант А. С. Гундоров, Председатель Исполкома Союза Обществ «Красного Креста» и «Красного Полумесяца» С. А. Колесников, Народный Комиссар Просвещения РСФСР академик В. П. Потемкин, Начальник Главного Военно-Санитарного Управления Красной Армии генерал-полковник Е. И. Смирнов, председатель Смоленского облисполкома Р. Е. Мельников. Никаких иностранных корреспондентов из союзных государств и иностранных ученых, во время работы Комиссии, в Катынский лес допущено не было.

Остановимся на Председателе этой Комиссии академике Николае Ниловиче Бурденко. Бурденко, умерший в 1946 г. в чине генерал-полковника медицинской службы, был одним из лучших хирургов СССР, хотя некоторые коллеги и аттестовывали его как «чересчур решительного врача-специалиста».

Профессор Московского медицинского института, Бурденко провел в его клинике на Б. Пироговской улице долгие годы, будучи известен только в кругу специалистов. Но вот Санитарному управлению Кремля понадобился хороший хирург — остановились на кандидатуре проф. Бурденко. Стали проверять его по линии НКВД, как это делается в отношении всех служащих Кремлевских учреждений, и оказалось, что Бурденко «активно разрабатывается» СПО НКВД как «антисоветский элемент». Эту «разработку» вел начальник одного из отделений СПО НКВД некий Михаил Соловейчик при помощи своих секретных осведомителей и агентов: молодого и очень способного врача-хирурга Сапожкова, с которым Бурденко был в дружеских отношениях, и врача-агентки Кротковой, сотрудницы Бурденко.

Учитывая потребность Кремля в хорошем хирурге, СПО НКВД СССР решило этот вопрос просто. Бурденко вызвали в НКВД и весь имевшийся на него материал по антисоветским взглядам и высказываниям профессора был ему предъявлен.

Профессор упал в обморок, а часом позже дал согласие стать агентом НКВД.

Скоро карьера Бурденко резко пошла вверх. Во время войны Бурденко стал главным хирургом Красной армии. Весьма ценными для использования профессора на службе в НКВД были его личные качества — карьеризм и административная требовательность, исключавшая какое-либо снисхождение к подчиненным

Став агентом НКВД, Бурденко всё-таки рассказывал то, что передавать было нельзя, в частности, говорил он и о Катыне. СПО НКВД имело и такие отзывы Бурденко о Катыне: протокол Комиссии, им подписанный, и свои действия в ней, он назвал «вонючей пропагандой»; про деятельность представителей НКВД в Комиссии, высказался так: «сотрудников НКВД ездило туда много, но работали они из рук вон плохо; даже ни одного документа, датированного днями военного времени, у расстрелянных не нашли», т.е. они не изготовили таких фальшивок.

С этими данными автора, перекликается письмо в редакцию «Социалистического вестника» (США), написанное послевоенным перебежчиком капитаном Борисом Ольшанским, который приводит следующий свой разговор с Бурденко:

«С нашей семьей Н. Н. Бурденко не терял связи... Я посетил его в Москве незадолго до его смерти в 1946 г. Когда я упомянул о Катыне, он нервно дернул рукой:

— Об этом раздумывать нечего. Катыни были и будут. Если как следует покопаться по нашей матушке-России, много кой-чего раскопаешь. Нам надо было основательно опровергнуть широко распропагандированный немецкий протокол... Ну, а вообще — для меня, как для медика, вопрос ясен... Оплошали наши товарищи-энкаведисты».

Б. Ольшанский отмечает, кстати, что «Бурденко в личной жизни был всегда человеком себе на уме. — Таланта надо иметь, по крайней мере, два. Один, чтобы работать, другой, чтобы жизнь прожить, — шутил он, улыбаясь в свои густые усы».

Основной свидетель — профессор Базилевский

В «Сообщении Специальной Комиссии» («Известия», 26. 1. 1944 г.) приведены показания директора обсерватории

г. Смоленска профессора астрономии Б. В. Базилевского, имеющие «особо важное значение» (даются с сокращениями — ВП).

Профессор Базилевский в первые дни оккупации немцами Смоленска был насильно назначен ими заместителем начальника города (бургомистра) адвоката Б. Г. Меньшагина, впоследствии ушедшего вместе с ними.

В начале сентября 1941 г. Базилевский обратился с просьбой к Меньшагину — ходатайствовать перед комендантом фон Швец об освобождении из лагеря военнопленных № 126 педагога Жиглинского. Ходатайство было отклонено, так как по словам фон Швеца была получена директива из Берлина, предписывающая проводить самый жестокий режим в отношении военнопленных, не допуская никаких послаблений.

«Я невольно возразил, — показал Базилевский, — что же может быть жестче существующего в лагере режима?» Меньшагин странно посмотрел на меня и тихо сказал: «Может быть! Русские сами могут умирать, а вот военнопленных поляков предложено просто уничтожить. Есть такая директива из Берлина».

«Недели через две я спросил Меньшагина: «Что слышно о поляках?» Меньшагин помедлил, а потом ответил: «С ними уже покончено. Фон Швец сказал мне, что они расстреляны где-то недалеко от Смоленска».

Показания Базилевского, указывается в «Сообщении», подтверждены профессором физики И. Е. Ефимовым, которому Базилевский тогда же осенью 1941 г. рассказал о своем разговоре с Меньшагиным.

Документальным подтверждением показаний Базилевского и Ефимова, — сообщает Специальная Комиссия, — являются записи в блокноте Меньшагина, который был обнаружен в делах Городского Управления Смоленска, после его освобождения Красной армией. Принадлежность этого блокнота Меньшагину и его почерк удостоверены Базилевским и графологическим анализом.

На странице 10-й, помеченной 15 августа 1941 г., значится:

«Всех бежавших поляков военнопленных задерживать и доставлять в комендатуру». На странице 15-й (без даты) за-

писано: «Ходят ли среди населения слухи о расстреле польских военнопленных в Коз. гор.? (Умнову)». «Умнов, который упоминается в записи, был начальником русской полиции Смоленска в первые месяцы его оккупации».

Автору удалось встретиться с Г. К. Умновым, о котором идет речь в «блокноте Меньшагина». После ознакомления с материалами «Специальной Комиссии», Умнов написал свои показания и передал их автору. Позже приведем их полностью, а теперь только часть, касающуюся профессора Базилевского.

«Коронный советский свидетель, профессор астрономии Базилевский, бывший заместитель Меньшагина, является ненадежным свидетелем. Как стало известно во время немецкой оккупации, он был до войны информатором НКВД. Когда это стало известно немцам, они ограничились удалением его с должности и разрешили даже остаться при отступлении в Смоленске, так как у него на советской стороне остался сын. По характеру он был исключительно труслив и советчикам было не трудно убедить его дать желательные им показания». Г. К. Умнов. 12. 5. 1950 г. Германия.

Приведем еще одну выдержку из статьи С. Максимова «Я был в Катыне», опубликованной в журнале «На рубеже» (США), в которой он описывает посещение им раскопок в Катыне и встречу с Базилевским:

«Утомленные, одуревшие от трупного запаха, мы медленно идем к грузовичку. Справа от меня, еле передвигая ноги, идет смоленский профессор-астроном Базилевский. Он болен от всего виденного. У профессора, как впрочем и у всех нас, нет и тени сомнения, что Катынская трагедия дело рук Сталина. Он с возмущением говорит о том, что русская история не знала более страшной эпохи, чем эпоха большевизма.

Через неделю профессор Базилевский выступал в актовом зале бывшего Смоленского медицинского института перед русской аудиторией с докладом о Катынском злодеянии. Громы и молнии метал профессор по адресу убийц военнопленных — большевиков, и по адресу главного убийцы — Сталина. Под конец доклада старчески всплакнул».

Комментарий по поводу двуличности профессора Базилевского излишен.

Показания Г. К. Умнова

«Ознакомившись по советским газетам с сообщением советской комиссии по расследованию Катынских расстрелов, могу заявить следующее:

1. Проживая перед войной в Смоленске, я неоднократно слышал среди жителей в 1940 г. разговоры о том, что в Катыне находятся пленные польские офицеры и что их собираются ликвидировать. Разговоры исходили от чинов конвойного батальона НКВД (номера не знаю), стоявшего в Смоленске на Костельной улице. Этот батальон участвовал в конвоировании и вероятно охране польских военнопленных.

2. Уже во время войны при немецкой оккупации, я неоднократно слышал рассказы отдельных жителей станций Катынь и Гнездово о происходивших там расстрелах польских военнопленных. Так как подобные действия со стороны большевиков меня, как жителя Советского Союза, не удивили, я не интересовался подробностями.

3. Проживая в Смоленске до 1943 г. включительно я никогда и нигде не слышал разговоров и не получал данных о расстрелах польских военнопленных немцами, хотя жалоб на немцев приходилось слышать много.

4. Мне ничего неизвестно о вынуждении немецкими или русскими антибольшевистскими органами показаний по Катынским расстрелам. Хотя я с этим делом служебно не соприкасался, мне известно, что многие жители района Смоленска добровольно являлись для дачи показаний в эти органы.

5. В бытность мою начальником русской полиции Смоленска в первые месяцы немецкой оккупации, я никогда не получал от начальника города Меньшагина приказа расследовать циркуляцию среди населения слухов о расстреле поляков немцами. Также и о приказе немецких властей о задержании беглых польских военнопленных. Я никогда не слышал и не видел его, хотя этот приказ по должности поступил бы ко мне. Никто из чинов полиции таких поляков не встречал.

Вся история с блокнотом Меньшагина, о которой говорится в советском сообщении, кажется мне подделкой. Меньшагин обладал феноменальной памятью и очень редко делал заметки. Его блокнот большевики не могли бы найти, так

как и дом Меньшагина и здание городского управления при отступлении немцев из Смоленска сгорели.

Я хорошо был знаком как с Меньшагиным, так и с его семьей. Ни своей семье, ни мне он никогда не высказывал предположений, что Катынские расстрелы произведены немцами». Г. К. Умнов. 12. 5. 1950 г. Германия.

Письмо полковника Раевского

У автора имеется письмо полковника польской службы Раевского, который был приглашен немцами в 1943 г. для осмотра Катынских братских могил поляков, так как там нашли и трупы его родственников. Он пишет 7. 6. 1949 г. следующее (перевод с украинского):

«Отвечаю на Ваши вопросы, касающиеся Катыни.

Документов, которые бы подтверждали время начала и окончания расстрелов, в могилах найдено не было. Федя Раевский писал в марте-апреле 1941 г., что их лагерь в Козельске начинают перевозить в какую-то лесную местность, — была получена почтовая карточка. Начало (расстрелов — ВП) было в марте-апреле 1941 г. потому что в этом районе размерзала земля и можно было закапывать трупы. Был найден труп офицера резерва, товарища Феди, подпоручика Навроцкого из под Острога, который написал карточку своему отцу, что их перевозят... Карточка датирована мартом 1941 г.

Все трупы расстрелянных были со следами pistolетных пуль в голову, пулеметных пуль не найдено.

Очевидцы-свидетели — служащие железной дороги — показали, что расстрелы происходили групп в 500-600 человек — с весны до половины лета 1941 г.

Трупы были найдены в малом лесу, в недалеке от него была дача НКВД.

Эксперты-врачи показывали, что трупы мало отличались по времени расстрелов, которые производились и в 1940 г., но массовые расстрелы произошли в 1941 г.

Специалисты подтверждают, что деревья на могилах были возрастом 2-2,5 года, очень редко встречались и старшего возраста».

«Клятва на могиле в Катынском лесу», «Известия», 1 фев. 1944 г.

В статье описывается богослужение и митинг польских частей советской армии: — «Возле могилы, в которой похоронены зверски убитые гитлеровцами польские солдаты и офицеры, полукругом выстроились войска...» — Среди присутствовавших назван канонир Яков Мороз, взводный 83-го пехотного полка польской армии, который попал в плен в сентябре 1939 г. и 9 месяцев пробыл в лагере ОН № 2 в 7-8 км. от Козьих Гор. Он «клятвенно заверяет, что ему не было известно ни одного случая расстрела или даже некорректного отношения к пленным. Наоборот, все пленные поляки единодушно отмечали гуманное и доброжелательное отношение к ним со стороны лагерной администрации».

«Важное заявление сделал хорунжий саперного батальона Климчак. Он пробыл в польском офицерском лагере в районе Смоленска до марта 1941 г. и с негодованием отвергает гнусную ложь фашистских провокаторов о том, что якобы в период до немецкой оккупации в Катынском лесу производились казни польских офицеров».

На митинге, «с речью, изобличающей немецко-фашистских убийц и провокаторов, выступил майор Завадский» (заместитель генерала Берлинга — видимо по политической части. «Изобличений» не приведено, но зато досталось полякам-эмигрантам в Лондоне... ВП)

«Трагедия в Катынском лесу, — говорит он, — новое преступление немцев против славян. Но гитлеровская провокация не удалась. Никто не поверил их фальшивке. Некоторые поляки в Лондоне, поддержавшие кровавый навет гитлеровцев в своих хищных интригантских целях, не имеют ничего общего с польским народом».

Не трудно заметить, что выступавшие на митинге «свидетели с важными показаниями» ничего действительно важного не сказали... Очень вероятно, что они были из числа завербованных НКВД, так как их своевременно изъяли из лагерей военнопленных, которых расстреляли в Катыне.

Выводы автора

1. Расстрелы польских военнопленных производились советчиками всё время в течение 1939-1941 гг. Массовые рас-

стрелы прокатились двумя волнами — осенью 1940 г. и летом 1941 г.

2. Многие военнопленные поляки, попавшие в плен к немцам, остались в живых до конца войны. Автору приходилось встречаться с ними. Например, осенью 1944 г. в Берлине, к нему — в штаб ВС КОНР (РОА) — был приведен под конвоем полковник польской службы Владимир Шувалов, заявивший в лагере военнопленных поляков, что он хочет вступить в РОА, так как является русским по происхождению. Расспросив полковника об условиях жизни в лагере, автор был удивлен сравнительно хорошим бытом пленных (по сравнению с русскими военнопленными). Поляки получали и посылки Международного Красного Креста с продуктами, сигаретами и даже шоколадом. Так как должности в РОА, соответствующей чину полковника, найти для Шувалова не удалось, автор посоветовал ему остаться в лагере... После войны они дружески встретились в Мюнхене. Следовательно, немцы не расстреливали военнопленных поляков в массовых масштабах...

3. Никто из немецких военнослужащих не показывал, что немецкими войсками были захвачены в районе Смоленска лагеря с польскими военнопленными. Вообще, скрыть этот факт нацистам не удалось бы... Ведь выяснились же другие злоеющие действия их. Следовательно, приписать немцам расстрел польских офицеров, бывших в лагерях Смоленской области, невозможно.

4. Не оставляет никаких сомнений лживость советских свидетелей по Катынской трагедии. Малоубедительны и противоречивы «факты», изложенные в «Сообщении Специальной Комиссии» СССР. Военнопленных поляков расстреляли коммунисты из НКВД, по приказу руководства коммунистической партии, которая и несет за это ответственность.

В. Поздняков

СВЕТЛАЯ И СВЯТАЯ РУСЬ¹

Эту статью скончавшегося в Женеве 15 января с.г. заслуженного профессора Женевского Университета А. В. Соловьева нам переслал его сын А. А., который нашел на столе покойного конверт с этой статьей, адресованный в «Новый Журнал». Проф. А. В. Соловьев был одним из выдающихся авторитетов по вопросам древне-русской литературы, с мнением которого считались ученые слависты, как иностранцы, так и русские. А. В. Соловьев родился в 1890 г. Окончил Варшавский У-т по юридическому и филологическому факультетам. Преподавал в университетах — в Варшаве, в Ростове на Д/, в Белграде, в Сараево и наконец с 1953 г. в У-те в Женеве. Перу покойного принадлежит много статей и книг. РЕД.

Давно еще, в статье о «Слове о погибеле Русской земли», мы указали, что в этом поэтическом отрывке XIII века впервые появляется понятие «светло светлая земля Русская», которое гораздо позже заменяется схожим по звукам понятием «земля Святорусская»².

На этом чередовании сходных эпитетов следует остановиться, так как оба они выражают определенную политическую идею — идею прекрасной родины.

Тавтологическое выражение «светло светлая» совпадает с обращением в памятнике, старше «Слова о погибели» на полвека: «Один свет светлый ты, Игорю». Здесь, в «Слове о полку Игореве» оно обращено к отдельному лицу к любимому герою. Трудно сказать, было ли это народное выражение³ или оно восходило к византийскому источнику: так, в русском

¹ Основа данной статьи была напечатана по-немецки в сборнике в честь Д. И. Чижевского, изданном в Берлине в 1954 году. Мы рады предложить ее русским читателям в пополненном виде.

² А. В. Соловьев, Заметки к «Слову о погибели». Труды Отдела древнерусской литературы, т. XV (М.-Л. 1958), стр. 111.

³ Ср. в народной песне «светлая светлица» и тавтологические обороты «думу думати, мосты мостити» и т.п.

переводе XII века «Повести о Дигенисе Акрите» мы находим похожие обращения к главному герою: «О свете, светозарное солнце», а еще раньше, в Минее 1095 г. «свет тресветлый», «светозарное солнце»⁴.

В применении к целой стране идея «светлой Руси», просвещенной светом христианства, могла уже появиться в XI веке, с тех пор как Владимир «просвети землю Русскую святым крещением»⁵. Пребывавшая раньше в мраке неверия, она стала просвещенной, т.е. светлой. Этот контраст света и тьмы использован уже Начальной летописью в похвале святой Ольге. О ней сказано: «Си бо бысть предтекущая христианской земли аки денница пред солнцем и аки заря пред светом, си бо сияше аки луна в нощи»⁶.

В ее эпоху Русская земля была еще погружена в ночь язычества, но уже брезжит заря. После крещения всей Руси похвала св. Борису и Глебу (в Начальной летописи под 1015 годом) говорит: «Радуйтася, луча светозарная, явиста ся яко светила озаряюща всю землю Рускую, всегда тьму отгоняюща... Радует ся Церкви, светозарное солнце стяжавши». Борис и Глеб, так же как их отец Владимир, разогнали тьму и осветили всю Русскую землю. Это ясно выражено во вдохновенном «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона (около 1050 г.), в обращении к блаженному Владимиру: «Виждь же и град величеством сияющь, виждь церкви цветущи, виждь христианство растуще, виждь град иконами святых освещаем, блистающь ся...». Это сияние, это блистание освещает Киев и всю Русскую землю. Чем более она становится христианской, тем эти эпитеты заслуженнее, хотя встречаются они в письменности довольно редко.

Около 1240 года «Слово о погибели» создало прекрасный образ «светло светлой и украсно украшенной земли Русской», который перекликается с выражением «Песни о Роланде» — «*claire Espagne la Belle*».

⁴ А. В. Адрианова-Перетц в сборнике «Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла». М.-Л. 1966, стр. 36-37.

⁵ «Житие блаженного Володимера» Иакова мниха (XI в.). Митр. Макарий, История русской церкви, т. I; Е. Голубинский, История русской церкви, т. I, прил. 2.

⁶ Лаврентьевская летопись под 969 годом. ПСРЛ, т. I, М. 1962, стлб. 68.

Но во французском выражении есть иной оттенок: "clair", как и в латинском, значит не только «ясный», но и «славный»; в русском же языке «светлый» невольно сближается в народной речи с понятием «святой» (произносится «светой»)⁷.

К сожалению, трудно датировать былины и духовные стихи, но можно полагать, что частые упоминания в них «светло-русской» и «свято-русской» земли восходят по крайней мере к XIV веку.

Вспомним прекрасный стих о Егории Храбром, который своими образами напоминает монастырскую колонизацию русского Севера в XIV-XV веках.

Св. Георгий посажен в заточение, в подземелье царем Демьянищем; тот говорит:

«Не бывать Егорью на Святой Руси,
Не видать Егорью света белого...»

Через тридцать лет чудо освобождает мученика; темница разрушена.

«Выходил Егорий на святую Русь,
Завидел Егорий свету былого,
Услышал звону колокольного,
Обогрело его солнце красное».

Отметим, как здесь понятие «святой Руси» прекрасно сплетается с образом света и солнечного сияния. С благословения своей матушки «святой Софии премудрой» Егорий едет

«По всей земле светло-русской
Утвердить веру христианскую».

Он видит перед собой непроходимые леса:

«Разрослись леса по всей земле,
По всей земле светло-русской»

и обращается к ним:

«Вы леса, леса дремучие...
Порублю из вас церкви соборные,

⁷ Хотя слова «свят» и «свет» восходят к разным корням, они фонетически близки (как в немецком hell и heilig) и могут смешиваться. Так, в болгарском «святой» будет «свет», а «светлый» — «свят»; сходно и в польском: święty и światły.

Соборные да богомольные.
 Зараститеся вы, леса,
 По всей земле светло-русской.
 По крутым холмам, по высоким».

Дальше ему встречаются быстрые реки; он говорит им:

«Протеките вы, реки, по всей земле,
 По всей земле свято-русской,
 По крутым горам по высоким,
 По темным лесам по дремучим».

Но затем звери разбегаются «по всей земле светло-русской»⁸.

Это любопытное чередование выражений «свято-русская» и «светло-русская» полно глубокого смысла: оно возводит нас к «Слову о погибели», к его христианской «светло-светлой» родине, украшенной «озерами многими и реками... горами крутыми, холмы высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными» и, конечно, — «домами церковными». Это тот же ряд теневых и светлых образов, создающих понятие христианской родины, где духовный свет преодолевает и освещает живую природу.

Гораздо цветистее выражено то же понятие в «Повести о флорентийском соборе» (около 1440 года), где победа православия вписана в образы света и сияния, уже в первых строках повести: «В поднебесной сияя благочестием, богопросвещенная земля Русская веселится», и особенно в заключительном периоде:

«Ныне убо во временах, богопросвещенная земля Русская, святым правлением Божия церкви тебе подобает во вселенной под солнечным сиянием... радоваться, одеаясь светом благочестия, имея покров божий на себе многосветлую благодать Господню, исполнившись богозрачне цветущих — Божиих храмов, яко же небесных звезд сияющих, святых церквей, яко же солнечных луч блистающихся».

В этом красочном периоде многое напоминает более краткие выражения митрополита Илариона; здесь просвещенная (и освещенная) Богом земля Русская озарена ослепительным

⁸ П. Безсонов. Калики переходные, т. I; П. Смирновский, Хрестоматия, стр. 219-220.

светом благочестия, ярким сиянием солнца и блистанием бесчисленных звезд — церковей с их золочеными главами. Это одновременно и светлая и святая Русь, хотя эти выражения здесь дословно не встречаются.

После падения Царьграда в 1453 году, когда Московская Русь осталась единственным свободным очагом православия, это представление могло только усилиться. И мы найдем его в «Повести о белом клобуке», вероятно сочиненной толмачем Димитрием Герасимовым после его поездки в Рим в 1493 году. По его словам: «на третьем Риме, еже есть на Русской земле, благодать святого Духа воссияет» и «страна наречется светлая Росия»⁹. А известный старец Филофей в одном из своих посланий начала XVI века пишет: «Скажем о нынешнем православном царствии пресветлого и великодержавного государя нашего, браздодержателя святых Божиих престол святых вселенския церкви иже вместо Римской и Константинопольской, иже в богоспасаемом граде Москве, святого и славного Успения пресвятыя Богородицы, иже едина во всей вселенной паче солнца светится».¹⁰

Московская соборная церковь (в реальном и в идеальном значении этого слова) сияет ярче солнца на всю вселенную, и государь в Москве тоже «пресветлый».

При помощи былин и духовных стихов понятие о «светлой» и «святой Руси» внедрялось в народное сознание. Может казаться странным, что в письменности мы встречаем выражение «святорусский» только в 1570-х годах, у политического эмигранта князя А. М. Курбского: в его «Истории великого князя Московского» и в последнем письме к царю из Полоцка. Он пишет: пожар лютый возгорелся «по всей Святорусской земле», царь «посылает по всей Святорусской земле ласкателей своих», наконец «своего отечества губители, паче же рещи — всего Святорусского царства» (это опричники). У него есть даже выражение «Святорусская Империя», очевидно по образцу известного “*Sacrum Imperium Romanum*”, но все

⁹ Н. К. Гудзий, Хрестоматия по древнерусской литературе. М. 1947, стр. 235.

¹⁰ В одном списке послания старца Филофея есть выражение «Святая Россия». Н. Малинин, Старец Елеазарова монастыря Филофей. Москва 1901, прил. стр. 50.

предыдущие, конечно, взяты из былин, из живого народного языка.¹¹

В это время былины уже окончательно сложились, а в новых произведениях и песнях мы встречаем те же выражения. Так, «Плач о племени Московского государства» 1612 года оплакивает «падение ясно сияющие превеликия Россия», «падение толикаго многонароднаго государства, христианскою верою святого греческаго от Бога даннаго закона исполненаго и яко солнце на тверди небесней сияющаго и светом илектру (янтарю) подобящася»¹². Опять то же чередование понятий: «святой, сияющий и светлый».

В песне о возвращении из польского плена патриарха Филарета Романова в июне 1619 года, записанной тогда же англичанином Ричардом Джемсом, пелось:

Взрадовалось царство Московское
И вся земля Святорусская.

Поэтическая повесть об Азовском сидении, вероятно составленная в 1642 году есаулом Ф. И. Порошиным, называет донских казаков «светорусскими богатырями» и вкладывает в их прощание с жизнью трогательные слова: «не бывать уж нам на Святой Руси», вероятно навеянные былиной о Добрыне Никитиче, где богатыри говорят:

Не бывать-то нам на Святой Руси,
Не видать-то нам свету белого.

В этой повести мы находим: «пресветлый здешний свет», в другой «пресветлая держава», т.е. Россия.¹³ Мы видим опять чередование и сближение понятий: «свет» и «свят», как в стихе о Егории Храбром. Можно полагать, что форма «светорусские» могла поддерживаться частым употреблением в XVII веке ласкательного эпитета «свет» в применении к Богу, святым и ко всякому любимому человеку. Так, в 1609 году царевна-монахиня Ксения Годунова пишет своей тетке: «госу-

¹¹ Сочинения кн. А. М. Курбского, изд. Г. Кунцевичем. Русская Истор. Библ. т. XXXI (1914), стр. 136, 216, 267, 271 и 305-307.

¹² Н. К. Гудзий, Хрестоматия, стр. 297-298. Тот же «Плач» называет сынов России «сынами света».

¹³ Воинские повести древней Руси, под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М. 1949, стр. 63 и 75; ср. 195 и 225-227.

дарыне моей свету тетушке»,¹⁴ а та же повесть об Азовском сидении говорит: «твой светов дом, Никола Чудотворец».

С этим лирическим прощанием донских казаков совпадает и дума XVII века запорожских казаков: «Плач невольника» —

Вызволь, Боже, бидного невольника
На святорусьский берег,
На край веселый, меж народ хрещенный.¹⁵

Можно заключить, что к концу XVII века выражение «Святая Русь» вытеснило прежнее «светлая». Лишь у протопопа Аввакума, в его «Житии» мы можем найти трагическое восклицание: «Выпросил у Бога Светлую Росию сатана, да же очервленил ю кровию мученическою».¹⁶

В литературе XVIII века мы не нашли упоминания этих терминов: с Петровской эпохи литература становится придворной и вообще светской. Лишь в 1804 году была напечатана Якубовичем запись былин Кириши Данилова, сделанная около 1750 года на Урале для П. А. Демидова; в более полном виде сборник был опубликован Калайдовичем в 1828 году. Этот сборник может нас разочаровать: хотя в нем достаточно былин древнейшего типа, выражение «святая Русь» встречается лишь в одной былине — о Дюке Степановиче, да и то в добавочном эпизоде об орле, летавшем над морем и обронившем свои перья:

А бежали гости корабельщики,
Собирали перья на синем море,
Вывозили перья на Святую Русь,
Продавали душам красным девицам.

В других былинах Киришиной записи этого выражения нет, однако трижды встречается эпитет «свето-Русской», именно в былине о Потоке Ивановиче: «свето-русские могучие богатыри»,

¹⁴ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка. М. 1959, стр. 390.

¹⁵ В. Антонович и М. Драгоманов, Исторические песни малорусского народа. Т. I, Киев, 1877, стр. 95; в другом варианте: «на ясны зори, на руський берег, на край веселый» (стр. 90).

¹⁶ Древние Российские Стихотворения, собранные Киришею Даниловым и вторично изданные. Москва, 1818, стр. 215 и 276.

«свето-русского могучаго богатыря», и в песне о князе Михаиле Скопине-Шуйском, где князь назван:

Оберегатель миру крещеному
И всей нашей земле свето-Русской.¹⁷

Можно было бы эту форму объяснить как диалектическое произношение прилагательного «святорусской» (как смешение неударяемых *е* и *я*), но знаменательно, что в тексте всюду стоит *ять*; очевидно, сам Кирша связывал этот эпитет с понятием «света».

Несмотря на то, что выражение «святая Русь» встретилось лишь раз в сборнике Кирши Данилова, оно имело успех в годы патриотического романтизма. Так, поэт-офицер Ф. Н. Глинка в «Картине ночи перед боем под стенами Смоленска» восклицает, что враги «вломились к нам, грозят пленить святую Русь и русских покорить», а в конце призывает умереть «за родину за милую, за русский край святой».¹⁸ Возможно, что Ф. Глинка взял эти выражения прямо из народных уст, из былин, которые он мог слышать.

Не будем останавливаться на второстепенных поэтах, но у Пушкина можно найти в 1824 году в «Первом послании цензору»:

Скажи, не стыдно ли, что на Святой Руси
Благодаря тебе не видно книг доселе?

Здесь это выражение поставлено в шутливом контексте; но в 1826 году, в «Борисе Годунове» оно приобрело серьезный смысл. Подъезжая к русскому рубежу, сын кн. А. М. Курбского восклицает:

Вот, вот она, вот Русская граница!
Святая Русь! отечество! я твой!

Знаменательно, что Пушкин вложил в уста сына слова «отечество» и «святая Русь», действительно в свое время сказанные отцом Курбского.

В «Графе Нулине» (1825) герой-западник

¹⁷ А. Н. Робинсон. Жизнеописание Аввакума. Изд. Ак. М. 1903, стр. 165.

¹⁸ Ф. Глинка. Стихотворения. Лен. 1951, стр. 50, 52 и 53.

Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах,
Жалеет о Париже страх.

Наконец, в «Путешествии Онегина» (гл. VII романа) Евгений просыпается патриотом и «уж Русью только бредит он, уж он Европу ненавидит». Он стал ранним славянофилом:

Онегин едет: он увидит
Святую Русь, ее поля,
Пустыни, грады и моря.

Исследование употребления понятия «Святая Русь» у писателей Николаевской эпохи могло бы быть темой отдельной статьи; но вот в 1860-х годах песни, собранные П. В. Киреевским и П. Н. Рыбниковым, открыли богатство былин, еще живших в народе. В Олонецком крае, почти там же, где православные карелы сохранили в памяти «Калевалу», забытую коренными финнами, русские поселенцы имели еще лучших сказителей былин. И здесь, на северном рубеже, понятие «Святой Руси» сохранялось бережно и упорно. Возьмем сборник П. Н. Рыбникова (изданный в 1861-1867-х годах), где точно указаны сказители каждой былины. Деятнадцать сказителей (Рябинин, Романов, Калинин и др.) из разных мест — Кижей, Лодейного поля, Пудоги, Кенозора, Каргополя — пели о «Святой Руси» в разнообразных сочетаниях.¹⁹

У олонецких певцов это прежде всего древняя Киевская Русь, где всей Русской землей правит «ласковый Владимир стольно-киевский». Так, Михайло Потык говорит:

Как свезешь на славную Святую Русь
И будешь во славном стольном Киеве (1, 84).

В другой былине о Потыке князь Владимир сам говорит:

В нашу державу Святорусскую (П, 609).

Когда Добрыня побеждает змея, тот клянется:

Не летать мне на Святую Русь,
Не носить людей больше русьских (1, 150).

¹⁹ Мы цитируем по 2-му изданию под редакцией А. Грузинского: «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым». Москва 1909-1910, т. I-III.

Илья Муромец встречает калику и спрашивает:

Давно ли ты бывал на Святой Руси,
На Святой Руси, в славном Киеве?
Давно ли ты видел князя Владимира? (1, 352)

В былине о нашествии Татар сам князь Владимир говорит:

Ради дому пресвятые Богородицы
И ради матушки свято-Русь земли (П, 670).

Самсон богатырь и другие постоянно называются «богатырями свято-русскими» (1, 4 и др.)

Примеров можно бы привести больше, но лишь в одной былине «Два витника» понятие святой Руси связано с Москвой: литовский король говорит:

Поедем, братец, на Святую Русь
Под матушку каменну Москву,
Ко князю Роману Димитриевичу (П, 255 и 363).

Еще в 1868 году западник проф. А. Д. Градовский, в разборе диссертации В. И. Сергеевича «Вече и князь», остановился на понятии русского единства в древности, ускользнувшем от взгляда Сергеевича. Приведя два текста из сборника былин П. Киреевского, Градовский говорит: «Для древней России связующим всех именем было имя князя Владимира. Имя этого общерусского князя сложилось, очевидно, из многих имен. Народ употребил это имя для обозначения не специального князя Киевской волости, а идеального князя той святой Руси, которая всегда жила в его сознании. В этом идеальном мире было одно государство — Русская земля, один стольный князь, воплотившийся в лице ласкового князя Владимира».²⁰

Любопытно, что в 1933 году, экспедиция Академии Наук, снаряженная в Печорский край, нашла там последних сказителей, певших былины; в этих былинах мы встретим те же выражения. Былины изданы филологически точно, и мы читаем в записях из Мезени:

²⁰ А. Д. Градовский, Государственный строй древней России (по поводу книги В. И. Сергеевича). Ж. М. Н. Пр. 1868, № 10, стр. 134. — Собрание сочинений А. Д. Градовского, т. I. СПб, 1899, стр. 373.

У нас тут света Русь не пуста стоит...

Выходи-тко, Дунаюшко, на светую Русь
Ищо к нашему князю да ко Владимиру...

Разошлась тут славушка великая
Как по всей земельки было Светорусской.

В записях из Усть-Цыльмы сказитель Носов поет в бы-
лине о Скутаре царе:

Кто же бывал на Святой Руси,
Ищо кто говаривал по русьскому?²¹

Мы видим некоторое преобладание произношения: «све-
та, светорусская», что легко дает возможность вернуться от
понятия «светлая Русь» к более древнему «святая».

Так, кое-где еще звучат отзвуки старых понятий, восхо-
дящих, вероятно, к XIII веку, об идеальном государстве —
светлой или святой земле Русской, с ее древним центром в
Киеве, а позднее в Москве.

А. В. Соловьев

²¹ Былины Севера, изд. Академии Наук СССР. Москва 1938, стр.
253, 282, 271, 397 и 429. Еще пример из Усть-Цыльмы: «А не бывала
Опраксенья на Святой Руси, на святой Руси да в каменной Москве».

БИБЛИОГРАФИЯ

Temira Pachmuss. "Zinaida Hippus. An Intellectual Profile".
Southern Illinois University Press. 1971.

Книга проф. Темиры Пахмусс — первый большой, обстоятельный труд посвященный жизни и творчеству Зинаиды Гиппиус. Казалось бы, подобный труд должен был появиться в России и написан быть на русском языке. Во времена нормальные так это, конечно, и было бы. Но мы живем в годы, которые назвать нормальными нельзя. Один из признаков этого — игнорирование, замалчивание имен писателей, по настроениям и мыслям своим «несозвучных» советскому режиму и его идеологии. Долго об этом говорить не к чему: факт всем известен. Каждый раз, однако, как с ним сталкиваешься, каждый раз, когда приходится о нем вспомнить, он с новой силой поражает и удручает. В частности, Зинаиду Гиппиус вовсе не обязательно ценить и любить. Духовный ее облик, ее «интеллектуальный профиль», по выражению проф. Пахмусс, может вызвать острый интерес или безразличие, может привлечь или оттолкнуть. Но ведь эта женщина, «бабушка русского декаденства», как под конец жизни она сама себя величала, в течение долгих лет играла в нашей литературе выдающуюся роль, — и до каких же пор будет продолжаться опека над русскими умами и душами, будто бы неспособными самостоятельно, без правительственной указки разбираться в культурном наследии недавнего прошлого? Знаю по редким встречам с молодыми советскими литераторами, что самое имя Гиппиус им едва-едва знакомо. Правда, в историко-литературных руководствах имя ее упоминается, но неизменно с бранными, а то и пренебрежительными эпитетами. Книг ее в СССР достать нигде нельзя... Впрочем, повторяю, факт этот всем известен, не к чему о нем говорить, не к чему называть другие имена, даже и более крупные, чем имя Гиппиус, и все же как бы вычеркнутые из русской литературы. Трудно однако удержаться, чтобы не спросить себя: доколе же будет это длиться? Долго ли под маской просветительства будет царить обскурантизм? Какова сейчас в России реакция на партийный надзор, каковы окажутся когда-нибудь неизбежные его последствия?

Исследование проф. Пахмусс — результат долгой добросовестной работы. Все ли в этом исследовании вполне убедительно, все ли

суждения автора безупречно основательны? Нет, не совсем, и нельзя было ждать, что обрисовка «интеллектуального профиля» такого сложного, своеобразного человека, как Гиппиус, и всего ее окружения обошлась бы без шероховатостей и отдельных, мелких неточностей или упущений. Но книга заставляет задуматься и это в ней ценно. Многое в книге ново или по крайней мере извлечено из мрака забвения.

Мне лично довелось познакомиться, и позволю себе без колебаний и натяжки добавить, подружиться с Зинаидой Николаевной лишь в эмиграции. В эти поздние свои годы никогда, ни в одном разговоре, ни единым словом не коснулась она того, что повидимому занимало в дореволюционной ее жизни очень значительное место: попытки «обновить» христианство, создать некий «Третий Завет», с модернизированными таинствами и чем-то не очень далеким от кощунства. Страницы книги проф. Пахмусс, где об этой игре в религию, — или игре с религией, — рассказано, читать тяжело. Думаю, что Гиппиус предпочла бы, чтобы память об этой затее умерла вместе с нею. Она была очень умна. Она не могла не понимать, что поддалась веяниям эпохи, полной всякого рода торопливых, обманчиво-смелых, мнимо-творческих претензий, а позднее должна была отбросить их. Она молчала о своих былых домашних мистериях не потому, чтобы считала собеседника недостойным чего-то вроде «посвящения», а скорей потому, что ей самой стало неловко о них вспоминать. Конечно, это с моей стороны только догадки, предположения, но едва ли ошибочные. В личности, в поведении, в литературных повадках Зинаиды Гиппиус осталось до старости не мало надуманного и выдуманного, но было в ней и что-то редкое, даже единственное, душевно-встревоженное, остро-проницательное, непогрешимо-чуткое. Мне посчастливилось: у меня было с ней множество разговоров, долгих, с глазу на глаз. Не задумываясь скажу, что это был один из трех-четырех самых замечательных людей, с которыми судьба позволила мне встретиться. Имеено в эти годы, несомненно после длительных раздумий, она писала:

К простоте возвращаться ...зачем?

Зачем, я знаю, положим.

Не могла она в те же годы всерьез, без прежней позы, толковать об импровизированном причащении и о прочих шалостях.

Была ли Зинаида Гиппиус подлинно большим поэтом, была ли вообще большим писателем? Проф. Пахмусс не допускает в этом сомнений и для вящей уверенности в своей правоте ссылается на отзывы авторитетных критиков. Каюсь, у меня сомнения остаются, для меня они неискоренимы. В книге приведен целый ряд гиппиусовских стихотворений, давно знакомых или наполовину забытых,

и перечитывая их, удивляясь остроте иных словосочетаний, ритмической оригинальности и слаженности отдельных строф, я все же не всегда был в силах отделаться от смутной досады: как искусно и как вычурно, какая судорога то и дело искажает лицо поэта, как мучительно недостает ему порой воздуха, взлета, словом какой-то творческой благодати! Уверен, что Гиппиус, мало склонная к иллюзиям и самообольщению, это сознавала. Стихи ее, конечно, замечательны, резко индивидуальны, ни на чьи другие не похожи, но это всего менее «Божьей милостью» стихи. И тоской от сознания, что это именно так, проникнуты они от первого слова до последнего.

По отношению к статьям упоминание о «Божьей милости» не уместно. Но та же нарочитость, которая в стихах Гиппиус почти органична и во всяком случае представляет собой один из основных мотивов ее поэзии, здесь нередко снижена до литературного приема. «А что, если...»: постоянный мыслительный ход Гиппиус, заносчиво-дразнящий намек на проникновение в области, для обыкновенных людей недоступные. А что, если дважды два вовсе не четыре, а пять? А что, если Волга впадает вовсе не в Каспийское море, а в Ледовитый океан? И так далее. Хочется возразить: да, мир действительно не так прост, как считали многие сверстники и современники Гиппиус, но из этого едва ли следует, что его первичная загадочность должна быть, как говорится, разбазарена по мелочам и подчеркнута по любому поводу. Гиппиус хорошо знала цену всяким искусственным туманам и демонстративной приверженности к ним, но вполне отделаться от своего прошлого ей не удалось, и пожалуй тем менее могло удаться, что вместе с Мережковским она сама не мало способствовала их установлению и распространению.

«Начал как будто за здравие, кончает за упокой», могут мне сказать. Если к сожалению и получилось так, то невольно, без умысла. Был удивительный, редкостно умный человек, может быть мало творческий, но с какими-то редчайшими антеннами, с редчайшим слухом ко всему, где звучит творчество бесспорное, с жадной творческой правды, лично от нее ускользнувшей. Была глубокая, глубоко затаенная печаль в этом человеке под личиной высокомерия и сухости. Все это в писаниях Гиппиус отразилось, а свести в ее характеристике концы с концами, как можно было бы это сделать, говоря о писателе даже не менее талантливым, но менее сложном и двоящемся, чрезвычайно трудно. Противоречия возникают в каждой мысли о ней, в каждом воспоминании.

Книга проф. Пахмусс, независимо от критических суждений автора, исключительно в силу своей обстоятельности и обилия сведений, противоречивость в общем впечатлении от личности и творчества Гиппиус усиливает. Сказывается и воздействие гиппиусовской манеры постоянно смешивать, сплетать одно с другим, всякие

духовные «да» и «нет». Отчасти оттого то и жаль, что книга написана не по-русски и вышла в свет не в России. На родине нашей вот уже полвека насаждается непоколебимая уверенность, что истина окончательно найдена, что сущность ее элементарно проста и всякую таинственность, всякий повод к метафизической пытливости исключает. Для проветривания умов мог бы оказаться полезен гиппиусовский вопрос, обращенный однако уже не на очередные полемические мелочи, а на грубо-схематическое, нестерпимо-плоское представление о жизни и смерти, о бытии во всем его объеме вообще: «А что, если...?»

Георгий Адамович

«ЕВРОПА В МОЕЙ СЕМЬЕ»

«На наше поколение выпала судьба гибели наших родных гнезд, их архивов, книгохранилищ, оставленных на память вещей целых поколений... Я начала собирать сохранившиеся там и сям сувениры, письма, заметки, воспоминания. В этих скромных источниках я обнаружила отголоски большой истории, вкрапленные в нашу маленькую семейную... Я нашла в них также людей давно умерших, лица которых заслонял от меня эгоизм молодости. Теперь я могла узнать их судьбы и полюбить их запоздалой любовью. Дома и предметы, давно уже не существующие, а для меня все еще живые, воскресли, точно так же как и птицы и цветы страны моего детства... [Моя книга] дает некоторый, хотя и очень фрагментарный, очерк истории нашей многонациональной и разноисповедной семьи на фоне истории Европы от первого раздела Польши и наполеоновских войн до событий первой половины XX столетия». — Так пишет Мария Чапская в своей замечательной книге «Европа в моей семье».*)

Род графов Гуттен-Чапских находился в родстве или свойстве со многими знатными польскими родами, а также с курляндскими Мейендорфами, обрусевшими шведскими Стакельбергами, «финскими» Николаи, русскими Чичеринными, австрийскими Тун-Гогенштейнами и др.

«Даже сорок лет спустя после событий 1848 года наша бабушка (Тун) повторяла взгляды, имевшие когда-то силу в ее среде. Священный Союз оставался для нее навсегда священным, а всякая революция — ядом. Николай I был великодушным покровителем молодого императора Франца-Иосифа, а стремления к независимости — заслуживающими порицания. Рожденная и воспитанная в Моравии, она поселилась в Чехии и скончалась в Праге, не поколебленная в своей лояльности».

«Откуда взялся у нас, — спрашивает Чапская, — этот польский

*) *Maria Czapska. Europa w Rodzinie. Libella. Paryż 1970.*

патриотизм при матери-австрийке и национально-безразличном отце?» И сейчас же отвечает: «Мать научила нас любить поработенное отечество, петь 'Боже цось Польске' и 'Кде домув муй' — чешский народный гимн — так же, как научила нас молитвам... Мать наша, когда ей было двенадцать лет, решила выйти замуж за поляка, потому что Польша — страна несчастная. А выйдя замуж за поляка, стала полькой».

В другом месте Чапская спрашивает: «Откуда взялся у нас этот демократизм, почти революционный, чуждый как бабушке, так и отцу?»

Здесь сейчас же являются три возражения. Во-первых, как можно называть Георгия Чапского «национально-безразличным»? Ведь он вел среди польского населения города Минска выдающуюся работу, а кроме того был т.н. «филистром» (т.е. почетным членом) польской — и осознававшей себя таковой в национальном смысле — студенческой корпорации «Полония» в Дерпте (или Юрьеве; ныне Тарту). Во-вторых, «демократизм» автора и, вероятно, ее братьев и сестер я бы назвал скорее либерализмом — тем более, что слово «демократия» подверглось в наши дни полному обесценению. Наконец, как сверстник автора (я на один год старше ее), я не совсем понимаю то, что она пишет о «революционности» — конечно, если брать это слово всерьез. Кстати, я был тоже социалистом-революционером, но только до 12-летнего возраста. Вступив в тринадцатый год жизни, я решил, что уже вышел из того возраста, когда еще можно было быть социалистом.

Первые главы книги относятся к «большой истории», в которой род Чапских играл ту или иную роль. Так, воевода Чапский был во время польской революции 1794 года единственным сенатором в Варшаве, у дверей которого стоял добровольный караул, состоявший из ремесленников, тогда как других сенаторов вешали... В 1812 г. полковник Чапский дрался доблестно под Койдановом (ныне Дзержинском)... В Крымскую войну Эмерик Чапский по поручению Александра II проводил инспекцию южнорусских губерний. Его письма к жене, писанные во время этой инспекции, служат интересной иллюстрацией тех «авгиевых конюшен», которые оставил после себя Николай I в военной администрации, и вместе с тем рисуют мало-назидательную картину победоносных англо-французских войск... Хроника рода Тун-Гогенштейнов, живших в Тешене на крутом утесе над рекой Лабой... Польское восстание 1863 г., в котором принимал участие Эдуард Чапский. Наконец — две русских революции 1917 года... А после рижского договора (1921) «мы оставили Белоруссию и наш дом безвозвратно».

Начиная с того времени, когда родители автора поселились в имении Прилуки вблизи Минска, я читал ее книгу как что-то парал-

тельное моему собственному детству и юности. Сколько общих названий и имен! Хотя ни в Прилуках, ни в Станькове я никогда не бывал, но Карла Чапского из Станькова я описал в моей книге «Детство и молодость Тадеуша Иртеньского», как заслуженного городского голову Минска, и я признателен автору за цитату из этой книги моих воспоминаний. Я познакомился с отцом автора Георгием Чапским в польском клубе «Огниско» в Минске, куда я часто ходил еще как гимназист. Георгий Чапский, наряду с князем Иеронимом Друцким-Любецким, был единственным представителем титулованной шляхты, не относившимся пренебрежительно к этому «мещанскому» клубу, как относились другие местные помещики, и городские «нотабли».

Имя Чичериных напомнило мне не большевицкого комиссара иностранных дел, а его дядю Бориса Николаевича, по учебнику которого я готовился к экзамену по истории философии права.

«*Set horrible Minsk*», — любила повторять мать автора. Следует, однако, заметить, что и многие из тех, кто родился в Минске, не любили этого «гадкого города», в котором, если не считать католического костела в стиле барокко и немногих старинных построек, превращенных в казармы, не было ничего достойного лицемерия.

Сколько имен и происшествий, о которых я бы забыл, если бы не книга автора. Так, например, сельскохозяйственная выставка в Минске в 1901 г. и несчастный случай во время цветочного карнавала с украшенным цветами экипажем, в котором сидела Мария Чапская с братьями и сестрами... Самоубийство г-жи Любанской, утонувшей в реке Свислочь... Жена Карла Чапского, с которой я познакомился лишь в 1949 году, когда она жила в каком-то городке недалеко от Нью Йорка. Была калекой, но ум у нее был живой и остроумие язвительное. А было ей около 80 лет...

Я невольно улыбнулся, читая о том, что автор получил просвещение в половом вопросе от чтения книги «Руководство для женщин». Улыбнулся я потому, что сам был в этом направлении «просвещен» книгой, ни автора, ни заглавия которой не могу припомнить. Я лежал после операции в лечебнице в Варшаве, и мне принесли разные книги на выбор. Книга, о которой идет речь, началась прилизительно так: «Знаете ли вы, дорогие дети, что человек рождается из яйца?» Я прочел эту фразу вслух матери. Она сказал: «Какую ты ерунду читаешь», но книги не отняла...

Книга Марии Чапской это не только «маленькая история», вплетенная в «большую» историю, но и прежде всего — богатый и живо поданный материал для последней, — материал, дающий представление о нравах, взаимоотношениях, образе мыслей и еще многом другом в человеческой жизни на протяжении 150 лет.

В заключение следует отметить достойный восхищения твор-

ческий труд автора, который из разрозненных «сувениров, писем, заметок, воспоминаний» сумел воссоздать гармоническое, красивое, и прежде всего интересное целое.



Своеобразным был отклик на книгу Марии Чапской, вышедший из-под бойкого пера известного руссофоба и, к сожалению, весьма популярного среди польской эмиграции журналиста — Вацлава А. Збышевского. Его статью, размером в целую газетную полосу, напечатал рядом с моей рецензией лондонский польский еженедельник «Вядомосьци» в номере от 14 февраля с.г. Статью эту можно было бы назвать возмутительной — в том случае если принимать ее всерьез. В своей руссофобии г-н Збышевский на этот раз превзошел все свои прежние руссофобские выходки, и поэтому к патологической руссофобии этой статьи следует подойти «клинически». Вот некоторые примеры:

«Остроумное» заглавие статьи — «Тетя из Тамбова» — относится к умершей в Тамбове тетке автора, Чичериной, урожденной Мейендорф. Г-н Збышевский ни на минуту не верит автору, что род Чичериных происходит от итальянских Чичерини, и пишет: «Чичерины наверное [?] происходят от какого-нибудь опричника Ивана Грозного». И дальше: «Ни о каких реформах, ни о каком либерализме не могло быть и речи в России; страну эту Западу следовало завоевать и аннексировать, и потом в течение пяти столетий ею управлять». Или: «Я не вижу никакой моральной разницы между особой, которая закрывает глаза на варварство Романовых... и закрыванием глаз коммунистами и мнимыми либералами на чудовищные преступления Лениных, Троцких, Сталиных, Хрущевых, Брежневых...» Збышевский иногда проповедует сближение поляков с немцами. Но он не доверяет балтийским немцам: «Балтийские немцы не создали Россию, но они сыграли при царском режиме такую же плачевную роль, какую сыграли евреи в большевицком перевороте и в годы создания советского государства».

Подобных изречений можно было бы привести десятки, но думаю, что и приведенных выше достаточно. Несмотря на популярность Збышевского, известный писатель, поэт и публицист Юзеф Лободовский дал ему достойную отповедь в том же еженедельнике, в номере от 9-го мая. Свою статью он озаглавил «Поездка в Тамбов». Вышучивая руссофобие Збышевского, он предложил ему вообразимую поездку в Тамбов — хотя бы потому, что Тамбов был родным городом прекрасной лермонтовской «Казначейши». Далее Лободовский в завуалированном виде называет Збышевского «интеллектуальным самодуром». Статью свою он заканчивает следующими словами: «Нельзя отгородиться от России Гималаями. Нельзя,

как хотелось бы Збышевскому, завоевать ее, аннексировать и управлять ею в течение пяти столетий. По его мнению, русский народ никогда не переменится. *Nevermore* — красивое слово; оно всегда напоминает мне великолепную поэму Эдгара По... но по отношению к истории и культуре лучше этого 'никогда' не употреблять».

М. К. Павликовский

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИ ЛЕНИНЕ И СТАЛИНЕ (1917-1953)*

«Русская литература при Ленине и Сталине» — так называется книга профессора Глеба Струве, недавно выпущенная на английском языке издательством Оклахомского университета. Это, в сущности, первый том истории русской пореволюционной литературы. Второй, по замыслу автора, будет охватывать литературу послесталинского периода.

Проф. Г. Струве кропотливо и серьезно изучает русскую советскую литературу с давних пор. Еще в 1935 году на английском языке вышел его курс советской русской литературы. В 1944 году, тоже по-английски, появилась его книга «Четверть века советской русской литературы». В 1946 году курс его истории русской советской литературы был напечатан по-французски. В 1951 году, на английском языке, снова вышла книга Струве «Советская русская литература». В 1963 году Струве издал на немецком языке историю русской советской литературы. Таким образом, последняя его книга является обобщением и углублением предшествовавших работ.

Сопоставляя книги «Русская литература при Ленине и Сталине» с предыдущими, с удовлетворением отмечаешь, что автор стал гораздо более объективен. Теперь проф. Струве идет путем отказа от некоторых крайних оценок, сохраняя бесспорные достоинства предыдущих изданий и, прежде всего, добросовестность и выверенность документального материала. Можно было бы привести много примеров этому, но я ограничусь только одним.

В 1958 году у меня была полемика с проф. Струве относительно нескольких авторов, значение которых он считал раздутым и преувеличенным. Прежде всего, это — Александр Грин (Гриневский). В свое время я доказывал, что Струве к Александру Грину несправедлив. Теперь с удовлетворением отмечаешь, что автор стал объективнее и справедливее к Александру Грину.

В чем же главное достоинство настоящей книги проф. Струве? Академик А. Н. Веселовский, признанный основоположник научного

* *Russian Literature under Lenin and Stalin (1917-1953)* by Gleb Struve. Oklahoma University Press. 1971.

изучения международных связей литератур, считал, что русская литература (как и всякая) может развиваться и совершенствоваться в атмосфере ничем не стесненного контакта с литературами Запада и Востока. Когда такие контакты ограничиваются или обрываются вовсе, неизбежен упадок литературы, ее провинциальное измельчение. Книга проф. Струве в большей мере, нежели другие курсы истории русской литературы, убеждает нас в том, что русская пореволюционная литература, насильственно лишенная связей с литературами других стран, и даже с русской литературой серебряного века — пришла к упадку. Проф. Струве и написал книгу об упадке и провинциализации когда-то великой русской литературы. При Ленине этот процесс упадка был замедленным, при Сталине все огрублялось и вырождалось ускоренными темпами.

Свою книгу проф. Струве посвящает памяти Осипа Мандельштама, Исаака Бабеля, Бориса Пильняка и тех советских писателей, которые были «репрессированы» и после смерти полностью не реабилитированы. (Кстати, теперь послушные и угодливые советские критики ввели в обиход термин «необоснованная реабилитация».)

Упадок и оскудение русской литературы при Ленине и Сталине проф. Струве справедливо объясняет духовными, творческими и физическими репрессиями наиболее одаренных и наиболее независимых писателей. Ценность его труда в том, что автору удалось убедительно показать пагубные последствия коммунистического террора в области литературы. И эта книга, как и предыдущие работы проф. Струве, написана несколько суховато. Но эта суховатость исчезает там, где с фанатической страстностью проф. Струве обличает духовный террор коммунистической диктатуры.

В этой книге умело и продуманно сочетается хронологический принцип с монографическим. Это сочетание, к сожалению, кое-где нарушается. Следовало бы, например, уделить больше внимания творчеству Максимилиана Волошина. Но в целом почти все наиболее значительные пореволюционные писатели охарактеризованы в отчетной книге достаточно полно. Можно ли упрекать автора в том, что он забыл упомянуть о драматурге Евгении Шварце? От такого упрека нужно воздержаться до выхода второго тома, посвященного послесталинской литературе. Ведь Шварц, как драматург, был как бы переоткрыт после смерти Сталина. Но за что я действительно упрекнул бы автора, это за то, что в его книге ничего не сказано о таких далеко не незначительных писателях, как поэт и прозаик Константин Вагинов и Лев Гумилевский. По-моему и тот и другой недостаточно оценены. Но если даже проф. Струве с этим несогласен, ему не следовало бы, на мой взгляд, все-таки полностью вычеркивать и того и другого из истории русской советской литературы. Я понимаю, что проф. Струве был наверное стеснен размером

книги; но тем не менее, хотя бы в нескольких строках, я думаю, надо было бы упомянуть о Михаиле Сивачеве, Рюрике Ивневе, Дмитрие Лаврухине, об Александре Яковлеве. Но эти, на мой взгляд, небольшие пробелы, конечно, не снижают исключительную ценность этой книги.

Вяч. Завалишин

МОРДЕХАЙ НАМИР. «МИССИЯ В МОСКВЕ». ИЗД. В ИЗРАИЛЕ, 1971.

Мордехай Намир, один из выдающихся государственных деятелей Израиля, выходец из России, принадлежит к тому поколению, которое выдвинуло ряд пионеров, сионистов, создавших основы будущего еврейского государства. Эти люди воспитанные в духе традиций великой русской культуры начала нашего века и с другой стороны, последователи идеологии демократического социализма, приехали в Палестину с верой в будущее еврейского демократического государства.

К этому поколению принадлежат: Давид Бен Гурион, Моше Шарет, Залман Аран, нынешний президент государства — Залман Шазар и другие.

Мордехай Намир был вторым, после Голды Меир, послом молодого израильского государства в Москве, с 1948 по 1951 год. Воспоминания об этом периоде и являются темой его последней книги «Миссия в Москве». Интереснейшие открытия во взаимоотношениях между Израилем и Советским Союзом этого периода впервые раскрываются перед читателями. 1948 год можно считать «медовым месяцем» в отношениях между обеими странами, и только полтора года спустя начинается мрачный период, которому суждено дойти до полного прекращения дипломатических отношений в 1952 году.

В книге приведено много документов, записей разговоров с советской верхушкой и непосредственных воспоминаний. Цитируются доклады посла Намира министру иностранных дел Шарету, который еще в 1949 году ответил ему: «Я потрясен вашим докладом. В трагических условиях вашей работы он является дипломатическим достижением первостепенной важности».

Раскол в отношениях описан на фоне общественно-политической советской жизни того времени: яростная кампания против «космополитизма», кульминация «холодной» войны и начало «горячей» войны в Корею.

Немало страниц посвящено судьбе русского еврейства, трагедии уничтожения выдающихся представителей русско-еврейской культуры, писателей, артистов (Фефер, Маркиш, Бергельсон, Михоэлс и др.). Немало места отведено жизни «маленьких» евреев, чья судьба не многим отличается от судьбы их предков, живших до

революции. Читатель не может остаться равнодушным при чтении страниц, описывающих встречу Намира с матерью после тридцатилетней разлуки.

Нет сомнения, что книга Намира — серьезный вклад в мемуарно-политическую литературу, посвященную самому тяжелому периоду сталинизма в Советском Союзе. Она интересна не только еврейскому читателю, но и каждому, кто интересуется жизнью в Советском Союзе наших дней.

А. Бен-Яков

М. РОССИЯНСКИЙ. УТРО ВНУТРИ. Стихи и поэмы. Предисл. В. Маркова. Финк Ферляг. Мюнхен, 1970.

М. Россиянский начал писать стихи еще до первой мировой войны и подписывал их «Хрисанф». Вместе с Рюриком Ивневым, Вадимом Шершеневичем и др. он участвовал в футуристической группе «Мезонин поэзии». Теперь он давно уже живет во Франции, где известен, как художник Леон Зак (Россиянский — девичья фамилия его матери). В эмигрантских журналах Л. Зак стихов не печатал и, кажется, никто из русских даже не знал, что он продолжает писать стихи.

В сборник включены лишь немногие его юношеские стихи: их можно назвать умеренно футуристическими. Кое что напоминает Кузмина: «Оставьте, грусти и шалости, / Чуть-чуть сумасшедших». А стихи его написанные во Франции — из тех, которые называют «темными». Один из любимых приемов Россиянского — т.н. поэтическая этимология, он часто подбирает слова по звуковым ассоциациям, как Хлебников, Крученых. Прием этот не новый. У Зака звуки преобладают — задают тон, что подчеркивается и звуковыми повторами в названии книги: «Утро внутри». Может быть здесь есть соответствие с его живописью? Сам он эту параллель подсказывает: «Положенное на холст без всякого умысла пятно диктует часто и композицию, и цветовой характер картины, а в стихах часто фонетическая находка рождает новый неожиданный образ».

Фонетика Россиянского утомительна и нелегко дочитывать его поэмы, а всё же прочесть их стоит — преимущественно поэтам. Вот «Кони и дни» — поэма в двух частях. Короткие строки, иногда в одно слово. Тема — метафизическая, даже мистическая. Замысел с трудом угадывается. Но в звуковых его туманностях иногда намекаются поэтические «тела», словесные метеориты.

Как у многих футуристов — у Россиянского чувство звука сильнее чувства слова. Он сам отмечает, что у него мало прилагательных, но зато много книжных причастий, которые он не умеет «обыгрывать».

Немало у него, как и у Хлебникова, сорных трав словесности. «И пурпуром драпируешь / Мои утраты...» звучит великолепно, но драпировка — дешевка. Россиянский не замечает, что от частого употребления подешевело и все **лучезарное**: а у него даже есть «о, лучезарное». «Террор и трепет» — тоже едва ли вяжутся, согласуются. Но поэтов (а также и не поэтов!) нужно судить по лучшему, а не по худшему.

У Россиянского нет никакой претенциозности: ему есть что сказать в келье уединения, но лишь немногие его стихи дойдут даже и до поэтов. Все же хочется поблагодарить Россиянского за то, что дошло. Пусть внимательно прочтут его и другие поэты.

В сборник включен и единственный образчик прозы раннего Россиянского «Княжна Каракатицева», — и по-моему, удачный. «Некоторые из модных современных прозаиков», пишет Марков в своем предисловии «были бы неприятно удивлены, если бы узнали, что их 'открытия' были сделаны в России в 1913 г. неведомым поэтом в мало кому известном альманахе».

Юрий Иваск

ИСПРАВЛЕНИЕ

Г. П. Струве просит нас исправить досадную ошибку, вкравшуюся по его недосмотру в его статью **Кто был пушкинский «полонофил»?** Как внимательный читатель мог и сам заметить, на стр. 102 примечания 3-ье и 4-ое следует переставить, изменив нумерацию: более ранний биограф лорда Дарама это — С. Дж. Рид (1906).

В. В. Поздняков просит нас внести следующие исправления в его статью о М. А. Зыкове («Нов. Журн.» кн. 103): 1) Капитан В. К. Штрик-Штрикфельд «не думает что М. А. Зыков встретился с Геббельсом, но он был принят чиновником высокого ранга» (стр. 163), 2) По справкам, наведенным капитаном Штрик-Штрикфельдом (письмо от 30. 8. 1971) отдел капитана фон Гроде не имел отношения к исправлению русских песен (стр. 165). Это было сделано отделом «Винета» германского министерства пропаганды.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Вл. Крымов.* Портреты необычных людей. Париж. 1971. (298 стр.).
- Г. Нео-Сильвестр.* На буреломе. Воспоминания русского журналиста. «Посев». Франкфурт н/М. 1971. (140 стр.).
- Леонид Зуров.* Отчина. Повесть о древнем Пскове. Имка-пресс. Париж. 1970. (110 стр.).
- Валерий Перелешин.* Качель. 6-я книга стихов. «Посев». Франкфурт н/М. 1971 (84 стр.).
- Григорий Климов.* Князь мира сего. Роман. Изд. «Россия». Нью Йорк. 1970 (318 стр.).
- Владимир Верещагин.* Из далекого прошлого. Воспоминания. Париж. 1968. (127 стр.).
- Д. Анин.* Революция 1917 года глазами ее руководителей. Изд. Аврора. Рим. 1971 (526 стр.).
- Лидия Алексеева.* Время разлук. 4-я книга стихов. 1971 (65 стр.).
- Николай Бердяев.* Русская идея. Имка-пресс. Париж. 1971 (258 стр.).
- М. Россиянский.* Утро внутри. Стихи и поэмы. В. Финк. Мюнхен. 1971 (188 стр.).
- Милован Джилас.* Разговоры со Сталиным. Перев. с сербскохорватского Я. Трушновича. «Посев». Франкфурт н/М. 1970 (212 стр.).
- Хананья Райхман.* Памяти друга (Ю. Б. Марголин). Тель-Авив. 1971 (16 стр.).
- Глеб Струве.* К биографии А. Белого (А. Белый и А. Тургенева). Оттиск из журнала «Анналы». Неаполь. 1970 (67 стр.).
- Библиография русской зарубежной литературы (1918-1968).* Составитель доктор филол. наук Людмила Фостер. Том I и II. G. K. Hall. Boston. 1971 (p. 1374).
- Dr. Boris Ischboldin.* History of the Russian Non-Marxian Social-Economic Thought. New Book Society of India. New Delhi. 1971. 328 p.).
- Mendel Mann.* Les Gens de Tiengouchaï. Roman. Traduit du yiddish par Esther Fridman. Paris. 1971. (236 p.).
- Soljenitsyne.* Textes, documents, études, bibliographie. Ce cahier a été dirigé par Georges Nivat et Michel Aucouturier. "L'Herne." Paris. 1971 (519 p.).
- Studia z filologii polskiej i słowiańskiej.* 10. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. 1971. (290 p.).
- V. Zavalishin.* Early Soviet Writers. Books for Libraries Press. N. Y. 1971 (394 p.).
- Theatre in Asia.* The Drama Review. N. Y. 1971 (p. 337).

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1971 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1971 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: **МО 6-1692**

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
